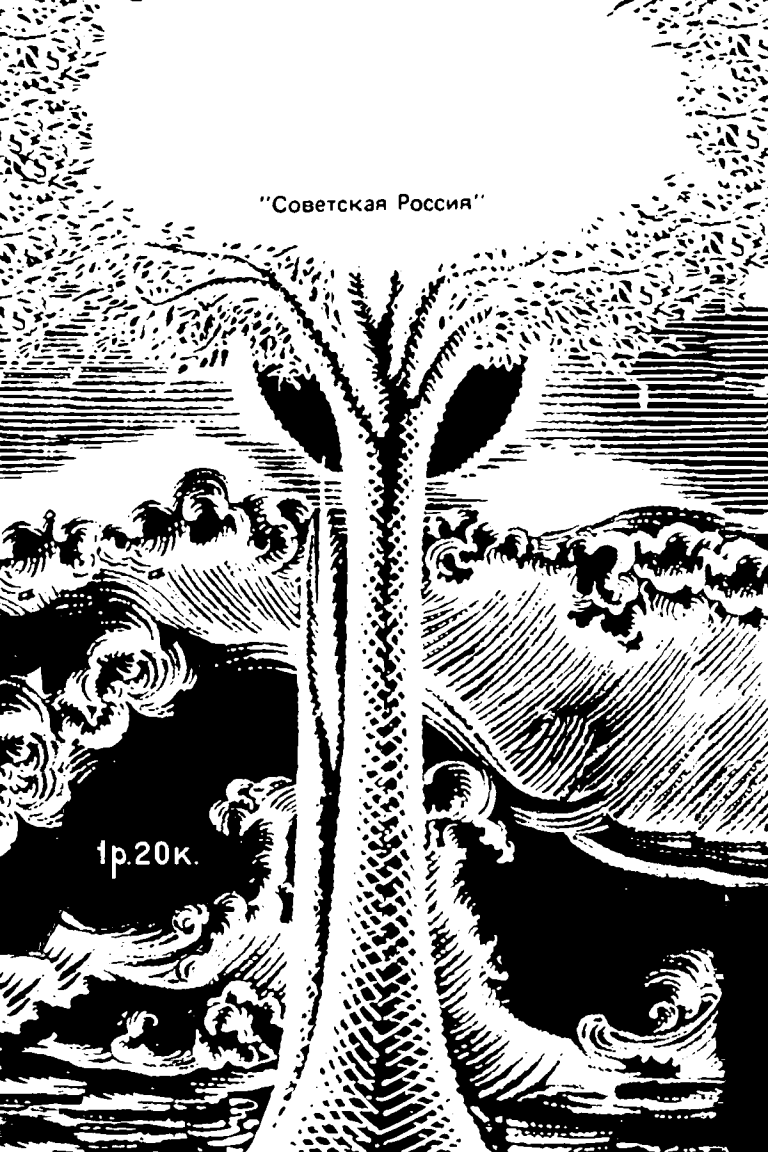


АНДРЕЙ БЛИНОВ  
ПОЛНОЛУНИЕ



"Советская Россия"

1р.20к.





А Н Д Р Е Й   Б Л И Н О В

# ПОЛНОЛУНИЕ



РОМАН  
РАССКАЗЫ

МОСКВА  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»  
1985

Художник А. Добрицын

**Блинов А. Д.**

**Б69** Полнолуние: Роман. Рассказы. — М.: Сов. Россия  
1985. — 336 с., ил.

Перу Андрея Блинова принадлежат романы «Плавка», «Счастья не ищут в одну ночь», «Полинья», «Наследство», «Удар молнии»; сборники повестей и публицистики.

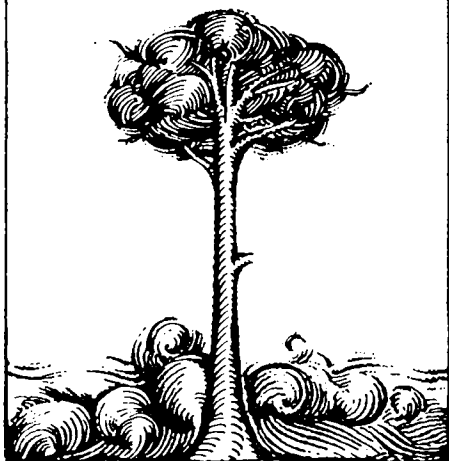
Вера в доброе начало — основная тема творчества писателя. Герои его проведений — наши современники, люди различных профессий, судеб, характеров. Во всех историях автор строит повествование не за счет увлекательности и остроты сюжета, а за счет глубокого проникновения в психологию героев, раскрытия внутреннего мира.

**Б** 4702010200—166 88—85  
**М-105(03)85**



• П О Л Ы Н Ъ Я •

р о м а н





Кольцо в кольцо, любовь сошлась с любовью.  
*Н. Поливин*

1

Секретарь директора Анна Кирилловна, высокая, худая женщина лет сорока пяти, седая, но с моложавым, без морщин лицом, прозванная на заводе донной Анной — среди инструментальщиков, способных на разные придумки, шутников хоть отбавляй — сидела за небольшим коммутатором и включала абонентов одного за другим. Говорила в телефонную трубку одинаковые слова:

— В одиннадцать вече, пожалуйста...

Вече... Этим старинным русским словом кто-то назвал на заводе планерку, так и прижилось оно, обозначая уже не шумное новгородское и псковское многолюдье на площади, а деловое совещание в кабинете Романа Григорьевича Сюткина, директора Новоградского инструментального завода.

— В одиннадцать вече, пожалуйста...

Слова, повторяемые раз за разом, все же не звучали одинаково, они были окрашены богатыми интонациями, которые и выдавали разное отношение донны Анны к абонентам. Это было ее собственное отношение, а вовсе не то, которое вроде должно было бы совпадать с тем, как думает и как говорит с заводским народом Роман Григорьевич. За глаза на заводе директора звали не по фамилии, не по отчеству, а просто Романом. Этим подчеркивался тот демократизм, который и существовал в отношениях между командирами производства и рабочими, между директором и всеми остальными.

— В одиннадцать вече, Роман Григорьевич просил... — Позвонила Анна Кирилловна секретарю партбюро Сойкину, которого вовсе не в обиду, а с уважением, от чи-



стого сердца звали «наш деятель», подчеркивая этим действительное умение Сойкина работать с людьми.

— В одиннадцать вече,— проговорила Анна Кирилловна очередному абоненту, это был начальник ОТК, грузный и малоподвижный, упрямый Пивоваров.— Роман Григорьевич просил прийти вместе с Варей Канунниковой.

— В одиннадцать вече,— позвонила она начальнику цеха индикаторов Хрулеву и добавила, чтобы он был вместе со своим заместителем Неустроевым.

Начальнику снабжения просто объявила: «В одиннадцать вече»... Снабжение на заводе всегда было слабым местом, и все привыкли Порошина ругать, что невольно передалось и Анне Кирилловне, хотя она и сопротивлялась этому. Кто-то из заводских злословов сочинил на Порошина такую эпиграмму:

Вечно ходит наш Порошин  
В настроенье нехорошем:  
То ли кем-то ошарашен,  
То ли чем-то огорошен.

Прежде чем вызвать очередного абонента, Анна Кирилловна откинулась на спинку вертящегося стула, поправила волосы и взглянула в блестящую панель коммутатора, где расплывчато качнулось отражение ее лица.

— В одиннадцать вече, Егор Иванович. Хорошо, если с вами будет Летов. Да, просил Роман...

Егор Иванович вовсе не был большим начальником, с которым по долгу службы Анна Кирилловна была бы столь уважительна. Он был мужем Вари Канунниковой, начальником технической лаборатории, известный, как говорят, далеко за пределами завода изобретатель. Но и не это заставляло Анну Кирилловну по-особому относиться к Канунникову. Ей нравился Егор Иванович. Он чем-то неуловимым выделялся среди инженерных работников завода. С давних пор она с настойчивостью исполнительного человека пыталась четко провести границу между ним и другими, но у нее ничего не получалось: он был вежлив с ней, как и все. Как и все, аккуратен в одежде, в жестах, словах — строгое и точное производство приучает людей к этому, и все же в нем было что-то такое, что нравилось ей особо, и ей хотелось тоже иметь свою особинку, какую имел и Егор Иванович. Однажды она поняла, что особинка Егора Ивановича — это его независимость, которая пришла к нему не потому, что он считает себя выше всех

и никому не подчиняется, а потому, что самостоятельно мыслит. А ей-то, донне Анне, откуда взять эту независимость, если она вечно исполняет приказы, плод чужих мыслей? Но стремление иметь хотя бы чуточку независимости заставляло ее анализировать каждый поступок Егора Канунникова, стремиться в чем-то походить на него.

Перед одиннадцатью стали приходить работники отделов, те, кому надо было переброситься наедине то ли с Романом, то ли с главным инженером Мелентьевым, а то просто заранее узнать у донны Анны, о чем пойдет разговор и почему планерка собирается в субботу, а в этот день вроде давненько такого не было. Потом пойдут цеховики, привыкшие являться, что называется, впритирочку, после закрытия дверей в директорский кабинет. Цеховиков она, куда денешься, пожурит, но пропустит.

А Егор Иванович приходил ровно во столько, чтобы успеть поздороваться с ней, сказать что-нибудь вроде: «У вас новая прическа, донна Анна, она вам идет» и войти в кабинет, когда Роман поднимал взгляд от сводок и оглядывал работников, все еще не настроившихся на строгий деловой лад.

Пришли Пивоваров и Варя. Пивоваров сразу в директорский кабинет, Канунникова подседа к столу Анны Кирилловны, которая тотчас отметила, что та взволнована. Она не раз отмечала подобное волнение у Вари, когда ее вызывал директор, и всегда она присаживалась вот так, к столу, чтобы успокоиться. Уж не замечала ли она тех незримо особых отношений, какие установились между Егором Ивановичем, и ею, Анной Кирилловной? Да и что тут можно увидеть. Ничего же нет, конечно, нет...

Какие они разные характерами, эти Канунниковы Егор Иванович открыт, общителен, дружелюбен. Наверно, такими бывают все, кто чувствует себя независимым. А Варя казалась Анне Кирилловне нелюдимкой, замкнутой, скрытной. Правда, она отличный мастер ОТК, член завкома и недурна собой: вон какие разлетные у нее брови, как она суховато стройна, какая у нее гордая походка и твердая поступь.

А вот и он, Егор Иванович... В темно-сером костюме — цеховики являлись на вече в своих рабочих куртках и, конечно, проигрывали перед ним — среднего роста,

с густыми в курчавинку темно-русыми волосами, нельзя сказать, чтобы красивым лицом — черты его были по-настоящему мужественные, крупные, — но с красивыми карими глазами, пожалуй, точнее — светло-карими, с разбросанными по светло-карему коричнево-кофейными просьяными зернышками — на этот раз он ничего не сказал донне Анне, лишь взглянул через голову жены, поздоровался кивком и спросил Варю:

— Сюда? — снова кивнул, но уже в сторону директорской двери.

— На вече... — Варя наконец-то справилась с волнением (Анна Кирилловна это заметила сразу же), поднялась и впереди мужа прошла в директорский кабинет, за ними, осторожно ступая, — как бы не наделать шума (он всегда так ходил), — прошел Иван Летов, рослый светловолосый рабочий технической лаборатории. На вече его приглашали обычно тогда, когда Егору Ивановичу предстояла долгая отлучка с завода и Летов оставался за него. Это уж Анна Кирилловна изучила за годы работы с Романом. Куда же Егора Ивановича собираются угнать на сей раз?

Анна Кирилловна поплотнее прикрыла директорскую дверь, но тут прибежал запыхавшийся, вечно не успевающий Неустроев, темнолицый, с узким шнурочком усов под вздернутым воробыным носиком. Когда Неустроев улыбался или нервничал, шнурочек усов подергивался, корбясь.

— Вечно неустроенный Неустроев, — скаламбурила Анна Кирилловна и втокнула его в кабинет.

— Донна Анна... — успел только сказать тот.

Вече как вече, сколько их в году!

Егор Иванович, устроившись между Варей и Пивоваровым, вполуха слушал то, что говорил Роман. Говоря, директор пробегал взглядом по лицам сидящих, задерживаясь то на лице Егора Ивановича, то Вари, как бы вспоминая что-то. Егор не обращал на это внимания и значения никакого не придавал, а Варя хмурилась и не глядела на директора.

О технической лаборатории на вече почти никогда не говорили, и Егор, считая этот час потерянным, сидел как бы отсутствующий. Его не задевало то, что говорил Роман о Порошине, который проворонил время и не отоварил наряды на металл, из-за чего простояли цехи,

хотя не волноваться по этому поводу было вроде бы неприлично. Не задел его и разнос, который устроил Роман Хрулеву, — из-за поломок у него в цехе простояли станки и недельный план по индикаторам оказался сорванным. И к этому вроде бы тоже стыдно остаться равнодушным... Егор сидел и думал о своем. В последние дни он и Иван Летов вдруг поняли, что попали в необъяснимый тупик. Прибор, который они вместе создавали, который родили в мыслях и выносили в сердце, не отвечал их задумке. О том, что он был позарез нужен их заводу, да и всем другим инструментальщикам, даже говорить было неловко. Такой тончайший измерительный инструмент, как индикатор, проверялся примитивным способом, и понятно, какова могла быть точность. Она зависела от умения, навыка и даже от состояния нервной системы контролера, а то и просто от его настроения. В результате отличные инструменты могли попасть в брак, а негодные отправиться в жизнь. Вот и задумали они прибор автоматического контроля индикаторов — ПАКИ, — который был бы непогрешим, точен и постоянен. Но получилось, что сам их прибор грешен, где уж ему быть проверяльщиком индикатора! Кинематическая схема, которую они приняли с Иваном, никуда не годилась, а новое не лезло в голову, хоть убейся.

— Ты что это хмуришься и вздыхаешь? — шепотом спросил Пивоваров. — Грехов много?

— Как у монаха, который вернулся из отпуска, — усмехнулся Егор, освобождаясь от мыслей.

— А что, у монахов ныне бывают отпуска? — удивился Пивоваров.

— А как же!

— И сколько же? Две недели или двадцать четыре дня?

— Постригись в монахи — узнаешь...

И тут Егора привлёк повышенный голос директора. Да, перспективы у завода вырисовывались неважные. И опять снабжение: нет такой нужной стали, как серебрянка, ее раньше получали из Запорожья, а теперь все наряды выданы на Чернореченский завод. Но в Чернореченске сроду такую сталь не плавил, да и не собираются, вот и попробуй выкрутись. Другие легированные стали заменялись углеродистыми, — конечно, не без ущерба для качества, а эту заменить было нельзя. Не оставливать же из-за нее завод?

Роман и на этот раз не оставил в покое Порошина, хотя отлично знал, что он тут ни при чем. Если снабжение всеобщее бедствие, то что тут может сделать Порошин? Но как же быть, если у тебя план? Если ты его не осилишь, три шкуры с тебя сдерут. Роман взглянул на Канунникова: вот кто мог бы заменить Порошина! Сколько раз Егор спасал завод в подобных критических случаях. Напористый мужик и везучий...

— Все!— Роман Григорьевич поднял руку, как знак того, что разговор окончен.

Галдя и переругиваясь, люди расходились с вечера. Директор, перехватив намерение Канунникова поскорее уйти из кабинета вместе с женой, остановил его:

— погоди, Егор Иванович, нужен ты мне.

Егор оглянулся. Заметив в его глазах нетерпение, Роман то ли осадил его, то ли попытался успокоить:

— Серьезный разговор к тебе. Не торопись.

Егор увидел, как он взглядом проводил Варю, потом обернулся к нему.

— Присядь, долго говорить будем. Предугадываю.

Егор прошел к столу, сел на стул сбоку, где обычно сидел главный инженер Мелентьев. В низких креслах, что стояли спереди, всегда было неловко, и Егор не любил в них устраиваться.

— О чем же разговор, Роман?— Егор выжидательно глядел на директора, но тот не поднимал от стола глаз. Припухшие желтые веки подрагивали, лобастая, с большой лысиной голова клонилась к столу.

Они были друзьями, директор Сюткин и инженер Канунников. Вместе кончали вечерний Политехнический институт, вместе работали в цехе индикаторов — Роман начальником, Егор его заместителем. Дружили домами, что называется, но здесь, в этом кабинете, они при людях были на «вы». И только оставшись вот так, с глазу на глаз, они могли говорить друг другу товарищеское «ты», поспорить запросто.

Много лет шли они вместе, но не стали похожими друг на друга. Роман учился и работал, чтобы стать директором. Егор — чтобы стать стоящим инженером. Каждый вроде бы добился своей цели: один — вот он, уверенно чувствующий себя за директорским столом, другой — хороший инженер, в чем никто на заводе не сомневался, не видящий пропасти между собой и директором.

— Егор, я хочу сразу в открытую, — начал директор, все еще не поднимая глаз от стола, от бумаг, которые он уже знал наизусть и теперь лишь использовал их как зацепку, чтобы не глядеть на Егора.

— Жду...

— Знаю, у тебя куча дел... Знаю, но то, что я должен предложить тебе, это единственный выход...

— Не темни, Роман. В открытую так в открытую.

— Да язык не поворачивается...

— Поверни! Я уже догадываюсь: серебрянка?

Роман с нескрываемым облегчением поднял голову.

— Недаром мы друзья, с полуслова друг друга понимаем.

— Но на этот раз не поняли. Я просто угадал твои намерения. Понять я тебя не могу и не хочу.

— Егор...

— Слушай, Роман, не люблю я драматизации или игры в нее.

Директор насупился, лицо его и большая лысина налились кровью, но он умел держать себя в руках и не проявил ничем своей власти или их дружеских отношений. Только обронил как бы про себя:

— Окопался в своей лаборатории, ничего больше знать не хочешь...

— Роман, ты же меня назначил! Как не стыдно в чем-то укорять меня? Ты же утвердил наш план. А что мы из него освоили? Алмазный инструмент на обработке мер длины... Может, мы уже внедрили его? А разработка головных изделий на уровне мировых стандартов?.. Может, ты уже принял их у нас? Ну, и ПАКИ... Разве не ты утвердил нам разработку этого прибора? Цель всех этих твоих, наших мер — качество, но разве мы уже достигли его?

— Все верно, Егор. Я все утвердил, придет время — спрошу, не обижайся. Но пойми, кроме твоей лаборатории у нас есть еще завод, а у него план, и план этот летит в тартарары. Можешь ты это понять?

— Я и так в разъездах весь последний год, разве не ты меня посылаешь? Месяц жил в Кубанске, отлаживал наши автоматы на новом инструментальном заводе. Забыл? В Ленинграде сколько проторчал, когда испытывали нашу специальную фрезу? Может, не ты посылал меня? Ну, это еще туда-сюда. Это вроде мое дело. Не ты меня в Златоуст посылал? В Чернореченск? Зачем посы-

лал? Чтобы я, как самый вульгарный толкач, привез тебе сталь?

— Почему — мне? Я ее пока что не ем... Ты привез сталь для завода, обеспечил всех работой, и план мы тогда сделали...

— Слушай, Роман, нельзя быть таким бессовестным, хотя мы и друзья... Твою мораль я знаю: «Во имя завода все возможно», — но я не разделяю ее.

Роман как-то обмяк за столом, осел в своем кресле. Проговорил устало:

— Ладно, иди. Только насчет совести подумай. Кто из нас бессовестный.

— Спасибо за совет!

Канунников вышел от директора таким расстроенным, каким донна Анна давно не видела его, да и, пожалуй, вовсе не видала. Но он, как всегда, улыбнулся ей, качнул головой, как бы говоря этим «до свидания». На душе все же было нехорошо, и он в этом признался донне Анне.

— А я уже заметила, Егор Иванович, — сказала она. — Что, командировка? За сталью?

— Вы угадали. Ну и что вы думаете?

— Что я думаю? — Донна Анна помолчала. — Сами знаете, безвыходное положение. Но гвозди забивать скрипкой? Роман, по всему видно, растерялся.

— Спасибо, донна Анна... за поддержку.

Канунников вышел из заводоуправления. И хотя он знал, что прав, другого решения он принять не мог, на душе все же было паршиво, как будто он в чем-то сподличал.

## 2

На ветру шумели тополя, они стояли вдоль корпусов, образуя зеленые границы заводского двора.

«Значит, Роман все-таки рассчитывал, что я соглашусь. Смотри-ка! И зачем? Интересы завода? К чему они не понудят? Если это только интересы завода... Ну, а что еще? Почему он старается отослать меня куда-нибудь подальше?»

Егор постоял еще, глядя, как трепещут на ветру широкие листья тополей, старался что-то вспомнить, но мысль о том, для чего же все это делал Роман, отвлекала.

«Гы, Егор, что-то плохо стал соображать,— остановил он сам себя.— Такое твоё состояние может привести к растерянности. А растерянность, ты же знаешь, уничтожает человека».

Перед ним на ветру полоскались и полоскались тополя, снизу до половины погруженные в тень и с ярко освещенными верхушками. Затененные листья шевелились едва-едва: то ли они еще были тяжелы от ночной влаги, то ли их не доставал ветер. Вверху же листья трепетали весело и оживленно, свет играл в них, переливался. Это текучее движение света манило, обещая что-то новое, радостное.

«Зайду к Варя,— решил он.— Собирались вместе обедать. Когда это удастся?»

По узкой выщербленной лестнице спустился вниз, в подвал, где работала Варя. До войны тут, на винном заводе, говорят, стояли чаны с сиропами и, должно быть, пахло малиной, ежевикой, кориандровым корнем. Потом в толстенных цокольных стенах по другой надобности прорубили окна, похожие на бойницы, и подвал ОТК поэтому напоминал обороняющуюся крепость.

«Да уж им приходится обороняться,— подумал Егор, открывая дверь, на которой было написано «Посторонним вход воспрещен»,— только не обороняться им надо, а наступать; с браком воюют, на одном месте топчутся, а подступаться к мировым стандартам — все это в долгий ящик?»

Варя сидела в кабине за большим стеклянным окном. Он знал: там поддерживается заданная температура; приборы, способные отметить крохотные величины, требуют нежного обращения, иначе не дождешься от них точности. Варя проверяла концевые меры. Егор видел их в раскрытой коробке, в каких обычно продают серебряные ложки. Стальные полированные пластинки разных размеров стояли в гнездах, обклеенных черным сукном. Варя в белом халате и белой шапочке походила на доктора, занятого микроскопом. Распрямилась, увидела мужа, улыбнулась ему, провела ладонями по глазам, как бы стирая улыбку, и, когда отняла ладони, улыбки в самом деле уже не было. Сказала:

— Глаза устают.

— Можно к тебе?

Она отбросила задвижку, открыла дверь. Егор вошел, сел рядом, заглянул в прибор. Он называл его «микро-



глаз». В поле зрения виднелась линия, она и определяла точность стальной плитки.

— Все правильно? — спросил он.

— Все правильно, — сказала Варя. — Точность до шести сотых микрона. Зачем тебя Роман просил остаться?

Она достала пластинку. Егор, не отвечая жене, взял, подержал на ладони. Пластинка была гладкая, как полированное стекло, и прохладная.

— Хочешь, сейчас проверим? — спросила Варя.

— Для чего?

— Она согрелась в твоей ладони и уже не даст первоначальной точности.

— Посмотрим!

Варя поставила плитку на предметный стол прибора. Егор наклонился к «микроглазу».

— Лишняя сотая микрона.

— Да, чуть больше, — уточнила Варя, заглянув в прибор. — Так зачем он тебя оставлял?

— В командировку за серебрянкой...

— Согласился?

— А как ты думаешь? Нет, конечно.

— Вот и отлично.

Егор задумался, покачивая на ладони стальную плитку. «Вот как бывает... Прибор точнейший, а снимать показатель проверки все-таки приходится на глаз. А как замкнуть процесс измерения в самом приборе, чтобы он фиксировал результат?»

— Ну, что ты? — спросила Варя.

— Да так, свое. Часто тебя Роман зовет на вече?

— В последнее время каждый раз. А что?

— Думаю, зачем? Он ведь без выгоды для себя ничего не делает.

— Какая от меня выгода? — Варя насупилась, разлетные брови ее как бы надломились, и лицо от этого постарело.

Звякнул телефон, Варя взяла трубку, покосилась на мужа — тот все еще в задумчивости покачивал на ладони стальную плитку.

— Тебя просит зайти Сойкин, — сообщила Варя, кладя трубку. — Значит, по партийной линии...

— Теперь не открутиться!

Если ступишь из проходной на заводской двор и повернешь не налево, к основным цехам и заводууправле-

нию, а направо и углубишься в лабиринт подсобных и складских помещений, в глаза скоро бросится небольшое, из красного кирпича здание с широкими карнизами и крутой крышей оцинкованного железа. Над зданием когда-то высилась мансарда с узкими окнами, по два с каждой боковой стороны и по одному, но широкому, с торца. Окна сделали за ненадобностью, а высокие стропила так и остались, и своим силуэтом здание стало напоминать восточную пагоду. Так этот домик на заводе и звали — пагода. Здесь размещалась заводская лаборатория, хозяйство Егора Ивановича Канунникова. Вход с фасада ведет сразу на второй этаж. Небольшой тамбур, прихожая, шкаф для одежды. За дверью самые разнообразные звуки, какие издает металл, когда его касаются орудия холодной обработки. В зале — зовут его тут громко цехом — три длинных верстака: по одному слева и справа по стенам, третий посередине. У задней стены — монтажные столы, иногда два, иногда три, и стол заведующего лабораторией, или, как тут солидно зовут, начальника. Дверь ведет в библиотеку. А как же без нее! «Технический мозг завода» может обойтись без начальника, может обойтись без станков, но без библиотеки — нет. Каждый заводской инженер обязан принести сюда хотя бы одну книгу в год — такой неписанный закон установился на заводе.

Да, насчет станков... Их долго не было. Откуда возьмишь, где поставишь? Все-таки добились своего, получили новейшие станки. Пригодился высокий подвал, что был под пагодой. В задней стене здания прорубили дверь, зацементировали пол и назвали — «нижний цех». Туда и поставили станки.

Все это было воплощенной в живое дело мечтой Егора Канунникова и его немногих друзей. Сюда по утрам спешил Егор. Здесь он проводил все свои дни, а иной раз и вечера. Его мозг, мозг изобретателя, занят какими-то идеями всегда, но доводить свои выдумки до дела ему приходится только здесь. А где еще? Дома у него пока нет монтажного стола, нет верстака, а тем более станков-универсалов. Да и без своих помощников, самых искусных, самых толковых рабочих, каких ему удалось отвоевать, ничего бы не стоил он, Егор Канунников.

Подавленным возвращался Егор в пагоду. Внешне он ничем не выдавал своего состояния духа, так же легко и свободно шагал по булыжной мостовой, легко и свободно здоровался со встречаемыми, говорил слова, какие всегда

говорил, если попадались знакомые, но на душе была обида, обида на Романа, на Сойкина и на себя, на себя особенно, потому что не мог до конца постоять за свое дело.

...Сойкин, глядя на него вовсе не строго, а так, дружески и даже с состраданием, вышел из-за стола, сел рядом, положил руку на его плечо.

— Слушай, разве я не понимаю,— проговорил он, не приглушая в голосе ноток сострадания.— Все понимаю. Посылать тебя — ерунда все это, беспардонная ерунда. Но, понимаешь, случай исключительный.

— Таких случаев — по три на день. И ты, Семен, не подслащивай пиллюлю и не успокаивай меня. У тебя в руках сила партийной дисциплины, ей все уступают, но я не уступаю.

— Почему же только у меня в руках? Она и у тебя. У тебя больше. Я ведь только напоминаю о ней, когда коммунист утрачивает чувство дисциплины.

— Ты хочешь сказать, что я утрачиваю его?

— Нет, пока ты не утрачиваешь, а можешь утратить. И не потому, что ты плохой коммунист, может, потому, что хороший.

— Опять задабриваешь?

— Говорю, что есть.

— Но у Порошина целая армия снабженцев. Какого черта они волят? Крутились бы, как требуется.

— У него нет толковых инженеров. Нужен толковый инженер. Ну, разве не помнишь, как ты в прошлый раз повернул дело в Чернореченске? Убедил людей, как инженер инженеров, провести экспериментальную плавку. И они провели. Им наука, а нам сталь. И в Златоусте тоже.

— Ну, тогда были исключительные случаи...

— Теперь не лучше, Егор. Серебрянки в наличии нигде нет. Это мы уже узнали. В обком ходил, обзвонил все заводы.

— Так что же я сделаю?

— Ты поедешь в Москву, перепишешь наряд с Чернореченского завода на другой. Понял?

— Как не понять...

— Ну, а то, что ты насмерть готов стоять за свое дело, тебе это плюс. Тебе это зачтется.

— На том свете, что ли?

Егор поднялся в верхний цех. Надевая в тамбуре халат, вслушивался в удивительную музыку труда — звуки, которые издавал металл, когда к нему прикасались то пила, то сверло, то фреза, то шлифовальный круг. Егор умел расшифровывать эти звуки, как любитель птиц различает пенье. Бывало, он постоит, послушает говор металла, стараясь угадать, откуда он рождается, и душа заволнуется. Но сейчас он не постоял, а как только надел халат, вошел в цех. Яркий солнечный свет ударил в глаза. Цех был залит светом от пола до потолка. В руках Яшки-слесаренка, на редкость способного к слесарству паренька, бывшего детдомовца, остро блеснула гранями отшлифованная деталь. Дедушка Агафон Савельевич, прозванный остряками Аграфеном, сутулился над своим верстаком, с боков отгороженным фанерными щитами — не любил старик, когда ему мешали, а может, не хотел показывать другим свою работу? Справа, у окна, кудлатая голова Эдгара Форанона — Эдгара По, как прозвал его Яшка, склонилась над столом — Егор узнал аппарат для дистанционного управления поточной линией.

В самом углу за монтажным столом, спиной к входу, сидел Иван Летов. Нет, не по прямым плечам, высоко стриженному затылку, белеющему, как у школьника, не по светлым волосам истинного северянина, не по вихру на макушке узнал бы Егор своего ближайшего сподвижника среди десятков, может, и сотен людей, хотя все это были его, и только его, Ивана Летова, приметы, а по необыкновенной сосредоточенности, которая в минуты напряженной работы делалась как бы единственной его сущностью.

Пока Егор не подошел, Иван не оглянулся, да и, наверно, не слышал его шагов. Но вот он распрямился, все еще не отрывая взгляда от стола, встал, он был на голову выше Егора. На лице отразилась досада — оторвали от дела, но вдруг она сменилась злым выражением.

— И ты согласился? — спросил Иван.

— Откуда знаешь?

— Звонил главный, просил принять у тебя дела.

— Вот так вышло...

— Ох, скверно вышло.

Капунников, считавший, что хотя бы у своих-то друзей он найдет сочувствие, в душе тотчас разозлился на Ивана, ответил резче, чем мог бы ответить, если бы вспомнил, что ему, бывшему разведчику, вовсе не положено горячиться и действовать необдуманно:

— А как бы ты поступил на моем месте?

Иван понял, что обидел Егора, попытался смягчить разговор:

— Я? Я сделал бы так, как ты, когда считаешь, что ничего на свете нет важнее, чем наша работа.

Егор от обиды сжал челюсти: это он-то не считает?

Егор сел за свой стол. Вот так случается: ты уступаешь, жертвуя своим, кровным, ради не менее кровного и тоже своего, как тебе это разъясняют. В том и другом случае ты виноват перед теми или другими, но вряд ли кто подумает, что ты виноват и перед собой.

Он позвонил жене и сообщил, что едет сегодня с местным поездом. («Сволочь этот Порошин, даже билет заранее купил».) Пока в Москву, а там куда — неизвестно. Да, сейчас идет домой, надо же собраться.

### 3

Все тут виделось, как и в Приуралье, но что-то все-таки было не так.

Над Таллинским аэродромом, когда приземлился самолет, разразился ливень. Он был короткий и стремительный и сразу же остудил воздух и землю.

В Приуралье июльские ливни бывают теплые.

Темное рваное облачко уже ушло, скатилось к лесу, слилось с ним, а на аэродром все еще неизвестно откуда падали крупные капли, в лужах на протоптанной рядом с серым бетоном тропинке расплывались редкие кружки ряби, и небо уже заголубело высокой и пронзительной голубизной.

Только здесь оно было чуть бледнее, чем в Приуралье и, наверно, не оттого, что полиняло от дождя, а просто сроду ему не хватало яркости.

Сквозь рассеянную в воздухе влагу пробился свет расплывчатого, еще неясного солнца, и вдруг все вокруг, казавшееся до этого пепельно-тусклым, засверкало, заискрилось, зазеленело. Скучный бетон посадочного поля заблестел, точно большая лужа, и даже слегка заголубел, окрашенный отражением неба. Трава, высокая и сочная, была более яркой, чем в Приуралье, где к этому времени лета она уже грубеет, просвечивает желтизной.

Моментальное обновление земли на глазах Егора Канунникова вдруг на какое-то время, может быть, только на миг, заставило его приободриться, поверить, что все бу-

дет хорошо, что прилетел он сюда не напрасно. В Москве ему не удалось решить свои дела. В Ленинграде, где надеялся разжиться серебрянкой на родственном заводе, на том самом, от которого во время войны отпочковался и обрел самостоятельную жизнь Новоградский инструментальный, у него ничего не получилось. Вместо того чтобы бродить по Невскому и ждать распоряжения, он помчался в Таллин. И тут опять неуверенность, владевшая им в самолете, вернулась к нему. Он уже видел бесплодность своего замысла, ненужную потерю времени и выброшенные собаке под хвост деньги. Какого черта он не подумал об этом? Не подумал как следует и примчался на самый край света, пусть он был и не таким далеким, но где все такое незнакомое, вызывающее в душе что угодно, только не твердую уверенность и надежду. Чем может помочь ему Эйнар Илус, к которому он ехал, если не помогли ни снабженцы российские, ни союзный Госплан? А кто есть в стране выше Госплана? Шутники уверяли, что, кроме бога, никто.

И то, что Егор вспомнил сейчас об Эйнаре Илусе, заставило его покраснеть. Он давал себе слово никогда не напоминать Эйнару о себе, никогда не воспользоваться знакомством с ним и намеком не показать, что тот чем-то обязан ему. Но Егор пренебрег своим запретом и вроде за платой прилетел в Таллин.

В ту минуту, когда Канунников подумал об этом, рука его сама собой потянулась к чемодану: убежать куда угодно, только бы не попасться на глаза хрупкому, низкорослому эстонцу с бледным, как у больного ребенка, лицом. Два года назад свел его в Москве с Эйнаром странный случай.

«Оставь, пожалуйста, самоедство, — вежливо, но саркастически остановил он себя. Когда он сердился на себя, а не на кого-то другого, к нему приходил этот саркастический настрой. — Уж принял решение, зачем же отменять его? Ты ведь стал умнее разве на один час жизни, что провел в дороге, и не настолько поглупел, чтобы казнить себя за то, что сделал в безвыходном положении. — И тут он опять саркастически подумал о себе, хотя и обращался ко всему человечеству. — Если бы люди умнели так же быстро, как глупеют...»

Бетон посадочного поля уже потерял голубизну, забелел обсохшими островками.

Егор Канунников нагнулся за чемоданом, стоящим

у его ног на черно-белых шашечках пола, перебросил его из правой руки в левую, отвернулся от аэродрома, как бы надолго кончая с ним, и зашагал к вокзалу.

А что тогда случилось в Москве? Егор нажал на уступчиво подавшуюся дверь и вошел в аэровокзал. Эйнар Илус и до сего дня, очевидно, не верит, что могло случиться что-то скверное. Сбил бы его троллейбус на повороте или не сбил, он ведь не видел себя со стороны. Но его-то, Егора Канунникова, троллейбус сильно толкнул. Плечо болело долго.

Это было в позапрошлом году, осенью. Егор приехал в Москву с очередным заданием завода и жил с неделю. В последний день, когда дела были улажены, поехал в «Детский мир» — жена велела присмотреть для дочери лыжный костюм. Он шел с покупкой, завернутой в твердую, шелестящую бумагу, и настроение у него такое — хоть песни пой. Перешел улицу, остановился на углу у ресторана «Берлин», того самого, который раньше, он это помнил, назывался «Савой». И не за тем остановился, чтобы решиться зайти пообедать. Нет, пообедать он зайдет в пельменную, напротив. Там не надо часами сидеть и ждать, когда к тебе подойдут, снисходительно, как бы с одолжением, пока что приличным, запишут заказ, а потом принесут и поставят на стол обед — уже с великим одолжением. В пельменной все просто: постоишь немного в очереди, выберешь, что тебе по душе, уплатишь, получишь все сам, устроишься за высоким столом с пятью углами, предварительно сняв шапку и упрятав ее в нишу, куда складывают пустые подносы.

Он переждет троллейбус и пойдет на ту сторону Пущечной, и вот она, пельменная, дверь с угла. Но тут раздался женский крик: «Отойдите!» Егор оглянулся и сразу понял, что зов этот относился не к нему.

На самом краю тротуара спиной к улице стоял невысокого роста мужчина, а может, и подросток. Егору он показался подростком. С быстротой разведчика — недаром он три года на войне был командиром взвода разведки — Канунников оценил обстановку. Троллейбус поворачивал круто и боком, самой серединой как бы наплывал на тротуар, хотя передние и задние его колеса были на проезжей части. Как инженер, Егор вмиг определил все линии и углы взаимоотношения предметов и понял, что зазевав-

нийся подросток оказывался в полосе, где его непременно достигнет троллейбус, сильно или не сильно, но все же толкнет его. И, как человек, разбирающийся в психологии, он определил также, что никакие возгласы уже не помогут парню, он не успеет понять приблизившуюся опасность и отскочить.

Дальше все произошло само собой: Егор прыгнул, правым плечом отбросил его, а левым ударился в желтый бок троллейбуса.

— И какого черта ворон считаешь! — обозлился Егор и на подростка, и на резкую боль в плече.

Парень поднялся с тротуара и непонимающе взглянул на Егора и на людей, что столпились вокруг. Немолодая женщина в старом выцветшем берете, та, что первой крикнула об опасности, сказала сердито, но удовлетворенно:

— Скажи спасибо этому молодому человеку — не расстрелялся, — и одобряюще взглянула на Егора.

Так Егор познакомился с Эйнаром Илусом.

В автобусе Егора поразила тишина. Пассажиры спокойно ждали отправки, и никому не приходило в голову обругать водителя за медлительность или еще там за что-то, как это иногда случается в Новограде. Они и такие и сякие, эти водители: то остановку проедут, то не доедут до нее, то дверь откроют там, где не требуется, а не откроют там, где надо, то задержатся на остановке, то тронутся слишком поспешно. В тишине и степенности, царивших в автобусе, Егор поначалу почувствовал, что очень заметен, и от этого было неловко. А ведь бывает, когда заходишь в давку, спешку, ругню, и всю дорогу где-то впереди тебя жужжит и жужжит какая-нибудь раздраженная баба, обиженная неизвестно чем, жужжит до тех пор, пока соседи не ополчатся на нее, а потом весь ряд, а потом и весь автобус, и никому до тебя дела нет. Вот и едешь в такой словесной потасовке и обдумываешь своиходы и выходы в предстоящих встречах с незнакомым начальством и почти всегда видишь себя победителем.

Егор вдруг поймал себя на том, что наблюдает, как кондуктор, немолодая, со смуглым и сухим лицом женщина, получает деньги, подает билеты и сдачу. Бронзовые пятаки, никелевые гривенники, металлические рубли, похожие на медали, бумажные рубли, невзрачные и по-



рядком помятые, хотя совсем недавно вышли в первый свой рабочий рейс. Деньги-то были такие же, как везде.

И все, что беспокоило его, вызывало неуверенность, безнадежность, куда-то отошло, забылось после этого простого, но, казалось, очень значительного открытия: а деньги-то нашенские. Он приехал не куда-нибудь, а к себе.

4

Попутчик в самолете посоветовал ему сразу же отправиться в отель «Палас», первоклассный, удобный — в центре и дорогой. Последнее обстоятельство приводилось как утешение: в дорогой отель не каждый приезжий суется, и потому там, возможно, окажутся свободные места.

Вестибюль был светлый, опрятный, чистый. Ничего лишнего, но и не пустой. Слева лестница наверх, справа, как и предполагается, театральная касса, телефоны, а чуть в глубине — стеклянная перегородка и за ней женщина с белыми волосами и с продолговатым лицом, на котором было выражение спокойного ожидания. Егор все это охватил одним мимолетным взглядом и оценил сразу. Все тут, вплоть до выражения лица администратора, ему понравилось и показалось хорошим предзнаменованием. Как это важно в любом городе поначалу устроиться с жильем. Когда есть угол, всегда чувствуешь себя увереннее.

И он, поздоровавшись, сказал искренне, а вовсе не потому, что хотел польстить и этим заработать расположение:

— Прекрасный отель, мне и попутчик в самолете говорил. Кто бы отказался в нем жить!

Женщина ответила на приветствие, приняла все другие слова Егора как вполне уместные и внимательно, но быстро, как это делают опытные администраторы, оглядела пришельца. Везде встречают по одежке... Пришелец был одет аккуратно — стального цвета костюм, конечно, не шитый, а купленный, но сидевший на нем ладно, чуть просторен — для худого человека так, пожалуй, и лучше, любопытно, что не помят — будто только с гладильной доски. Она, конечно, поняла, что костюм из немнущейся ткани, хитрость не первостатейная, но все же это сразу

расположило ее к пришельцу. На его узком лице с твердым ртом, заметными бровями и глазами, карими и умными, не было ни робости, ни заискивающего выражения.

— И кто же вы? К нам по делу?— спросила она, о чем обычно не спрашивала у других, как бы говоря этим, что он для нее не просто будущий жилец, но и нечто большее — интересный человек.

Егор понял это сразу и не стал на формальную ногу: мол, давайте место, и дело с концом, в анкетах не пишут, кто я и зачем пожаловал. И ответил, вовсе не считая ее вопрос праздным:

— Я — инженер, а приехал сюда по коммерческим делам, стало быть, на данном этапе — коммерсант.

Она редко чему удивлялась, а тут удивилась, услышав это полузабытое слово — коммерсант... Спросила неловко:

— Из Финляндии, Польши?

— Из Новогграда, есть такой город в Приуралье. А сейчас из Ленинграда.

— Коммерсанты — деловые люди,— сказала она как бы только себе и принялась проглядывать большой конторский журнал, хотя и без этого знала наперечет все, что было занято, свободно, забронировано. Ей вспомнился вдруг ее первый жених, коммерсант, погибший в заграничной поездке еще в те далекие двадцатые годы, и она несколько лет спустя вышла за продавца обувного магазина.— Да... Свободно у нас, к большой моей жалости, только общежитие. Мне не хотелось бы вас туда определять... Да...— Она колебалась.— Думаю, это будет лучше...— И она подала ему бумажку с адресом.— Там вам дадут комнату, и обойдется она не дороже, чем у нас. Если вам не подойдет, я буду здесь до двенадцати ночи...

— Спасибо,— сказал Егор и, подхватив чемодан, вышел из гостиницы.

На листке по-русски было написано: «Улица Лидии Койдулы, за каштанами». Дальше шли номера дома и квартиры.

«За каштанами»,— Егор улыбнулся.— Прямо-таки пароль из детективного романа».

В сквере старушка кормила голубей. Пальцы рук со сморщенной твердой кожей быстро двигались, разминая зачерствевшую булку.

Это были руки, много переделавшие на своем веку разной работы.

— Мамаша,— обратился к старушке Егор, и волнение на миг перехватило его горло — мать он почти не помнил, она умерла рано, и всякий раз, когда он произносил это слово, он почему-то думал, что обращается к своей матери. Женщина оглянулась так поспешно, как оглядываются в испуге. Бумажку с адресом, которую он протянул ей, она не взяла, а лишь взглянула на нее, буркнув что-то по-своему, и кого-то стала искать взглядом среди редких прохожих. Увидев мальчика в коротких брюках и рубашке с крупными сиреневыми полосами, она подозвала его, кивнула на бумажку в руках Егора. Мальчик взял бумажку, прочитал, заговорил со старухой, затем попросил Егора идти за ним.

Мальчик шел впереди, в такт шагам размахивая руками. Они вышли на широкую площадь, гладкий и чистый асфальт блестел, будто навощенный. Пологая горка, кирха и новые дома уживались в близком соседстве и обрамляли площадь причудливо и разнообразно.

— Это площадь Победы,— объяснил мальчик.— А горка называется Харью. И улица, куда мы свернем, тоже Харью.

Улица была узкой-узкой, со старыми домами, и только впереди вырисовывалось большое здание новой постройки, но стилизованное под средневековое: зубцы и черепичная крыша. Егор с любопытством рассматривал и дома, и мостовые, и людей, идущих навстречу и обгоняющих его. Все было интересно: говор людей, их лица, одежда, настроение. Интересны были дома, рисунок окон, занавески. Из всего этого складывается жизнь, похожая и непохожая на жизнь его родного Новограда.

Сквер слева как бы надвигался на улицу, был поднят над ней, и улица от этого казалась еще уже. Они подошли к тому новому дому с черепичной крышей, и Егор увидел справа шпиль с железным человечком, повисшим в воздухе, и спросил, что это такое. Мальчик ответил, что это Старый Тоомас, он и охраняет их город.

На улице Виру, куда втекла узенькая Харью, гуще стал поток людей, ярче витрины магазинов, оживленнее голоса.

— Это наш Бродвей!— значительно произнес мальчик и показал, где можно сесть на трамвай номер три. А сойти надо на остановке «Улица Яана Томпа», миновать железную дорогу, и вот она — улица Лидии Койдулы. Егор поблагодарил мальчишку, тот с удовольствием повернулся

и побежал, так ни о чем и не спросив его. У мальчика не оказалось к нему никакого любопытства, и это было как-то не по-мальчишески. Вот ведь приучен: лишнего не говорить и ни о чем не расспрашивать.

На минуту представил на месте маленького эстонца своего сынишку, шестилетнего Славку. Нет, тот бы расспросил у незнакомого дяди обо всем, что его вдруг заинтересовало, и рассказал все о себе.

Славка человек общительный.

Славку Егор любил. В командировках он больше всего скучал по нему. По дочери Ирине скучал меньше. Дочь была старше на семь лет, страдала заиканием и росла замкнутой и, казалось, мало замечала, дома отец или уехал надолго, живя в каком-то своем мире, понять который отец не мог. Это порой злило его и все больше отдаляло от дочери.

Дом по фасаду был прикрыт каштанами, как стеной. И только к парадному, в глубину садика вел полукруглый, как в метро, тоннель. Плиты дорожки были еще темны от дождя, о котором в городе, должно быть, уже все позабыли, так он давно лил. Пахло мокрой землей и древесной корой. Зеленый тоннель, каштаны, этот сырой земляной запах понравились Егору. И когда он вошел в квартиру с указанным номером и здесь почувствовал запах леса и земли, состояние обманутости, в котором он все еще находился, уступило место другому состоянию: то ли это было чувство родного дома, то ли чувство друга. В поездках он научился дорожить этим чувством. Бывает, что приходит оно от общения с тем же администратором, без которого никто и никогда не сможет обойтись, если шляется по стране из конца в конец. Бывает, что настольная лампа в чужом гостиничном общежитии приведет за собой то дорогое состояние души. А то вот запах земли и древесной коры.

— Это вас устроит?— спросила женщина лет сорока пяти, чуть постарше его, а может, ему показалось, что постарше,— голос у нее был какой-то потухший, да и в комнате, за окном которой качался зеленый каштановый сумрак, не хватало света. Она держала в руках бумажку, поданную Егором, так бережно, будто это были деньги, уплаченные вперед.

Вполне,— сказал Егор.— Жаль, что приехал сюда накоротке.

Он не видел тени, скользнувшей по ее лицу — на этот раз в «Паласе» забыли о ее просьбе не посылать тех, кто приезжает ненадолго, но ничего теперь не поделаешь.

— Самолетом или поездом? Когда будете мыться?

— Самолетом. Если вам удобно, я хотел бы ванну перенести на вечер.

— Это удобно, — сказала она и к чему-то прислушалась. За стеной раздался женский голос.

— Хозяйка просит, — сказала женщина, ее звали Аполлинария, или тетушка Апо. — Совсем слабая стала. Как почувствует себя плохо, начинает молитвы читать. Слышите?

За стеной слышалась скороговорка — на всех языках, должно быть, молитвы читают одинаково.

В его комнате стояла железная кровать, напротив диван, круглый стол, кажущийся тут случайным и лишним, старое темное трюмо с темными зеркалами и в темных рамках фотографии. Молодой парень с лейтенантскими кубиками в петлицах. Женщина с прической а-ля-делегатка, или, как теперь говорят, под мальчишку. Две девочки.

Семейные фотографии, как романы, рассказывают о судьбе поколений, только короче и сдержаннее. Что за судьба смотрит с них?

В углу на тумбочке молчал телефон. Егор обрадовался ему больше всего. Он сейчас разыщет Эйнара и встретится с ним.

Но на работе сказали, что Эйнар Илус уехал по делам на острова. В город сегодня не вернется — живет на даче, на берегу моря. Местечко называется Раннамыйза.

Егор повесил трубку. За стеной старуха бормотала молитвы. Широкие, как ладони, листья каштана качались перед самым окном, будто плавали в зеленом сумраке. Качались они и в темных зеркалах.

И опять состояние обманутости овладело Егором Канниковым.

## 5

Автобус остановился в поле. Оказывается, это и была Раннамыйза. Егор спрыгнул на дорогу, огляделся. Справа серела рожь, слева пестрела разнотравьем луговина. Лес

невдалеке — ели, ели. Они были такие же, как на его родине, на берегах Шумши, угрюмые, скрытные, точно древние сказки. Сошедший вместе с ним паренек сказал, что тропа от остановки приведет к морю, только надо идти над оврагом и никуда не сворачивать, пока в лесу не завиднеются домики. Егор пошел по тропе. Трава доходила почти до колен, но странно, что она ничем не пахла. Только на лесной закрайке встретил Егора слабый запах земляники. В безветрии тут сильнее припекало солнце и чувствовался зной.

«Посмеялись, что ли, надо мной насчет моря,— подумал Егор, вступая в лес.— Морем и не пахнет».

И опять это острое чувство обманутости. Почему он так насторожен к людям?

Но море было все-таки где-то рядом. Егор не сразу догадался, что это его шум гулял в вершинах деревьев: то накатывался, как гром, то затихал, как бы сходя постепенно на нет, истощаясь и замирая. И слышалось в этих накатах что-то тревожное, предостерегающее, требующее обдумать каждый шаг, каждое движение, каждое решение. Загудят-загудят вершины, разбередят душу, насторожат, а потом затихнут, как бы давая прийти в себя, подумать.

Егор свернул с тропинки и подошел к первой попавшейся ему даче. За дощатым столиком сидел старик и чистил свежую розовато-белую рыбу. Пахло рыбьими внутренностями. Нож, которым старик ловко орудовал, был самодельный — на широком его лезвии привычный глаз Егора приметил вмятины от молотка. Он-то уж знал, почему рыбак не отшлифовал нож — так меньше ржавеет. Крестьянская практичность эстонца понравилась.

Он спросил об Илусе. Старик зорко взглянул на него. Отложенная рыбина на столе вяло шевелила хвостом, смирившись со своей судьбой.

— Илус? Который Илус? Доктор или инженер?— Старик довольно хорошо говорил по-русски, может, в давние времена служил в русской армии. Егор встречал таких стариков и в Литве, и в Латвии, и в Молдавии.

— Инженер,— сказал Канунников, радуясь, что ему повезло со стариком.

— Прямо, прямо и прямо,— сказал старик, выбросив вперед правую руку и потом согнув ее в локте.— Дача под шляпой...

Старику казалось, что он все объяснил с дотошной

ясностью, то же показалось и Егору, и он, поблагодарив, пошел, еще раз взглянув на блеснувшую в руках старика омытую сталь.

«Небось самая вульгарная углеродка, а как сверкает», — подумал Егор.

А ему, вернее, его государственному заводу нужна тонна стали серебрянки — всего одна! — чтобы не простаивали люди, чтобы план был, премии. А серебрянки, хоть умри, нигде в наличии нет. Нет ее, конечно, и здесь, в Эстонии. Да он не за этим сюда приехал. А зачем? Ведь не просто же так, повидаться с Илусом, а и попытать счастья.

И хотя Егор Канунников знал это, все-таки он шел «прямо, прямо и еще раз прямо», чтобы найти Эйнара. Он где-то внутри души, если есть таковая у человека, верил в себя, в свою удачу, в свою звезду, что ли.

«Коммерсант! — с сарказмом подумал о себе Егор, прислушиваясь, как дыхание близкого моря гулом проходит по верхушкам угрюмых слей. — И никакой ты не коммерсант, тебя послали как обыкновенного толкача, человека без профессии. Зачем уступил? Сколько ты теряешь из-за этих поездок? Ты и твои ребята из лаборатории, да и завод весь. А знаешь ведь, как опасно терять хотя бы малость. Кто смирился с маленькими потерями, тот теряет все...»

Было тяжело вспоминать, как провожали его Ирина и Славка. Варя забежала домой, собрала его в дорогу и ушла на завод — дела. Всю дорогу до вокзала Ирина молчала, а на перроне, стоя перед открытым вагонным окном, почему-то вдруг расплакалась. Почему она молчит все время? Почему вдруг расплакалась? Ну, сын, тот всегда плачет, прощаясь, это и понятно, дома ему одиноко, а от одиночества страшно даже таким, как Славка. А дочь-то, маленькая затворенная душа? Она-то почему расплакалась? Его жалеючи или себя?

То ли оттого, что он расстроился и ориентировался плохо, то ли он ничего не понял из того, что говорил ему старик с замечательным ножом, похожим на рыбу, и рыбами, похожими на нож, только Егор Канунников долго плутал по лесу в поисках «дачи под шляпой», пока случайно не набрел на нее в совершенном, казалось, бездорожье. Правда, когда он подошел к даче, то увидел тропу и к ней, только она вела совсем с другой стороны.

Крыша и в самом деле походила на шляпу, вернее,

ни шлем, в каких ходят летом наши пограничники на юге, Егор видел их однажды в Армении. Домик, обшитый поперек широкими сосновыми досками, пожелтевшими до бронзовости от солнца и ветра. Широкое окно с большими матовыми стекленными проемами, его уж никак не назовешь венским, белая дверь высоко над землей, а под ней жесткое крыльцо и узкая и крутая, похожая на трап, лестница. Стена эта с крыльцом и дверью и другая с широким окном, и полянка освещены ярким лесным солнцем, и было приятно глядеть на это светлое пятнышко среди сукосени угрюмого ельника. Другие две стены были как бы отрезаны от домика густой тенью огромных деревьев, подступивших к самым стенам. Веранда нишей входила в домик, под край шляпы. Там было еще окно и еще дверь, не прикрытая плотно: значит, кто-то был живой в домике.

Егор не надеялся встретить сейчас Эйнара и не встретил. Дома была его жена, белокурая худенькая женщина, совсем девочка. Ее звали Мари. Она вспомнила о случае в Москве, о котором ей рассказывал муж.

— Будете обедать?— спросила она.

— Спасибо. Пообедал в Таллине.

— Тогда отдохните. Эйнар рано не придет, а может, уйдет с рыбаками в ночь.

— С рыбаками в ночь?— переспросил он.

Видя, как он сразу расстроился, она успокоила его:

— Но вряд ли он пойдет с рыбаками. Море уже три дня беспокойно.

И она прислушалась, глядя вверх на вершины елей, облитые дневным солнцем, в которых то нарастал, то таял шум прибоя.

— Я поброжу,— почему-то робея перед хрупкой Мари, сказал Егор и направился в лес. Оглянувшись с дороги, чтобы запомнить домик. Из кирпичной трубы струился голубой дымок. Он цеплялся за ветки елей и, просвеченный косыми лучами солнца, как бы застывал, бледнее и делаясь неуловимым.

Овраг вел к морю. Тут было сумрачно и влажно. Трава мокро темнела, она, должно быть, никогда не просыхала. Крупные капли висели на резных листьях папоротников. Восходящее и заходящее солнце, пробивающееся меж стволов елей, успевало лишь на миг зажечь их ослепительным блеском, но не в силах было высушить, а дневное так и не могло пробиться сквозь кроны. Но днем все равно в них отражается мир, пусть маленький, огра-



ниченный вот этими двумя берегами, папоротниками, травами, родниками, которые журчали там и сям.

«А ночью капли черные и ничего не отражают»,— ни с того ни с сего подумал Егор.

Он вышел на берег моря. Море лежало серое, он не удивился ему, хотя уж и не так часто его видел. Лег на пригретую солнцем траву и уснул, сквозь сон чувствуя, как вздрагивал берег под ударами волн.

## 6

Море плавилось. Оно было золотисто-красным, и смотреть на него после сна больно. Это был закатный, но вовсе не умирающий, а живой, струящийся свет. Море гнало его, и он бежал к берегу на гребнях волн. А впереди них катились тени, вечные спутницы света. Они жили лишь для того, чтобы подчеркнуть его силу и волшебство и тем самым убивали себя, свою самородность.

«И вот так миллионы и миллионы лет,— подумал Егор Канунников, чувствуя, как тело его наполнялось какой-то незнакомой внутренней дрожью.— Да, миллионы лет. И когда человека на земле не было, и когда он стал на ней хозяином. И будет так, когда земля опустеет и никого не будет на ней. И волны вот так же погонят вечерний свет к берегу».

После шторма накат был все еще сильный, но уже не доходил до линии водорослей, выброшенных на берег. Водоросли, подсохнув, побелели. Их йодисто-соленый запах остро чувствовался во влажном вечернем воздухе, и только воспоминанием оставался в памяти недавний запах разогретых солнцем трав и земляники на опушке леса. Шум волн отдавался в лесу, и казалось, что кто-то сильной рукой гладил колючие ели и деревья отзывались глухими вздохами.

«Волны к берегу, а человек к дому, естественно,— подумал Егор, вставая.— К черту, все к черту».

Умиротворенность его прошла, море, начавшее сереть и гаснуть от берега, уже не вызывало острого чувства необычности и новизны, и мир вновь вставал перед ним в своей будничной неяркости, нервности и неприютности.

И в то время, когда Егор повернулся, чтобы уйти в вечернюю тень леса, что-то вдруг привлекло его на посеребрившей кромке воды у берега, где волны бились о прибреж-

ные камни. Что-то — ему показалось, рука, что ли, взлетела над волной, на воде закачалась черная точка, будто вдруг полегчала и всплыла оторванная штормом верхушка остроконечного камня. Егор прирос к земле, хотел шагнуть к морю — не смог, хотел позвать кого-то — только сглотнул комок волнения. Не мог же он подумать, что это какое-то морское чудище, русалка, водяной или сам Нептун, и все же на какой-то миг он испытал страх. Он знал, что, когда тебе ничто не угрожает, а тебе все-таки страшно — это худший вид страха. Это страх неведения, страх суеверия, который тебе чужд, но ты ему все-таки поддался.

Из воды трудно поднялся человек. Это была женщина. Темные волосы ее, мокрыми сосульками прилипшие к шее, плечам, вдруг медно вспыхнули, прихваченные еще струящимся в воздухе светом, как бы раскалились до желтого свечения, а на лице жутко затемнили провалы глаз. Женщина, редко ступая, устало пошатываясь и запинаясь о воду, шла к берегу.

Егор выступил из-за валуна. Женщина на миг замерла, но, закрыв грудь руками, прошла мимо. Егор услышал одышистое и неприветливое:

— Не видели голой бабы?..

Только сейчас, когда она скрылась в кустарнике, Егор понял, что на талии ее болтались жалкие остатки зеленого купальника, грудь, спина были открыты.

Его удивили, как мальчишку, который, снедаемый первым юношеским любопытством, прячется в кустах и подсматривает за купающимися девчонками. Стыдно, стыдно... И все это из-за вечной его готовности исправлять чужие ошибки, бросаться спасать, когда в твоей помощи не нуждаются, тушить пожар, когда люди сами подожгли дом, и всегда попадать в глупейшее положение, а потом делаться невыносимым самому себе и смешным в глазах людей.

Он тихо поплелся от моря. Обошел кусты, ища тропинку.

Женщина лежала на траве, как-то странно подобрав ноги. Она дрожала. Егор подошел, она не остановила его. Спросила слабым, усталым голосом:

Нездешний? Здешних я знаю. Всех...

Нездешний. Где ваша одежда?

У Илусов...

Свело ноги?

— Да.

Егор склонился:

— Дайте помассирую.

Она кивнула.

Егор встал на колени, стал бить ладонями по ее холодным голеням и бедрам. Ноги ее чуть ожили.

— Ладно,— сказала она.— Дайте гвоздь или иголку. Есть что-нибудь?

Егор порылся в карманах, пожал плечами.

— Сходить за одеждой?— спросил он.

— Да...

Он побежал в гору и, чтобы запомнить место, оглянулся. Он всегда так делал по привычке армейского разведчика. Сообразив, спросил:

— У которых Илусов?

— У доктора.

Что Эйнар не вернулся, Егор догадался, как только ступил на веранду. Мари взглянула на него глазами, полными грусти.

— Простите, Мари,— сказал Егор, смущаясь и не зная, как рассказать о той женщине на берегу.— Как бы мне найти дачу доктора Илуса?

— Что-нибудь случилось?

— Да.— Егор рассказал все, как было.

— А, это та...— Мари чуть прищурилась, отчего ее красивое малоподвижное лицо оживилось, а тонкие губы тронула улыбка.— Возьмите мой халат. Занесет завтра. Неосторожна она, лезет в штормовое море, а это может плохо кончиться. Море не шутит.

Егор подхватил брошенный ему на руки халат.

Женщина уже сидела, обхватив колени, она успела отжать волосы, и они, спутанные, топорщились во все стороны. Решительно делил ее спину напряженный рубец позвоночника.

— Возьмите!

Она, не оглянувшись, протянула назад руку, взяла халат, и по тому, как помедлила, прежде чем накинуть его на плечи, он понял, что она уже догадалась, откуда этот халат, но ничего не сказала. Поднялась. Халат был ей тесен, охватывал подмышки, талию, при каждом шаге готов был лопнуть на бедрах. И если бы он не был таким, Егор никогда, наверно, не увидел, сколько силы, пластичности и красоты в ее отдохнувшем за короткие минуты теле.

Он шел рядом. И хотя он знал, что больше никогда не увидит ее, что в общем-то до нее нет ему никакого дела, как и ей до него, но на языке вертелись слова, которые он хотел бы сказать ей, вопросы, которые он хотел бы задать.

«А, это та»... Сумасбродка, значит... Полезла в неспокойное море, налетела на камни, вот и измочалила купальник... Но почему на теле нет ни одной царапины?»

Она свернула на одну из боковых тропинок и, приостановившись, впервые взглянула на него: зрачки ее были расширены, и серые глаза от этого казались темными, глубокими и испуганными. «В расширенных зрачках всегда таится испуг. Так уж, видно, это устроено,— подумал Егор,— хотя эта женщина, кажется, не боится ни бога, ни черта. А все-таки за жизнь свою, должно быть, испугалась».

И опять ему хотелось спросить ее, и опять он промолчал. И тут же услышал:

— Не изображайте, пожалуйста, себя спасителем. Как видите, все было не так...

«Вот так именно у меня всегда и получается, сам же делаюсь виноватым»,— хотел он сказать, но лишь иронически подумал о себе. А сказал другое:

— Попытаюсь. Во всяком случае, буду стараться. Я ведь тут действительно ни при чем.

Женщина стала ему неприятна, и сам он показался себе жалкой пробкой, которую всегда вышибают, когда она не нужна.

И он свернул в лес и скрылся в сумрачной чаще. На этот раз, вопреки своему обычаю, не оглянулся. Когда ты не думаешь возвращаться, незачем оглядываться и запоминать место.

Вечером над полями долго висел серебряный свет. Да, именно висел. Когда Егор вышел на шоссе и успокоился, заметил: у земли густела темнота, а чуть повыше, где-то над самой его головой, воздух начинал серебриться. И небо было тускло-серебристое, без звезд. Пока он ждал автобус, небо потемнело и зазвездилось. Ночь потемнела, но не сильно, будто ее не додержали в проявителе. И эта ночь, и то, что он не встретился с Эйнарсом, и эта странная женщина, и то, что долго не было автобуса,— все это вновь обострило чувство обманутости и вызвало обиду.

Окна дома за каштанами светились. Листья едва-едва двигались, будто плавали в светящейся воде. Казалось, перед ним картина Куинджи.

— А мы думали: устроились где-нибудь в гостинице,— сказала Аполлинурия, открыв ему дверь.

— Где там устроишься? И зачем мне гостиница?

— И то верно. Ванна готова, если хотите...

Егору не хотелось ванны, он хотел есть, но от ванны отказаться все же было нельзя, и он пересилил себя и голод и согласился. Вода была напущена давно и чуть остыла, но он порадовался — ждали. А в гостинице кто ждет? Во всем есть свои преимущества.

«Говорят, даже в тюрьме. По крайней мере там тебя при хорошей охране не ограбят»,— вспомнил он чью-то мрачную шутку.

Не перевелись еще на свете шутники...

Чай пили на кухне. Тетушка Апо — у нее отечное вялое лицо человека, страдающего сердечной недостаточностью — мыла посуду, подогревала воду для грелки: у хозяйки, тетушки Лийси, и летом мерзли ноги,— спрашивала его о семье, о деле, которым он занят, о далеком, почти неведомом для нее Новограде. Егор сухо, без интереса рассказывал, с раскаянием думая о том, что зря удрал из Раннамыйза, может быть, Эйнар вернулся с островов. И чем черт не шутит, вдруг Егору повезет... А если не повезет, не теряя зря времени, он завтра же в ночь отправится в Москву.

Апо все расспрашивала его, а ему страшно не хотелось что-то рассказывать о себе чужому человеку, и он, чтобы как-то уйти от этого, спросил ее о старухе. Ее что-то совсем не слышно стало.

— То ли спит, то ли в забытии,— сказала Апо,— совсем стара стала.

— Кто же она вам? Мать?

— Да никто в общем-то. Но в то же время она — все.

— Как же так?— У Егора появился интерес к этим одиноким женщинам.

— Одним часом не расскажешь,— Апо заволновалась, румянец оживил ее бледные впалые щеки.

— С мужем мы сюда приехали в сорок первом. Он — лейтенант, я — молоденькая учительница. Двое девчонок-погодков на руках. Приехали не в чужую страну, власть

одна. От русских они, правда, поотвыкли за время, что прозь жили, но относились доверчиво.

Апо замолчала. Встав на цыпочки, стала составлять на верхнюю полку старомодного темного дерева буфета протертые полотенцем тарелки.

— Ну, и привыкнуть-то они заново не успели, хотя Советскую власть приняли, это я сама видела. А тут такое испытание... война.

Она волновалась, видно, редко рассказывала о тех временах, и рассказ больно бередил старое, воскрешая то, что нельзя уже воскресить.

— Петр мой так и остался на островах. Острова они долго еще держали после того, как корабли наши ушли, и тут уже немцы всю хозяйничали. И прожила я с девочками все три холодных года в Тарту. Языка не знаю. Так вот глухонемой прислужой у тетушки Лийси и считалась. Муж у нее был в то время адвокат. Михкелем звали. С немцами якшался.

— С немцами? А вас не выдал?

— Не выдал. Ну, якшался, он говорил, из-за нас. Это, пожалуй, правдой было. Кормил-то всю семью он — Михкель. После войны, когда сюда переехали, вскоре умер. И я дала клятву: тетушку Лийси не покидать ни на час. Вот и живем сам-друг.

— А девочки? Выжили?

— Ну, как же, как же. Мы с тетушкой Лийси уже бабушки. Чудно только... Старшая-то, Елена, в Гатчине живет. Русская вся от языка до самых мелочей, а младшая — эта в Тарту, эта истинная эстонка. Вышла за здешнего парня. Жену уважает. А внучата...

Апо замолчала.

— Чаю-то налить?

— Да, пожалуй...

Наливая чай, она договорила:

— Не могу с внучатами разговаривать. Я по-эстонски, как и они по-русски. Вот и не получается у нас. Погошу, бывало, у них день в Тарту, со слезами и тяжелым сердцем уеду.

Обе счастливы? Дочери-то ваши?

— Да, кажись, обе. Вот как получилось. Между ними всего один год. А разные, не узнаешь.

Часто тут такое случается?

— Не часто. Нация она маленькая, самостоятельная, гордая. Часто ее другие народы прижимали, вот и разви-

вается сама в себе. Чтобы сберечься. Их понять можно. Это наши не боятся. Нашим бояться нечего. Не растворяются.

— А кто эстонцев собирается растворять?

— Да никто не собирается. Разве я говорю?

Они долго молчали. Егор допивал чай, Апо то пересыпала крупу, то сортировала сухой компот, то перебирала корицу. Делала она все с такой бережливостью, даже с ласковостью, пальцы ее ко всему касались с такой предупредительностью, что Егор сразу увидел перед собой незапятнанно честного и чистого человека. Он слышал, да и сам мог убедиться на сотнях примеров, что эти качества проверяются прежде всего в отношении к хлебу, к тому, чем люди кормят себя. Это не было ни жадностью, ни скупостью. Это было великим знанием того, что стоит человеку каждый божий день.

«Была бы добрая учительница, не сложились так у нее судьба,— подумал Егор.— Может быть, вовсе незаурядная. А то и талантливая. А чем измеряется талант человека? Тем, что дала природа? Или тем, что он сам воспитал в себе? Или тем, что он ко всему относится искренне и не терпит лжи? И может ли талантливый человек бездарно прожить жизнь? О ней не скажешь, что она прожила бездарно свои годы, хотя, будь она учительницей, была бы куда более счастлива: скольким бы людям дала крупицу своего таланта. А то одна тетушка Лийси. Да дочери еще». И тут же возразил себе: «Если бы каждый мог отдать другому столько, сколько она отдала, должно быть, тетушке Лийси, как бы велики были люди...»

Но и этой мысли он тотчас же возразил: «На себя оглянись, пожалуйста,— вежливо, но с привычным в этом случае сарказмом обратился он к себе.— Сам ты всю жизнь подпираешь кого-нибудь... уж не стал ли ты от этого великим человеком?»

И спросил, отвлекаясь от мыслей:

— Рано у вас ложатся спать?

— Рано,— ответила она с таким видом, будто ждала от него другого вопроса.— Город у нас степенный.

— Что ж,— сказал он,— поддержим его степенность.

В своих поездках по стране Егор остерегался необязательных знакомств. Знакомства всегда к чему-то побуждают. Например, писать письма. Зачем говорить: «пишите» или «я обязательно напишу», когда знаешь, что тебе не напишут, да и сам не будешь писать. На квартирах, по-

добно этой, он строил свои отношения примерно так: утром — до свидания, вечером — здравствуйте. А тут полез в чужую жизнь. Зачем? Да ведь интересно же, интересно! И было бы убийственно, если бы он однажды почувствовал, что потерял интерес к людям.

Он ушел в свою комнату. На несколько часов это его утол. Как он поначалу трудно привыкал к чужому жилью! Жилье носит на себе черты характера его хозяина. Все: мебель, то, как она поставлена, свет, даже воздух — во всем чужой характер. А как ему уже надоели чужие характеры. Они то ли подчиняют тебя, заставляя понимать (это в лучшем случае) или приспособливаться (это противнее всего), то ли нивелируют тебя, уравнивая и уничтожая.

Хуже всего жить подолгу. Когда у тебя мало времени, ты стараешься ничего не замечать.

Верхнего света не было. Настольная лампа освещала лишь кружок у себя под ножкой. Перед окном качались черные листья каштанов, будто плавали в темной воде. Тихо было и в доме и по ту сторону каштанов. Ну, что это такое? Вроде он давно не чувствовал такого одиночества и обманутости. Отчего? Или характер женщин, характер, который наложил отпечаток на все в этом жилище, уже подчиняет его себе?

Уж лучше бы остаться на Раннамыйза. С морем, говорят, никогда не бываешь одиноким.

За стеной слышались причитания тетушки Лийси.

Егор разделся, лег на застланный диван. Простыни были свежие, сухие, но пахло от них водой, и это было приятно и напоминало о доме, о диване, на котором он обычно спал вместе со Славкой, о Варе. Вспомнил, как последний раз он был у нее в подвале, и вдруг почувствовал холодок стали у себя на ладони, отполированный кусочек, который он держал тогда. Мысли, мысли закружились в голове вокруг этого кусочка, синеватого, как осколок льда. Он шал, зачем нужны людям такие разных размеров плитки. Они — передатчики размера от государственного эталона метра до изделий. Какой разноразмерностью, хаос пришел бы в машиностроение, не будь их. Знал, что без них не обойдется ни одно точное производство. Но все искал для них какое-то еще применение, новую работу, как бы применяя их все в новых и новых соприкосновениях. Он не мог иначе мыслить. Мозг изобретателя построен именно так, что никогда не смиряется с однозначностью предмета, иначе бы он ничего бы не придумал, согласившись с совершенст-



вом того, что люди сделали до него. Именно в этом заложена неизбежность беспокойного существования людей, кому выпала доля двигать вперед технику.

Кусочки стали, те самые, что проверяла тогда Варя, почему-то не выходили из головы и в дороге, и здесь, в Таллине, как только он остался наедине с собой. Зачем они, зачем?

Нет, слишком разбросанным был день, чтобы сосредоточиться.

Кажется, давным-давно было ленинградское утро, солнечное марево над громадным полем аэродрома, редкие облака под самолетом, земля в июльском сиянии солнца. Леса, озера, поля и таллинский дождь, и Раннаыйза, и море с огненными валами волн, катящимися к берегу, и та женщина в изорванном купальнике.

«Экая красавица с острова Бали, говорят, есть такой где-то в Индонезии,— подумал Егор.— С острова Бали, где женщины еще недавно ходили в чем мать родила. Правда это или нет, но пусть... Если это им нравится, поделаться тут ничего нельзя. Вдруг у нас кто-нибудь покажет такую моду, будут ходить и наши. Разве только холод...»

Вот так бездарно и проходят дни. И не вернешь их, не исправишь, не переделасешь так, как бы захотел.

То ли дело заводская техническая лаборатория, его, Егора Канунникова, хозяйство. То ли дело рядом с тобой твои верные друзья. Они снятся Егору по ночам, да и лаборатория снится, когда вот так он валяется вдали от дома, как выведенному из боя солдату снятся атаки, бомбежки и фронтовые друзья.

За стеной причитала тетушка Лийси. Из открытого окна запахло влагой. Листья каштанов зашелестели. На-крапывал дождь.

8

Перед уходом из заводууправления Роман позвонил в отдел технического контроля Канунниковой.

— У себя еще?

— У себя,— ответила Варя, чувствуя, как голос сел, охрип даже.

— Как день сегодня?

— Обычно... Много брака.

— Хм...

Варя стала рассказывать, на чем проштрафился тот или иной цех, но Роман остановил ее:

Зайду. Погоди немного...

В последнее время, люди заметили, Роману полюбили заходить в ОТК после работы. Началось это, пожалуй, с нынешней весны. Директор сам проверял документы на приемку продукции, то хвалил мастеров за строгость, то ворчал: «Привередливы слишком, а у завода план и запасов металла ни крошки».

Прощавшись с донной Анной, которая только и ждала его ухода, Роман направился из аппаратной, так называли его приемную с телефонным коммутатором и телеграфом, связывающим завод с министерством. Роман спустился вниз, по диагонали пересек заводской двор, весь затененный тополями, спустился еще ниже — в подвал. Тут он вошел в застекленную кабину, сел к столу Канунниковой, взял бумаги, которые она ему подала. Это была дневная сводка принятой продукции. Он с зоркостью и быстротой человека, понимающего, что к чему, просмотрел лист за листом, бросил на стол, взглянул ей в лицо — вблизи можно было разглядеть румянец кожи, холодный неоновый свет не мог убить живую плоть.

Да,— протянул он, стараясь говорить мягко, но удовольствие все же проскользнуло в его голосе, и этого было вполне достаточно, чтобы она поняла его.— Порадовать нечем.

— Серые пятна и микротрещины,— не пытаясь оправдываться, строже, чем могло быть, ответила она.— Пошла танноружская сталь. Холодной, что ли, они ее катают?

Ну что ж, вам тут виднее,— сказал Роман, и Варя поняла, что брака должно быть меньше. Хорошенькое дело — меньше! Кто из ее контролеров возьмет это на свою голову? Да и как скажешь им?

Она промолчала, подумав: «Роман всегда думает только о себе. Других для него не существует. У других нет своих интересов, своих трудностей. И ходит сюда, будто и прежняя девчонка».

Она вспомнила, как это тогда случилось, в войну.

Они убирали картофель в подсобном хозяйстве, в селе Заболотье. Он был тогда сменным техником и на уборке руководил бригадой ремесленников. Дул резкий холодный ветер. Стыла земля и руки. Покрасневшие пальцы не слушались, казались чужими. Он не раз подходил к ней, видно, надоело сидеть в конторе, склонялся вместе с ней, очищал картофелины от намерзшей земли, забирал ее руки в свои ладони, пытался согреть. А ночью, когда все

засыпали — кто на полу, кто на нарах, — он пробирался к ней, жарко дышал в лицо, что-то все хотел от нее. С мороза ее нестерпимо клонило ко сну, руки и ноги ломило. Потом он плакал и плакал истово, шепча, что вот еще одна его бессонная ночь. Так он сойдет с ума.

Она привыкла к нему, потом полюбила, и на какое-то время ушли-стерлись тяготы войны. А когда он женился на черноватой Римке-чертежнице, Варя, тогда уже кадровая работница, вдруг куда-то уехала. Она вернулась перед самым концом войны, скоро Егор Канунников стал ее мужем.

— Задумалась что? — спросил Роман, чувствуя неловкость из-за ее молчания.

— Да так, — ответила она. — Старое вспомнила.

— Вспоминаешь?

— Вспоминаю.

Он вздохнул.

— Раньше никогда не говорила. Столько лет как чужие. Почему?

Она не ответила. Роман понял, что она ждет, когда он уйдет, и встал.

— А я никак не отвяжусь от вины перед тобой. Не знаю, что и делать. Увижу только и...

Он не договорил. По ее нетерпеливому движению понял, что разговор неприятен ей. Надо бы уйти, но он не уходил. А она подумала: «Зачем-то я нужна ему. Так, за просто не заговорил бы об этом». Проследила, как он прошел по ее маленькому кабинету к зарешеченному окну. Чувствуя, как жарко стало лицу, шее, всему телу, вспомнила первую ночь с Егором, мужем. «Ты что такая?» — спросил он, отвернувшись. «Какая?» — удивилась она. Она ждала этого вопроса, боялась. Надеялась, пронесет, не спросит. Но он спросил... И все ответы, какие она попридумывала, забылись или казались неубедительными. Оставалось только сказать правду. Но правды сказать она не могла: Егор уже подружился с Романом, и они работали вместе, в одном цехе. «Да такая», — повторил он, ни о чем больше не спрашивая. «А у нас все были такие», — ответила она словами, которые, казалось, ничего не выражали. «Где это у вас?» — по-прежнему не глядя на нее, спросил он. «Да у нас, в ремесленном».

За все годы их совместной жизни Егор хотя бы раз еще спросил об этом. Должно быть, списал ее грех на счет войны. И то, что она тогда сказала Егору неправду,

ую жизнь стояло между ними. Она это видела, злилась на себя и на него тоже. На него больше, чем на себя, потому что он поверил ее лжи.

«А что он мог еще сделать, кроме как поверить? — подумала она. — Он ведь меня любил». И тут же насторожилась: «Почему подумала о его любви, как о прошлом? Неужто у меня прошло все и у Егора тоже? Может, потому он и носится по стране, что не хочет видеть, как все у нас развалилось?»

Оба — и директор и Варя — чувствовали, что молчание затянулось. Он должен был уйти и не ушел. Она должна была попросить его, чтобы он удалился, и не попросила. Неужто еще существовала сила, связывавшая их?

— Вот что, Роман Григорьевич, — сказала Варя, вставая и с чувством то ли неприязни, то ли сожаления — она и не увидела его и жалела почему-то — посмотрела в его прямую спину, прямой затылок, уже захваченный светлым клинышком плешивинки, — я ухожу.

Он обернулся и, казалось, был обрадован, что она его провожает. Однако не двигался, не спускал с нее глаз, как бы ожидал от нее не то, что услышал, а совсем другое.

— Зачем ты сюда приходишь? — спросила она, не отводя своего взгляда. — Ну, что тебе от меня надо? Может, и назначил ты меня сюда, чтобы всегда под боком иметь?

Он внутренне вздрогнул, она это заметила.

— Как ты так можешь? И с такой злобой...

— Рада бы собака не лаять, да чужой идет.

Я чужой?

— А что — родня?

Она пошла к двери, он окликнул:

Постой!

Варя остановилась, держась за железную кованую скобу.

Зачем я сюда прихожу? Ты хочешь об этом знать? Тогда слушай.

Только откровенно, — попросила она.

Да. Я уже говорил о чувстве вины перед тобой. И мне все время хочется для тебя что-то сделать. Ты мне не дала досказать... Когда я вижу тебя, вдруг начинаю смотреть на себя твоими глазами, и мне хочется стать лучше, отбросить все, что каждый день оседает в душе. Если уж нельзя стать лучше, то хотя бы остаться таким, каким

был. Годы приучают к самоанализу, Варя. А я особенно не углубляюсь в себя, не умею, все же замечаю: меняюсь характером. Помнишь, еще недавно в Москве, в министерстве, ставили меня в пример другим, как хозяйственника нового типа, интеллигента и даже интеллектуала. А теперь? Огрубел душой, стыдно! Если раньше меня хватало на любой день, каким бы ни был он адовым, теперь срываюсь, не выслушиваю людей, повышаю голос. Не хватает терпения убедить человека, довести до такого состояния мысли, когда он уходил бы, твердо убежденный в том, что мнение, к которому он пришел, это его, а не чье-нибудь мнение, что принятое решение — это его решение, и никто не понуждал его к нему. До сих пор стыдно перед Егором: Сойкина пришлось подключить, о партийной дисциплине напомнить. А разве я не мог бы убедить его, если бы хватило терпения?

— Да, вижу, ты откровенен, — она отошла от двери. — И, как всегда, верен себе. Я для тебя вроде жертвы, над которой плачет разбойник в часы приступа сентиментальности.

— Варя!

— Ладно... Иди...

— Варя, может, это любовь? Или хотя бы то, что от нее все-таки осталось?

— Почему ты людей считаешь глупее себя? Ну, почему?

— Люди перестают верить в благородство. Они принимают его за хитрость.

— Опять люди виноваты! — возмутилась она и подумала: «Да, он хитер, как бес. Наверно, никому еще не удалось провести его, и он всегда добивался того, чего хотел. Но что ему от меня надо?»

— Дверь захлопнешь, — сказала она, выходя. — Да и не оставайся долго. Ведь ждут.

Сказала и раскаялась тотчас: вроде все еще ревнует его к жене, семье. А может, и на самом деле ревнует? Было же когда-то.

Эх, слова, слова. Как нечаянно могут они выдать человека.

Попервости, когда он женился, она смертельно ревновала его к жене. Но вот пришел Егор и стал мужем, появились Ирйнка, Славка, а Романова красавица вскоре потолстела, постарела, обрюзгла — чернявки ведь недолговечны, — и ревность у Вари прошла. Да и все прошло —

обиды, злость, и минувшее стало как бы неправдой. Был ли у нее Роман или не был — разве не все равно? Теперь-то его нет, никогда уже не будет.

Оставалась заметная, ей казалось, только для нее неловкость, когда она встречалась с ним. Будто что-то они не договорили и никак не осмелятся договорить.

«Зачем он хочет вернуть то, что погибло?— думала Варя, озабоченно шагая по дорожке между деревьями на Октябрьском проспекте к Славкиному садику.— Или, как коршун, почуял, что одна без Егора, не защищусь?»

9

За воротами Романа ждала машина. Шофер, молодой парень в ковбойке и тесах с цветной нашивкой на правом заднем кармане, скушаяще ходил вокруг «Волги» и волосатым ежиком смахивал пыль. Машина была старая, первых выпусков, но блестела плоскостями и сверкала бамперами — куда там новой. Юрка, сын Аграфена, любил технику. Уважал он и Романа и его супругу Римму Семеновну. А в их дочь Ритмину он был влюблен.

Эта его любовь и освещала ему жизнь, и старая «Волга» из казенной вещи превращалась в сказочный корабль, почти уже семейный.

Папа Аграфен был доволен судьбой сына. И хотя он не очень верил, что породнится с директором, — Аграфен был трезвым человеком, — но то, что машина успевала обслуживать чуть ли не наравне и его, Аграфена, вполне устраивало и радовало. А попробуй при деревенском хозяйстве — Аграфен жил в пяти километрах от города — обойтись без колес?

Роман Григорьевич шел к машине, а Юрка взглядом как бы мел перед ним дорогу. Взглядом же он открыл перед ним дверь, потом закрыл, попробовал, прочно ли держит замок. Бывает, он, не доверяя глазам, встанет, обожит машину и проверит дверцу уже не взглядом — рукой. Но сегодня дверца, кажется, прикрыта надежно. Когда у Романа неприятности, он делается сосредоточенным, и каждый шаг его осмотрителен, каждое слово на вес золота — молчит. Сегодня у него, должно быть, неприятности. Он и дверь прикрыл как следует, и сказал лишь одно слово:

— В Заболотье...

В Заболотье жила семья Романа. Года три назад он

по дешевке купил там дом, привел его в порядок, с весны и до поздней осени Юрке приходилось каждый день совершать рейсы туда и обратно. Поездки были не тягостны: дорога — катись не накатишься, да к тому же на пути папин дом. Папа был тактичен, никогда не напрашивался в попутчики. Зато в свободное время машина оставалась в полном его распоряжении.

Они проскользнули набережной Хлынки, выскочили на мост через Шумшу, свернули налево и берегом понеслись сквозь сосновый бор. До Заболотья каких-нибудь тридцать километров. Разве это дорога?

Шумша пришла к Новограду с востока. Последний отрезок ее пути был почти прямой — будто она спешила к городу и не оказалось у нее времени петлять по своей пойме. Правый берег зеленел лугами, а левый поднимался длинной грядой увала, на склоне которого и облюбовали себе место для поселения древние жители здешних мест. Тут и отстроился Новоград.

Миновав город, Шумша как бы заартачилась — не захотелось ей бежать дальше, и она круто повернула на юг, желая омыть город с другой стороны, но увал ревниво берег полевой разлив и отогнал Шумшу, прижал ее к песчаным косограм, поросшим вековой сосной. Тут и начала метаться Шумша. Уже на людской памяти она не раз меняла свое русло, то старалась приблизиться к городу с западной стороны, то, обиженная его равнодушием, уходила дальше, оставляя на земле отметины своей неукротимой страсти: старицы, забытые осокой озера, заболоченные низины. Иные из озер были так древни, что жили уже своей самостоятельной жизнью, другие, помоложе, еще питались живой материнской водой. На берегу такого озера и стояло село Заболотье.

Роману дом понравился с первого взгляда, и он уже не расстался с ним. И то, что в Заболотье случилась та давняя история с изыбшей на ветру и морозе девчонкой Варей, и в голову не пришло. Да и дома того уже и след простыл, и не сразу вспомнишь, в каком порядке стоял он: то ли в нижнем, у самого озера, то ли в верхнем, по косограу. Но он был, был и от этого Роману никуда теперь не деться. Но почему сегодня он едет туда с такой мукой? Варя разбредила память? Конечно, разбредила. Надеюсь опереться на ее плечо, поискать помощи. А что случилось?

«Почему мне не верят?— подумал директор, когда они

въехали в бор и мысли стали яснее. — Вот и Варя: «Откровенно!» Не верят или не доверяют? Или говорят неоткровенно, а открываются лишь тогда, когда заручаются согласием на откровенность? И с меня того же требуют. А в другое время я что, не откровенен? Откуда у людей такое обо мне мнение? Разве я в прятки с ними играю? Разве делаю что-нибудь во вред им?»

За годы работы на заводе Роман Григорьевич убедился, что добро люди принимают как должное и не вспоминают о нем, зло не прощают, а ошибок не понимают. Святой он, что ли, — безошибочно делать каждый шаг? Он обыкновенный смертный, правда, поумнее, интеллектуальнее обыкновенного. Он теперь это уже знает — протрезвел. Да и святые делали ошибки. А если человек родился, жил, работал и если даже не работал, а валялся на боку, он все равно наделал бы ошибок.

«Да и ошибок-то у меня вроде не было, — подумал он, утешая себя, — разве что так, по мелочам. Не сумеешь людям объяснить свое намерение, вот и считают, что ты ошибся...»

Но утешение не помогло. Пока ехали, настроение не улучшилось. Скоро слева пошли старицы, озера. Через два поворота — Заболотье. Роман любил эти места. С дороги открывался вид на пойму, заросшую ивняком и ольхой — будто зеленые курчавые облака опустились на землю. То там, то тут голубыми отблесками неба сверкали разводы чистой озерной воды.

— Юрик, остановись, — попросил он.

Машина остановилась, Роман Григорьевич вышел.

Далеко-далеко, на том берегу Шумши, горбился полонный увал, желтел нескошенной рожью. От того увала и до дороги, на которой стоял Роман, широкая пойма была вся исхожена рекой, — там и тут светились среди камыша оверца стариц. Он стоял и думал, что вот река сама себе угодить не может, а он должен угодить тысяче людей. А через эту тысячу еще двум-трем тысячам, потому что у каждого жена, дети да еще родственники. И всех он кормит, дает работу, выбивает в министерстве премии, бывает — рвет из горла, будто для себя.

Чуть успокоенный — до конца он не мог прийти в себя, встреча с Заболотьем все же казалась сегодня тягостной — сел в машину, откинулся на спинку сиденья. И хотя внешне казался спокойным, мысль его напряженно рабо-



тала, не задерживаясь на открытых давно истинах и боясь новых. Такое состояние ума было для Романа всегда тягостным, как плохой, очень плохой сон, и он хотел, чтобы это состояние поскорее кончилось, пришла определенность, которая делала его сильнее других. Он сидел, закрыв глаза и изображая из себя спящего, а мысли все текли и текли, неопределенные и неустойчивые, мысли обо всем и ни о чем — пока не сосредоточились на одном — мечущейся по пойме неугомонной реке, непостоянной в своем женском проявлении характера. И он ясно представил вдруг — с закрытыми глазами воображение всегда так рельефно рисует любые картины — эту взбешенную весной реку, проламывающую себе новый путь в толще отрогов упрямо-равнодушного к ее судьбе увала, и увидел, как рушились в мутную воду подмытые гривы (это кусками своего тела рассчитывался увал за свою неспособность отступить перед женской волей реки).

«Что общего между этой своенравной рекой и мной? — подумал он. — Смешно». И вдруг все его философское построение насчет того, что «если река не уноровила сама себе, то он...», показалось ему по-детски наивным, как простенькая игрушка невзыскательному ребенку. Подумать только, за какой хлипкой оградой решил спрятаться. Да разве спрячешься?

«От людей, ясно, спрятаться можно, но куда спрячешься от своей совести, если ты ее еще не потерял?» — подумал он и открыл глаза.

Машина стояла у крыльца его домика: Юрка, должно быть, и на самом деле поверил в его сон и пожалел будить. Приятный парень Юрка, с ходу тебя понимает...

Дом был обычный, крестьянский, с тремя окнами по фасаду, крыльцом, сделанным уже по моде — с прямым козырьком и ребристыми укосинами. В палисаднике махровились георгины, холодные нездешние цветы, которые он не любил, но которые любила жена. Слева, перед оградой, ершились темной зеленью неизвестно кем посаженные кедры, которые любил он, а жена все время намеревалась срубить — пугали по ночам, как затаившиеся медведи. А в сенях запах чеснока, который обожала жена, а он терпел, и линолеум на полу, как смоченное кирпичного цвета стекло, который нравился обоим. И пока он шел до этого линолеума, противоречия с женой раздражали его, но ступив на коричневую, опасно скользкую полосу с узорами по краям, он как бы подтягивался, и прежде чем

открыть дверь в горницу, уже примирялся со всем и встречался с женой спокойный и невозмутимый, как будто не провожал свой трудный день, а только начинал его.

— Доехал?— спросила жена по обыкновению и повернулась, чтобы пойти на кухню, но остановилась, желая услышать ответ, и услышала обычное:

— Как видишь...

— Трудный был день?

— Да нет, как всегда...

— Есть хочешь? — спросила она, хотя знала, что он, конечно, голоден, раз приехал вовремя и не успел нигде побывать.

— Хочу,— сказал он.

Когда жили в городе, жена заметно выделялась среди других женщин ранней старостью. Здесь же, в селе, то ли потому, что сравнить ее было почти не с кем, то ли на самом деле она менялась в лучшую сторону из-за чудесного воздуха и хорошего сна, выглядела прекрасно.

Она подала ему в горницу ужин и, ничего не сказав больше, ушла, должно быть встречать дочь — та в это время обычно купалась. Роман ел жареных лещей, аккуратно выбирал косточки и складывал их на край тарелки, а мысли, затихшие было, снова начали точить и точить его. Жаль, не приучил себя всем делиться с женой, а ее выслушивать! Сейчас он рассказал бы ей о своей стычке с Егором, стычке, которая может разрушить весь его замысел перестановки кадров, задуманной им и, на его беду, еще не доведенной до конца. И разговор с Варей... Конечно, в той его части, в части доверия или недоверия...

И как только он вспомнил Варю, опять нахлынули слезы на нее и виноватость перед ней, на этот раз странным образом вместе, и он не мог разобраться, что же все-таки было сильнее. Он выругался, вставая из-за стола: аппетит был уже испорчен.

Роман вышел из дома, взглянул на кедры-подростки, и ему вдруг стало приятно, что жена боится их, потом поглядел на дальний увал по ту сторону Шумши, залитый вечерним солнцем. Солнце еще освещало село, и только река лежала между ними уже в тени берегов и темнела провалом в неизвестное.

Шагнул с крыльца на лопушистый, невытоптаный по дорожник и пошел направо по улице, поднимающейся в гору. Он шел, зорко оглядываясь по сторонам, стараясь

опознать хоть какую-то отметину тех далеких лет, но память, кажется, начисто вытравила все. А может, жизнь стерла все приметы прошлого? Спросить о том доме? Кого теперь спросишь, кто помнит?

И хотя все испортил, исковеркал тогда он сам, и хотя он и сейчас был убежден, что любовь умерла сама собой, у нее не было будущего, но все же осталось от нее что-то необыкновенно нежное. Это, пожалуй, была вера Вари в него.

10

Егор узнал Эйнара, как только увидел его возле лесного домика. Эстонец, стоя на стуле, подвязывал шпагат под навесом веранды. Один конец шпагата он крепил на гвозде, вколоченном в желтый, будто проолифенный сосновый брус, другой — на колышке, вбитом в землю возле нижней балки. Натянутые нитки шпагата походили на струны, и домик с его крышей-шляпой напоминал невиданный музыкальный инструмент. Не он ли издавал удивительные звуки, наполняющие утренний лес? И шум ветра в кронах елей и сосен, и шелест волн, накатывающихся на берег, и плач иволги, и трескучие звоны кузнечиков — все это, казалось, порождал инструмент, похожий на дом.

Эйнар стоял на стуле, вытянувшись и едва доставая руками до верхнего бруса. Он стоял к Егору спиной, но нельзя было не узнать его мальчишеской, не тронутой загаром шен, светлых, аккуратно причесанных волос, его по-детски оттопыренного уха, которое просвечивало на солнце. Он вспомнил, что и тогда, в Москве, ухо у Эйнара вот так же просвечивалось и было красным.

В голубых пиджамных брюках и белой рубашке Эйнар походил на мальчишку-гимнаста, делавшего какое-то свое, единственное в мире упражнение.

И тут перед Егором с необычайной резкостью встала картина: угол Пушечной и улицы Жданова, крутой поворот троллейбуса. Прозевай тогда Егор, может быть, и не было бы сейчас этого утра, и музыки леса, и Эйнара, и его домика со звонкими струнами. «Положим,— подумал Егор,— домик, и лес, и утро все-таки были бы, но без Эйнара выглядели бы совсем не так».

Эйнар прыгнул со стула, оглянулся на шум шагов и увидел идущего по тропинке человека.

Вчера Эйнар поздно вернулся с островов и, хотя измо-

тался за последние дни, уснуть долго не мог. Не спала и Мари. Ей казалось, что русский обиделся и потому исчез куда-то. Это же тревожило и ее мужа. Вспомнил все, что было там, в Москве. Они тогда зашли в кафе, выпили бутылку шампанского и закусили русскими пельменями. Эйнар узнал, что Егор Иванович работает на инструментальном заводе. Как это далеко для Эйнара, который весь отдан морю, рыболовным траулерам, кильке и салаке, заводам, где это морское серебро получало золотистый загар и где выходили удивительные по вкусу и запаху рыбные деликатесы. Сам Эйнар, как истый специалист-рыбник, не любил рыбы.

Эйнар пошел к нему навстречу, не быстро и не медленно, улыбнулся по-хозяйски радушно, пожал руку, пожатие было не сильное, но все-таки руку Егора он задержал подольше, чем могло быть при такой сдержанности. Однако Егор тут же отметил, что сказанное Эйнаром: «Здравствуй, Егор Иванович» прозвучало по-товарищески добро, и это сняло робость, которая так некстати сковала Канунникова. И он сказал в ответ:

— Здравствуй, Эйнар!— тогда, в Москве, к концу разговора они сошлись «на ты» и сейчас, не сговариваясь, держались так же.— Видишь, как получилось: не обещал тогда, а вот приехал.

— Это очень здорово, Егор Иванович,— сказал Эйнар.— Не поверишь, как я огорчился, что ты не остался почевать. Мы бы кое-что вспомнили...

— Да так пришлось,— замялся Канунников.— А вспомнить есть что... Ну и пьяные же мы были тогда. Помнишь? С шампанского. Сроду бы не поверил.

— И за что мы тогда пили? Никак не вспомню.— Эйнар Илус взял Егора под руку.— Пойдем, Егор Иванович. Ну, что мы стоим перед домом, как грешники перед собором.

Они ступили на веранду. На желтом от охры полу налялся клубок шпагата, нитка тонкой змейкой сбегала через порог на землю.

«Что же это я играю,— подумал Егор, почувствовав фальшь в их разговоре.— Немножечко, чуть-чуть, а играю. Зачем? В чем-то не верю Эйнару или себе?— и тут же ответил на свой вопрос:— Себе, пожалуй».

.. А пить за знакомство, Егор Иванович, самое приятное. Как мы тогда, помнишь?

— Помню. Не люблю дни рождения и свадьбы. Все

куда-то торопятся. Вино требует усидчивости. А мы стояли тогда.

«И чего это я играю?— опять недовольно подумал Егор.— Ах ты, горе луковое»

— Садись, Егор Иванович. Гостем будешь. Мари уехала в пионерский лагерь к дочке. Мы тут — сами с усами. Верно? Нашей усидчивости ничто не помеха.

— Ну, выпьем за то, за что пили тогда,— и Егор достал из кармана бутылку спирта. На заводе толкачей снабжали в дорогу спиртом. Мало ли где потребуется.

— Ну, у нас так не делают,— сказал Эйнар и насыпился.— Нехорошо, Егор Иванович...

— Ладно, не обижайся. Могу взять обратно. Это снаряжение у меня вроде шанцевого инструмента. Когда под огнем останешься на голом месте...

Эйнар засмеялся:

— От, черт же ты, право, Егор Иванович. Шанцевый инструмент?... Так и позаписываем.

Ох, эта спасительная бутылка... Еще не притронулись к ней, еще не отведали, только на стол поставили да одним глазом взглянули, и вот уже ушла неловкость, натянутость встречи, искренней стало, теплее даже. Егор вдруг увидел, как суетливо сновали по полу веранды муравьи, собирались вокруг обрезков шпагата, пробовали тащить. Заметил подвязанные с правого края с натянутым шпагатом вьюнки. Одни уже доходили до половины, другие чуть больше трети, а те вон — едва показались из-за балки. Живая диаграмма борьбы за существование. «И тут»,— подумал Егор.

Хозяин хлопотал у низенького столика, что-то ставил, зачем-то еще бегал на кухню. На веранде запахло свежескопченной рыбой. Эйнар терпел этот непереносимый для него запах,— ради гостя на что не пойдешь?

— Повезло нам,— сказал он, посыпая рыбу мелким нарезанным зеленым луком.— Вчера привез с островов Свежая.

И, повернувшись к Егору, вдруг удивляясь, будто видел его впервые, сказал:

— Извини, Егор Иванович, не спросил я, где ты ночевал.

— На улице Лидии Койдулы. За каштанами...

Егор заметил, как муравьи все-таки ухватили обрезок шпагата и поволокли.

— Знакомые?

Егор рассказал, как в гостинице коммерсантом представился. Коммерсант! Это, наверно, звучит так же архаично, как, скажем, жандарм. Думал: администратор испугается, поглядит как на пришельца из загробного мира. А она сделалась непонятно любезной.

— Я ведь у вас, Эйнар, впервые. И не удивительно, что приглядываюсь. Вот и тетушка Лийси...

— Тетушка Лийси? Егор Иванович, у тебя и тетушка тут нашлась? Ох, ох!

— Еще бы! — засмеялся Егор. — Хозяйка моей квартиры, Эйнар. В войну спасла семью офицера-пограничника. Учти, что при Советской власти она и года тогда не прожила... Я бы дал за это самый высокий орден. А у нее, наверно, и пособия нет. Если не так, то что вынуждает квартирантов приглашать?

— Ладно, Егор Иванович, к этому мы еще вернемся, ты меня познакомишь с тетушкой Лийси. А теперь будь добр, оставь своих муравьев, и что они тебе дались, глаз с них не сводишь, и садись к столу. Извини, нет Мари...

— Поздно вернется? — Егор понял, что Эйнар уже скучает по жене, а расстались-то всего-навсего утром. С тоской подумал: «Из-за меня все...»

Спирт был необыкновенно хорош. Он всегда был хорош, а сегодня особенно. То ли оттого, что дышалось легко, воздух был лесной, хвойный, с едва приметным запахом чуть тронутых гниением водорослей, то ли оттого, что впереди Егора ждал целый день на берегу моря, а вечер — в доме за каштанами, это тебе не продавленный диван в гостиничном фойе или жесткая лавка на вокзале.

— В Москве я подумал тогда, что ты, Егор Иванович, непьющий. Шампанским ограничились, — сказал Эйнар, поспешно проглатывая стакан «Арзни».

— Ну, как же. Непьющим я не верю. Они что-то затеяли против человечества. — И подумал, что в Москве тогда он весь день не ел, оставалось у него всего на бутылку шампанского и на пельмени.

— Ты считаешь, что желание людей не казаться такими и заставляет их пить? — В холодноватых, спокойных глазах Эйнара трудно было уловить хитринку, но она все-таки была, и Егор заметил ее.

— Не хитри, — сказал Егор. — Тебе это не идет.

— Я хотел, чтобы ты пофилософствовал. Ты здорово

философствовал тогда, в Москве. Мне сильно нравилось.

— Тогда я был голодный. Голодных всегда тянет на философию, а сытых на водку.

Эйнар засмеялся:

— Понятно, почему философия у нас в загоне.

— Дошел! — засмеялся и Егор. Ему было хорошо и уютно на веранде домика-грибка, где было темновато от тени, где здорово пахло лесом и морем и где на желтом полу муравьи все еще не могли справиться с обрывком шпаката. Он на время даже забыл, что к вечеру ему надо вернуться в Таллин, рассчитаться с тетушкой Апо, купить билет до Москвы, а утром быть уже там. У него даже не появилась мысль о какой-то там серебрянке, до того хорошо все было в мире, и мир этот до того справедливо был устроен и внимателен к нему.

Они еще выпили. Эйнар на этот раз сам захотел выпить живого, как он сказал, а не разведенного спирта.

— Ты, Егор Иванович, ешь. Почему не ешь рыбу? Свежая. Отличного копчения.

— А сам? Сам не попробовал ни одной рыбки. Возьми вот эту, — а я — вот эту. Как представитель великого народа я возьму поменьше.

— Я не ем. Грустно, несправедливо, неестественно, а не ем.

— Почему?

— Знаешь, Егор Иванович, посмотрюсь на рыбу, а на заводе нанюхаюсь отвратительного запаха жженого рыбьего жира, так не могу.

И Эйнар рассказал, что до министерства он работал главным технологом завода на острове Сааремаа.

— Ты рыбой занимаешься?

— Ну, конечно, рыбой. А ты думал — металлом? Нет, там, в Москве, я просто тебе поддакивал. Когда-то ремесленное кончал по слесарному делу. А потом — Рыбный институт.

И тут Егор вспомнил, куда и зачем поехал. Разжить-ся серебрянкой.

А Эйнар говорил:

— Погости у меня. В море сходим за салакой. Говорят, нет ее вкуснее. В самом деле! Глядеть и то приятно.

— Нет, Эйнар, не до гостевания мне.

И рассказал ему обо всем.

Они сидели на берегу моря — Канунников, Эйнар и Нина Астафьева, та самая, что явилась вчера из огненного моря.

Вчерашнее казалось Егору полузабытым сном, а может быть, ничего этого вовсе и не было: ни огненного моря, гнавшего свет к берегу (сейчас море было бесцветное и тусклое, и не могло же оно быть таким разным), ни странной женщины, устало прихрамывая, идущей ему навстречу, так не походила на нее Нина Астафьева, в ситцевом платье под цвет здешнего неба — не выцветшего, нет, просто ему чуточку не хватает яркости. Волосы у нее вовсе не длинные, как показалось вчера, а короткие и жесткие. И на лице ее не было ни усталости, ни злости, лишь скрытная стыдливая усмешка. Не могла же эта женщина быть такой разной?

А Эйнар... Он только и говорит о рыбе, которую и в рот не берет, но ловлей и переработкой которой ему полагалось заниматься по должности. И он делал это от всего сердца, с интересом и небезуспешно. Иначе откуда такая увлеченность? Ни о легированных сталях, ни об инструментах ни слова, будто он и не знает, что это такое. Как он разнился с тем Эйнаром, с которым они пили шампанское в Москве!

Егор и Эйнар курили. Эстонец рассказывал, как ходил однажды в Атлантику, но Егора это не занимало. Он наблюдал, как Нина обрывала иголки с еловых лапок, растирала их в ладонях и нюхала. На правой руке ее темнел широкий серебряный браслет с искусной чеканкой, он то скатывался ближе к локтю, когда она поднимала руку, то падал к запястью и мешал ей. Она опять поднимала руку, браслет скатывался обратно, и это ее успокаивало. Но вскоре все повторялось.

Ей было отчего-то не по себе, Егор это видел, ему ведь тоже было не по себе, и потому незримая общность настроения сблизила их не так, как вчера, когда он массирует ей холодные ноги или когда, выйдя из-за куста, увидел ее согнутую спину с гребешком напряженного позвоночника, а совсем по-другому. Вчера был случай, соблазн, глупая надежда, которой она сразу же положила конец. Сегодня — независимая ни от нее, ни от него общность.

«Наладились на одну волну: биотоки,— подумал Егор



и тут же остановил себя, как всегда в таких случаях, саркастически подумав: — А, перестань... Что у тебя общего с ней?»

Нина, будто угадав его мысли, оглянувшись, смущенно улыбнулась ему одними губами. Губы у нее казались твердыми, неженскими, может оттого, что в это утро к ним не прикоснулась помада и они были бледнее, чем это принято для молодой женщины.

Эйнар заметил ее настроение.

— Что-нибудь не так, Нина Сергеевна? — «Сергеевна» он говорил твердо, произнося скорее не «е», а «э». — Были на связи?

— Была, — сказала Нина, опустив руку, и браслет быстро скользнул, готовый сорваться в траву, но не сорвался, а застрял на запястье.

— Надеюсь, Гуртовой здоров?

— Муж в хорошем настроении...

— «Мне грустно потому, что весело тебе?» — Эйнар очень медленно, как бы боясь ошибиться, произнес это.

— Он рассказал, как там здорово, мне захотелось туда, к нему, на его плавбазу, в его холодное Гренландское море, в его туманы, к черным скалам Шпицбергена, к его скалам. Я хотела бы на «Клоге» подходить к борту его плавбазы и сдавать больше всех рыбы...

— «Клога» сдает больше всех? Узнаю «Клогу». — Эйнар непривычно оживился, вскочил с земли. Должно быть, вспомнил, как ходил на «Клоге», этом счастливом траулере эстонской рыбной флотилии. Он всегда попадал на самые жирные косяки рыбы. А Нина продолжала, казалось, не желая вступать с Эйнаром в тот незримый союз общности настроения, в какой она вступила с Егором:

— Я хотела бы на «водолее» ходить в Норвегию и возвращаться с пресной водой, и меня ждали бы, как ждут караванщики пустыни появления на горизонте оазиса. С каждым глотком выпитой моей воды во мне что-то прибавлялось бы. Я еще не знаю что, но прибавлялось. Я бы, наверно, физически ощущала, как они пьют мою воду.

Немногословному эстонцу длинная речь Нины показалась утомительной, а может, и театральной, и он взглянул на нее с нетерпением терпеливого человека — никто бы, наверно, не уловил этого в скрытом взгляде Эйнара, но Егор уловил. И тут он понял, почему вчера Мари сказала слова: «Ах, это та...» После них легко ложилось любое: фантазерка, выдумщица, артистка.

«Они не понимают друг друга и не поймут,— подумал он об Илусе и Нине, но тут же вспомнил младшую дочь гетушки Апо Сашу, ту, что живет в Тарту — «истая тонка» — и возразил сам себе:— А они понимают же, не мели вздор... Мы, русские, от рождения интернационалисты, часто поступаемся своим. Может, это и не всегда хорошо, но что поделывать».

Эйнар не тяготился молчаливостью Егора, не тяготился и Нина. Не любя быстротечных разговоров, Эйнар нередко спрашивал:

Нина Сергеевна, не едешь в пионерские лагеря? Мари уехала.

Поеду.

Он немного помолчал и, засомневавшись, спросил:

На чем? Автобусы ушли утром и больше не пойдут.

Начальник рыбного порта обещал машину. Как только освободится — пришлет.

Эйнар опять помолчал.

— Я слышал мотор. Не она?

— Не она. У него «газик», а это «Волга». Вот, за кустами остановилась.

Эйнар опять помолчал.

— Пойду поглядеть.

Нина проводила его взглядом.

— Хитрый куррат,— сказала она.

Егор проследил, как браслет скользнул у нее по руке, когда она стала поправлять свои непослушные, цвета темной меди волосы.

— Куррат? Что это такое?

— Черт.

— Изучаете эстонский?

Да. Очень трудный, единственный в мире. Я врач, психоневролог, могу помочь многим. Я хочу помочь многим. Я обязана им помочь, потому что никто тут не умеет делать то, что могу я. Впервые в жизни я чувствую, что не в силах помочь людям из-за того, что не знаю их языка. А чтобы делать свое дело, я должна говорить не хуже, чем они сами.

Она опустила руку, и браслет скользнул и остановился на запястье. Егору почудилось, что звякнуло что-то, может, невидимая цепочка кандалов.

«Чушь какая-то лезет в голову»,— остановил он себя и хотел спросить, чем же она хочет помочь людям и почему они отвергают ее помощь, если нуждаются в ней.

Но Нина заговорила сама:

— Да, я врач, психоневролог... Методы гипноза... Это новая специальность, и ее не хотят признавать. Она взглянула на Канунникова, на его удрученно опущенные плечи. — Не хотят признавать не те, кому мы нужны, а те, кто раз навсегда отштамповал свой взгляд на науку.

Она опять взглянула на него, требовательно, как бы обвиняя его в нежелании понять, но Егор вовсе не был равнодушен к ее словам. Он-то знал, как это бывает. И сказал:

— Ну, я понял бы вас. Уверяю. Но тот, кто понимает, часто находится в положении лишь сочувствующего, а не решающего и утверждающего.

Как бы обрадовавшись человеку, который с полуслова понял ее, Нина подошла к Егору, и ему пришлось встать. Егору сделалось неловко, когда он встретился с ее не по-женски жестким взглядом.

— Ну, ладно, не будем об этом, — сказала она, как бы извиняясь. — Спустимся к морю. Я люблю море. И штилевое и бурное, днем и вечером, ночью и утром. Оно умное, как люди.

— Куда вы вчера плавали? — спросил он, идя за ней по узкой промытой тропинке, белеющей мелкими камешками.

— Да так, в море. Не рассчитала сил, штормило.

— Неосторожная вы!

— Что поделаешь! — Задумалась, хмуря лоб, тряхнула головой, как бы отгоняя мысли. Оглянувшись на него, сказала: — Дура, конечно.

Они сошли к морю. Оно лежало тусклое, даже чистое небо не возбудило в нем красок. Слабые валы катились с большими интервалами и лениво шлепались об утонувшие гранитные глыбы, не доходя до берега.

И как бы окончательно доверившись ему, Нина заговорила:

— Я лечу людей от заикания. Это страшный недуг. Человек вырвал у природы свою речь с боем. Что мы без речи?

— Неужто так оно страшно, заикание? У меня заикается дочь.

— Да, это страшное заболевание нервной системы. И усугубляется оно тем, что многие, как и вы, считают: «А-а, пройдет...» Это — невежество.

Она вся кипела. А он подумал: «Может, это и так. Но я так мало вижу Иринку...»

— Четыре миллиона заик, представляете? Только у нас в стране. Это больше, чем все население нашей Прибалтики. Вы не можете вообразить их трагедию...

Нина подошла к морю. У Егора неожиданно родилась неприязнь к ней. Что ее вызвало, он, пожалуй, и сам еще не знал. Может, самоуверенность женщины? Обычно ею грешит тот, кто считает себя единственным пророком.

Он ждал, когда Нина перестанет играть с морем, переливать воду из одной ладошки в другую и забавляться этим. Вот обернется, и он скажет ей такое, что сделает ее сразу мудрее.

— Нина Сергеевна, — позвал он, все еще не зная, что скажет. И когда Нина распрямилась и из ладоней ее пролилась прозрачная морская вода, он наконец сказал самое простое: — Как же вы хотите решить все это?

— Вам интересно... Из-за дочери?

«Из-за дочери? А может, потому Ирина такая замкнутая и я не понимаю ее, что она заикается?» — подумал Егор, но сказал:

— У вас есть метод? — И опять подумал: «А что я злюсь? Злюсь, что она обвинила меня в невежестве?»

— Метод? — переспросила она, все еще доверяя его заинтересованности. — У нас целая школа, школа доктора Казимирского. Одномоментное снятие заикания. Не знаете? У нас есть учитель и ученики, в их руках верный метод, с помощью его можно возвратить больным нормальные функции речи. Я не вижу для себя другой цели жизни, как лечить людей.

Она опять повернулась к морю и склонилась над водой. Егор следил за ней. И когда она распрямилась и повернулась к нему лицом, он спросил, вовсе не думая ее обидеть или оскорбить:

— Одномоментно... А вас не обвиняют в шаманстве?

Он не ожидал, что его нечаянный вопрос так заденет ее. Может быть, она уловила в нем ту неприязнь, которая помимо его воли дала о себе знать? А может быть, действительно наслушалась всякой всячины об их методе? Он-то уж знает, сколько бывает наговорено о брате изобретателе.

Она шагнула вверх по тропинке и пошла прямо на него, глядя ему в лицо и не видя его. Она не ждала в это доброе утро, когда слышимость по радио была такой яс-

ной и голос мужа таким близким и в каждом слове его слышалась такая нежность, что мир казался полным счастья, которое ничто не может поколебать,— она не ждала в это доброе утро, что появится кто-то и все разрушит.

— Господи, да откуда вы такой! — проговорила она, будто простонала.— Да зачем вы мне в это утро? Зачем?

Она шла прямо на него, и он, пятясь, ждал, что она ударит. Может быть, она и ударила бы, столько было решимости в ее серых злых глазах, если бы не раздался с высоты берега голос Эйнара. Он что-то кричал и махал руками, должно быть, сообщал, что пришла машина.

Нина прошла мимо Егора, как бы молчаливо отстраняя его с дороги, хотя он и не мешал ей.

Он повернулся ей вслед. Стоял и слышал, как мягко и ласково плескались за его спиной волны о прибрежные гранитные глыбы, поросшие зеленым мхом. Он стоял и видел, как Нина поднималась в гору по каменистой тропе, пробитой между валунами. Вот она скроется за деревьями и будто ее и не было.

«Почему она сделалась мне неприятна и мне ее не жалко? — подумал он, с непонятной поспешностью стараясь найти ответ.— Потому, что она молода, волнует какой-то скрытой силой, счастлива и несдержанна в своем счастье?» Ему хотелось найти ответ, пока она еще не скрылась в лесу, обязательно найти. Но ответ не приходил.

«Спирт, что ли, подвел? — подумал он, когда голубое платье Нины мелькнуло между деревьями и исчезло.— Поглупел... Серебрянка доконала, серебрянка. И, пожалуй, безмятежное спокойствие Эйнара. Он и не догадывается, как гнусно у меня на душе. Обманчиво все. Живу в гостях, а дорога в костях. В своих собственных...»

Эйнар ждал его на берегу. Взглянул с хитринкой в глазах.

— Повздорили?

— Наглупил я,— махнул Егор рукой.— Досадно.

— Замахнулся на ее профессию? Не терпит, когда не верят ей и ее учителю доктору Казимирскому.

Егор задумался, обрывая хвою с елки, разминая ее в ладони. Рука приятно запахла весенней ожившей тайгой.

— Я ее понимаю. Нет хуже, когда не верят...

Иголки кололи ладони, но он продолжал их мять.

— Жаль, что не увижусь больше... Испортит женщине день.

— Как же не увидишься, Егор Иванович? Она скоро вернется.

Егор вдохнул свежий смолистый запах растертой хвои.

— Эх, Эйнар... Я же говорил, что улететь должен и завтра быть в Москве.

— Нет, нет, Егор Иванович, ты не должен улетать. Ты должен остаться, хотя бы до завтра.

— Но у меня дело! Я должен привести сталь.

— Нет, нет,— возразил эстонец.

В лесу раскатисто пел зяблик. Издалека доносился плач иволги. Трещали кузнечики в траве, на которой так и не обсохли капли вчерашнего дождя. Высокая трава била по рукам, и холодные капли дробью падали на ладони Егора, зеленые от хвои.

— А почему это так? — спросил Эйнар.— Почему? Разве вам не должны были дать эту сталь? Право, я никогда не встречался с таким. Я ловлю рыбу... И в море ее пока хватает.

— Все очень просто, Эйнар... Получали мы раньше серебрянку из Запорожья. А теперь? Теперь у нас свой завод должен ее плавить. А нам этой серебрянки надо всего шесть тонн в год. Ее же и освоить-то не каждый сумеет, и наши вот мучаются. Госплановцы считают, что раз наряд выдан, значит, план снабжения выполнен. Всегда сто процентов. У нас же в руках бумажки, а металла нет. Вот и побираемся.

— Не может быть!

— Все точно, Эйнар...

Они молча дошли до домика-грибка. Полянка у домика сияла на солнце. На веранде лежала густая тень.

— Я попробую разведать. Чем черт не шутит... А ты не уезжай,— сказал Илус.

Егор проснулся: где-то, казалось, рядом плескалось море. Волны мягко шлепались о валуны, обложенные мокрой и скользкой зеленью. Не сразу вспомнил, где он.

Из открытого окна тянуло прохладной сыростью. Шел

ленивый дождь. Крупные капли звонко и неторопливо шлепались по листьям. Как это походило на дыхание моря. На спокойное дыхание, как вчера...

За каштанами стоял тусклый свет. То ли уже светало, то ли остатки белых ночей чудачили над Таллином. Тихо было в доме, на улице, в городе, лишь сочно шлепали капли дождя по широким листьям. Пахло мокрой землей и древесной корой.

За стеной послышалось бормотание тетушки Лийси. И во сне ее не покидает желание жаловаться на жизнь. На жизнь жалуются все, только ей, жизни, не на кого жаловаться.

Вчера днем Илус куда-то уезжал. Вернувшись, ничего не сказал. Но Егор уловил в его глазах хмурость. Ее было трудно распознать, но он все-таки распознал ее.

— Значит, мне надо ехать? — спросил он, зная, что значит эта хмурость.

— Наоборот, не надо, — сказал Эйнар. — Почему ты должен уезжать? И чувствуй себя, пожалуйста, среди друзей. Если у нас найдется чем помочь, будь уверен — поможем.

Вспомнив этот вчерашний разговор, Канунников улыбнулся: среди друзей... Все у него с того и началось, что он почувствовал себя не дома. «Ладно, — подумал он, опуская босые ноги на пол. — Будем чувствовать себя как дома. А что от этого прибавится?»

Он подошел к окну. За мокрыми листьями каштанов черно блестел асфальт улицы — будто река текла от Кадриорга. Вчера он проходил через этот парк, торжественный в своей древности и малолюдности. В нем хотелось молчать и ходить тихо. Черные лебеди плавали в бассейне. Белка перебежала дорогу перед самым носом Егора.

Что-то саднило в душе. От вчерашних ошибок утром всегда становится больнее. А в чем он вчера ошибся? Не уехал в Москву? Как последний болван вел себя с Ниной Астафьевой? Лишние минуты присидел у Илусов? Когда вернулась Мари, он не почувствовал, как стал лишним?

А может, зря остался? Правда, Илус обещал устроить встречу с заместителем министра машиностроения, но что эта встреча даст?

Завтракал он в Кадриорге, в маленьком кафе. В парке было малоллюдно и не по-городскому тихо. Роса блестела на траве, а с длинных веток плакучей ивы, уже пригретых

солнцем, она стекала частыми каплями и ручейками, будто ивы и в самом деле плакали.

Егор глядел на плачущие ивы и на лужайку с изумрудной травой, ел сосиски, густо смазывая их свежей, сильно пахнувшей горчицей, и мыслями его все больше и больше завладевали контуры, линии, крепления какого-то еще не виданного им прибора. И в этом хаосе то и дело светились голубоватыми поверхностями квадратики и прямоугольнички концевых мер.

Они искали себе места, а почему, Егор так и не мог понять.

«Да, да, почему они не выходят у меня из головы? — подумал Егор. — Неужто решения ПАКИ связано с ними? Вот ведь какая чертовщина...»

Вдруг он перестал жевать и посмотрел на свои руки. В правой он держал вилку, в левой — нож. Перекладывая их из руки в руку, откинувшись на спинку стула, он мысленно увидел на концах вилки и ножа те голубоватые кусочки великолепно обработанной стали. Концевые меры! Они — самый точный измерительный контакт! Они, только они могут стать эталоном для сотен эталонов индикаторов, которые пойдут по всей стране, по всем заводам, мастерским, где обрабатывают металл. Черт возьми, как он это не видел раньше!

Он медленно спустился по ступенькам крыльца, наслаждаясь каждым шагом, ступил на землю. Песок, которым, должно быть, ночью посыпали дорожку, светился желтизной, его еще не испятнали следы. Рубчатые отпечатки Егоровых ботинок были первыми. Когда он оглянулся, то увидел четкую елочку своих следов.

Он не радовался тому, что нашел, просто он еще не понял как следует значения того, что к нему пришло так неожиданно. Да и не думал он сейчас ни о чем, совсем ему не думалось, будто он за какие-то секунды израсходовал бесконечно много энергии и сейчас на это не было сил.

Они вошли в кабинет заместителя министра машиностроения республики. Тот встал, шагнул навстречу, стройный, высокий, лицом чем-то похожий на Илуса. Имени его Егор не запомнил.

«Ну, — подумал Егор. — Принимают как дипломата. А я всего-навсего толкач».

Заместитель министра указал на кресло и сам сел напротив. Эйнар скромно пристроился на стуле. Вид у него



был такой, будто он вовсе не присутствовал и все, что будет тут происходить, его не касается.

— Значит, в гости? Далеко заехали.

Егор некоторое время молчал. Ему хотелось понять собеседника и выработать линию своего поведения. Но собеседник был закрыт на все жалюзи, и Егор решил вести себя так же. Илус ведь ему не подсказал ничего.

— Что поделать? — ответил Егор вопросом.

— Нравится Таллин? Вы у нас впервые?

— Впервые. Таллин пока не удалось поглядеть...

Замминистра оглянулся на безучастного Илуса. Тот согласно кивнул головой, пообещал:

— Город посмотрим. Я договорился...

«Значит, я им чем-то интересен? — подумал Егор. — Поглядим...»

— Вы инструментальщик? Товарищ Илус мне вкратце рассказал...

— Да, я инструментальщик, — сказал Егор и тут все понял: замминистра дать, может, кое-что и даст, но и просить будет тоже. И чтобы до конца выяснить, что от него хотят, стал рассказывать о заводе, его универсальности, о том, как заказчики разрывают завод на части, приходится расширять цехи, вплоть до того, что размещать их в подвалах. Да разве наготовишь измерительных инструментов на такое хозяйство? Наших заводов-то в стране раз, два — и обчелся. И с металлом туго...

— Да, да, — охотно поддержал его замминистра, — крайне не хватает инструментов. И если бы были запасные части. В Таллине из десяти тысяч индикаторов почти треть не работает... А чем ремонтировать? А где взять запасные части?

Егор Канунников все понял: им нужны запасные части. Да, не зря он назвал себя коммерсантом именно здесь. Именно здесь это понимают лучше всего. И этот вот замминистра, будь он в условиях прямых связей между предприятиями, сразу бы взял быка за рога. Новоградцам нужна сталь, таллинцам — запасные части к индикаторам. «Ну и что же», — подумал Егор и решил сам вести беседу.

— А знаете, — заговорил он, — как вятские плотники обходятся без измерительных инструментов? Подойдет мужичок с топориком к бревну, прищурит один глаз, плюнет на ладони и... отмахнет полбревна. Но вдруг усомнится в точности своей меры и побежит к соседу за аршином.

Смерит... «Тьфу, плюнет, обмерился. Трех вершков не хватает...»

Замминистра улыбнулся. Илус согласно закивал:

— Хорошо, Егор Иванович... Твоя философия: долой точность?

Но Егор уже понял, что выиграет разговор с меньшими для себя потерями.

Значит, «*Damua petumis que vitissum*»... «Мы даем и требуем попеременно»? Мы дадим вам запасные части. Это очень трудно, не легче, чем получить серебрянку, но мне ничего не остается делать, хотя я не имею полномочий давать какие-то обязательства.

Илус сказал:

— Ты — коммерсант, Егор Иванович... Это и будет гарантией. Так, Густав Андресович?

Густав Андресович засмеялся открыто, обрадованно:

— Ой-ой, и мужик-плотник, и мудрость древних, и коммерсантская деловитость... Идите к нам, Егор Иванович, завтра же зачислим в штат.

Густав Андресович прошел к столу, взял из папки какую-то бумажку, подержал ее в руке, подал Канунникову. Это был наряд со всеми полагающимися подписями на запасные части к индикаторам. Наряд на их, новоградский, инструментальный завод.

— Почитайте, Егор Иванович. И помогите. Больше мы ничего не хотим. А серебрянки у нас немного есть. Меньше, чем вы просите, но есть. Мы ее сегодня отгрузим, если есть у вас полномочия на подписание бумаг.

— Полномочия на бумаги есть, — сказал скорее обескураженный, чем обрадованный Канунников.

В коридоре Эйнар хлопнул Егора по плечу, спросил:

— Ты, кажется, и не радуешься, Егор Иванович?

— А чему? Вошел чистый, а вышел — вымазанный... А я-то считал, что я лучше других. Вот куррат!

— Ого! Ты уже знаешь по-эстонски! Знаменито... И первое слово «черт». Это наше чуть ли не самое крепкое ругательство. Ты большой-большой юморист, Егор Иванович. Скажи, как ты им стал?

— А что тут такого? — серьезно удивился вдруг повеселевший Канунников. — Юмористы, как и дураки, всегда рождаются маленькими. Уж потом они делаются большими.

Расчетливый в проявлении чувств маленький эстонец засмеялся, всхлипывая и вытирая слезы ладонями. Навер-

но, он редко плакал от смеха и потому не привык еще в этом случае пользоваться платком.

Успокоившись, Эйнар сказал:

— Меня ждут рыбы, Егор Иванович. До вечера! Вечером у нас на Раннамыйза устроим маленький, как это называется, выпивон. Так?

— Эйнар, я улечу. Мне нужно срочно отправить груз. Ты же знаешь. Я тебе благодарен...

— Постой. Груз пусть улетает, а ты поживи еще немного. Мы же обещали сходить куда-нибудь.

— Эйнар, у нас стоит завод... Я должен проследить за грузом в Москве.

— Не торопись. Груз у тебя примут сегодня, а отправят не раньше, чем завтра. Так что Мари тебя ждет. Она будет обижаться. Если эстонка обижается, это ужасно плохо. Да, и приезжай вместе с Ниной Сергеевной. Ты найдешь ее на улице Иманта, в четыре часа она пойдет из поликлиники. Она тебе немножко покажет город, обещала. А я на связь. Одна наша плавбаза готовится возвратиться. Надо все обговорить.

— Ладно, я в другой раз посмотрю город. Мне надо найти машину и отправить груз на аэродром.

— Ничего тебе не надо искать, Егор Иванович. Груз будет там. Только скажи в управлении снабжения, что хочешь самолетом. Правда, дорого.

— Да что поделаешь, нужда.

Они расстались.

### 13

Навстречу шла молодая с серьезным лицом женщина, нельзя сказать, что красивая, но чем-то приятная. Пышные, грубоватые волосы цвета темной меди непослушно топорщились, непокорная прядка прикрывала лоб. Серые глаза чуть шурились. Красное платье было узковато, особенно в бедрах, и когда она шагала, упругое бедро сильно натягивало ткань.

Она шла, не глядя на встречных. Просто так шла, ни от кого не завися, никого не ставя в зависимость от себя. И Егор подумал, что так ходят лишь сильные люди.

Женщина была ему знакома, но в эту минуту, когда он глядел на нее с чуточку излишней внимательностью, он почему-то никак не мог соединить ее с теми двумя Нинами, которых он уже знал, до того эта была какой-то по-

вой, третьей. И когда она прошла мимо, не взглянув на него, только тогда он понял, что это она.

— Нина Сергеевна! — позвал он. Она оглянулась с таким выражением лица, какое бывает у человека, когда его чем-то ошастливили, и Егор тут же понял, что ей было приятно это и что редко, очень редко ее вот так окликают на улице.

— Ну, вот видите, — сказала она неопределенно. И поздоровалась, не подавая руки. Егор это отметил: сердится за вчерашнее! А кто бы знал, что не надо было болтать о шаманстве? Он пошел рядом, еще не зная, надо ли извиниться за то, что было на берегу, или забыть, как будто ничего и не было. Но ведь было, и он извинился.

Он ждал, что она тотчас пустится объяснять свой метод, как это делают люди, которых не хотели выслушать, а потом вдруг захотели. Но Нина промолчала, как будто это извинение было ей неприятно. Они дошли до пересечения улицы, которая называлась Иманта, с какой-то другой. Нина остановилась, огляделась и решительно повернула направо.

— Вам к гостинице?

— Нет, — сказал он. — Я живу не в гостинице.

Она не спросила, где он живет, но пошла в том же направлении, к гостинице, серое здание которой Егор увидел, как только она сделала еще несколько шагов вперед.

— Шаманство... Помню, как это слово бросили в лицо моему учителю Адаму Адамовичу Казимирскому его оппоненты. С тех пор я не могу его слышать.

— Извините, очень прошу. Так неловко вышло.

— Ну, вот видите! — повторила она опять ту же фразу, выражающую что-то неопределенное, какую-то незаконченную мысль. — А гипноз, а внушение... Впрочем, не будем об этом. Это очень серьезно.

Она все еще была сосредоточена, жила в каком-то другом мире, другими заботами, и то, что она говорила, говорила каким-то своим вторым «я». Егору редко приходилось видеть в женщине такую сосредоточенность, углубление в себя, и он с новым любопытством посмотрел на Нину. Но сказал, чтобы вернуть ее из непонятного мира:

— А я уже знаю, что это Старый Тоомас...

Перед ними, вырастая из зелени деревьев, серело здание ратуши со стремительной стрелой башни, на которой будто пританцовывал Старый Тоомас.

— А он весел, — сказал Егор. — Разве нет?

— А по-моему, он задумчив, весь в себе,— сказала Нина.— Пospорим?

— Пospорим! — подхватил Егор, радуясь, что вернул ее в этот земной мир, в этот город, который был уже не таким чуждым ему.— А кто станет арбитром?

— Мы сами его выберем,— сказала она.— Вот пойдем по площади и выберем.

Они перешли улицу, вступили на дорожку сквера. Шли, вглядываясь в лица встречаемых людей, замедляли шаг перед теми, кто сидел на скамеечках.

— Спросим его? — говорил он, когда они проходили мимо старика, сидящего с газетой.

— Нет, он скажет: «Эй оска» («Не понимаю»).

— А у этой вот молодой?

— Она очень спешит... Очень занята собой, и ей не до Старого Тоомаса.

— Я спрошу у мальчишки. Мальчишки — честнейший народ в мире.

— Ладно,— согласилась она.

Мальчишка был озадачен, долго не мог понять, что от него хотят, но все-таки уразумел и серьезно, удивляясь, что этого не видят двое русских, сказал:

— Он — на страже. Он смотрит. Он в боевом строю.

Нина засмеялась:

— Ну что? Честнейший народ...

— Разве не честнейший? Мальчишка видит его таким, ждет от него этого.

— Понятно,— сказала Нина.— Значит, у вас все хорошо, раз ваш Тоомас весело танцует.

— Верно,— подтвердил он,— все хорошо, и я завтра улетаю. Мне чертовски повезло. Я достал сталь, за которой гонялся всю неделю, и еще... Еще мне в голову пришла одна редкостная мысль, какие приходят уже не так часто. Я почти что изобрел прибор.

— Прибор? Вы работаете в конструкторском бюро?

— Нет, но что-то вроде,— он не стал ей объяснять, где он работает, в подробностях. Разве это ей интересно? Но она заинтересовалась.

— Какой же прибор? Объясните. Я, возможно, пойму.

Егору была приятна ее заинтересованность, он стал объяснять, что такое индикатор. Это измерительный прибор, без которого не обойтись ни в одном механическом цехе. Он должен иметь наименьшую погрешность. Но

исды и его чем-то надо проверять. Вот и требуется эталон для эталона.

— Интересно! — сказала она, тряхнув головой и откинув челку со лба. — И как это вы изобретаете?

— Как? Да не знаю, право. По-разному. Иной раз си-дишь за чертежным столом, ищешь решение. В другом случае видишь решение в вещах. Вот этим утром... Сидел в кафе, держал в одной руке нож, в другой вилку и увидел. Но думаешь всегда, все время. Это состояние мучительное, но в то же время необыкновенное. Вечное беспокойство. Понимаете, если астроном понял, зрительно представил бесконечность Вселенной, он уже обрек себя на вечное беспокойство. Да и писатель...

Они стояли возле ратуши и на какое-то время забыли и про Старого Тоомаса и про все другое.

— С писателем, я думаю, это случается тогда, когда он поймет недостижимость глубин человеческой души и все же будет искать дно. А изобретатель? Когда увидит, что развитие техники бесконечно, и будет все же стремиться к концу, создавая все лучшее.

Он остановил себя: заговорил ее, разве не скучно?

— Нет, нет, я никогда не думала об этом. Особенно мне интересно насчет души. Я ведь имею прямое касательство к ней и как врач-психоневролог.

Дальше они шли молча. Нина снова как бы отдалилась от него. Он пожалел, что недолго удержал ее в этом мире, что отпустил ее в тот, свой, скрытый и загадочный.

— Да, — сказала она, без его помощи возвращаясь в этот мир, — зайдите в магазин. Есть красивые вещи. Неужто вернетесь домой без сувениров? Здесь умеют. Вкус и старательность — в крови.

В маленьком магазинчике, у прилавка углом, по двум стенам, несколько человек неторопливо переговаривались с продавщицами — с немолодой уже эстонкой с волосами в буклях и девушкой лет девятнадцати. Нина и Егор подошли, стали рассматривать на витрине разные вещицы, действительно редкостные — это были изделия из кожи, металла, янтаря.

— Дочке возьмите вот этот кошелек, — сказала Нина. — На нем тиснут флюгер. Видите, какой красивый. Он древний и стоит на углу улиц Вана-Виру и Уус. Я его запомнила. Мне он очень нравится. Правда, замечательный кошелек?

— Замечательный,— согласился Егор. Эстонка с буклями подала кошелек и молча отошла.

— О, Таллин знаменит флюгерами,— сказала Нина.— Издревле это город моряков и рыбаков. Вот они, эти крылатые вестники. Они знают, откуда дует ветер, предупреждают о шторме. Не просто украшают дома!

— Интересно.

Их ковали из меди, рубили из железа. Тут были замечательные *sepad*, то есть кузнецы. Теперь слово «*sepp*» обозначает просто мастер...

Эстонка с буклями, услышав это слово, подошла к Нине.

— Хотите посмотреть флюгера? Я вижу, вы интересуетесь.

— Да,— призналась Нина.— Иной раз брожу по Таллину и люблюсь ими. Знаю почти все.

— Вот посмотрите,— сказала эстонка и стала выкладывать из картонной коробки кошелек желтой кожи с тиснениями самых различных флюгеров. Егор заметил, как Нина даже чуть-чуть растерялась перед этим богатством и покраснела от волнения, как девочка, завидев куклу. «Она чувствует себя одиноко, вот и увлеклась флюгерами. Впрочем, флюгеры это здорово, и каждый неповторим...»

— Мне нравится этот дельфин. Он с улицы Пиик? А этот с Нигулисте?

— Нет, это не с Нигулисте,— сказала эстонка.— Это с западного фронтона ратуши. А с Нигулисте другой,— эстонка порылась в кошельках, разложенных на стекле витрины, выбрала то, что надо: флажок со звездой и крестом на шпиле.— Вот с Нигулисте.

— Верно,— подтвердила Нина.— Вспомнила. А Старого Тоомаса у вас нет?

— Нет. Старый Тоомас у нас один, и сами понимаете...

Егор и Нина еще некоторое время стояли и рассматривали флюгеры, тисненные на коже, эстонка увлеклась и стала объяснять, чем примечателен тот или иной флюгер и где он стоит.

— Спасибо,— сказала Нина, прощаясь.— Если позволите, я изредка буду заходить к вам.

— Да, да,— закивала буклями эстонка.

— А теперь вашему сыну...— Нина, взглянув на Егора, стала что-то разглядывать под стеклом.— Кинжал в кожаных ножнах. Смотрите. И флюгер. Это ведь со вто-

рой башни Вирусских ворот? — спросила она эстонку, и Егор понял, что она просто хотела польстить ей.

— Да, да,— подтвердила та, польщенная.— Тысяча шестьсот восемьдесят четвертый год. Кинжал серебряный. Если дорого, я могу предложить медный.

— Медный,— поторопился сказать Егор и добавил:— Прочнее.

Они купили кинжал. Он был как настоящий, только маленький. Медь была старая, кованая, черная и походила на вороненую сталь.

— А теперь жене... Скажите, она брюнетка или блондинка? Какие у нее глаза?

— Русая,— сказал Егор, смущаясь.— Глаза серые. Как у вас.

— Купите нитку янтаря. Это из Латвии, с янтарного берега Балтики. Лучше ничего не найдете. Вот эту. Она скромная и очень пойдет русой. Правду я говорю? — спросила Нина эстонку.

— Да, да,— закивала та.

Егор подумал: денег у него было в обрез. Он хотел что-то купить для Илусов. Хотя бы бутылку коньяку. «Впрочем, заберу спирт энзэ. Оставлял на доставку груза, но все обошлось без спирта».

И они купили нитку янтаря. Желтые горошины, наверно, были красивы. Егору они понравились, он знал, понравятся и Варе.

Выходя из магазина, Нина неожиданно спросила:

— А вы любите жену?

Скорее механически, чем сознательно, Егор ответил, что любит. И затем, как бы поняв неубедительность произнесенного слова, добавил:

— Конечно, люблю.

Это было правдой. Он любил жену. Они встретились, когда еще шла война, он — инвалид с незаживающей раной в боку и перебитыми ребрами, она — совсем еще девчонка. Их любовь была отчаянно-исступленной, точно они боялись, что их что-то разлучит.

Нина и Егор прошли мимо ратуши.

— Видите,— указала Нина на тяжелые цепи на серой стене,— ими приковывали преступников. И весь город смотрел на них, как на проклятых.

— Так в России наказывали неверных жен,— сказал Егор.— Правда, их приковывали к телеге и водили по деревне. И кому хотелось, могли плюнуть им в лицо.



— Можно ли придумать более чудовищную казнь? — возмутилась Нина.

— Чудовищно, конечно. Но ведь это тогда держало семью.

— А разве ее что-то может удержать, кроме любви?

— Почему же нет? Долг. Дети. Религиозные чувства. Деньги.

— Это все чушь,— сказала она в своей прежней решительной манере.— Видимость! Только любовь делает семью. Остальное лишь удерживает сожителей. Не признаю. Уйдет любовь — ни одной ночи не смогу прожить в семейной оболочке. Ложь в семье — хуже религиозного кощунства.

Он слушал ее и почему-то не верил. Об этом он никогда бы не говорил с такой уверенностью. Кто так говорит, тот или считает это не обязательным для себя, или опытен, а опыт, как известно, рождает в человеке превосходство над другими и дает право на установление новых истин и на разрушение старых. Но откуда у нее опыт? Любит мужа, как любят в первый раз, и верит, что всю жизнь будет только так, а не иначе?

«Эх-хе-хе»,— произнес он про себя, хотел еще о чем-то подумать, но не подумал. Углубляться в эту тему он всегда боялся.

Они прошли площадь, ратуши и стали подниматься к Вышгороду. Старый Тоомас глубокомысленно глядел им вслед. Нина оглянулась, прищурилась на Старого Тоомаса, но, как бы не желая больше тревожить его, опустила глаза и показала Егору на западный фронто́н ратуши, где улетала в небо игла флюгерной державки с тремя рубчатыми шарами и кованными из металла цветами. Флажок флюгера, прихотливо узорчатый, как бы таял в бледном таллинском небе.

— Талантливый бестия ковал! — сказала она таким тоном, будто не похвалила, а обругала.— Оставили на века. Такая сила мастерства, таланта.

— Да, талантливый народ.

— Да, это так.

— И добрый.

— Что понимать под добротой?

Он рассказал о тетушке Лийси.

— И другое тут бывало,— сказала она и замолчала.

Они шли узкой улочкой Вышгорода. И мостовая из дикого камня, и серые дома из него же, дома с двускат-

ными крышами и оконцами, похожими на бойницы, — все глядело на них седыми веками.

— Вот они называют того медного ландскнехта нежно «Старый Тоомас». А башню иронически «толстая Маргарита», а другую по-свойски, по-товарищески — «длинный Герман». Да, это доброта...

— А что «другое» тут бывало?

— Рассказывали мне... После войны вот на этих улочках каждое утро находили убитого русского офицера Финка в спину. И коробка спичек рядом...

— Она зачем? Символ какой-то?

— Так поначалу и думали... А оказалось все очень просто. Подходил к офицеру парень, спрашивал прикурить. Когда тот доставал спички — другой сзади ножом. Молодые попадались офицеры, доверчивые, неопытные. А нарвались на бывшего разведчика — тот вместо спичек — через плечо из пистолета. Догадался!

— Ну, и кто же это были?

— Два брата, говорят, националисты. — Нина помолчала. Ее красное платье было странно нездешним среди серых древних стен. И Егору вдруг почудилась красная кровь на камнях мостовой, кровь молодых доверчивых офицеров.

— Когда, когда это уйдет в небытие? — сказала Нина, несколько театрально, как ему показалось, как говорила она там, на берегу. — Когда не будет недоверия между нациями, когда людей не будут разделять языки, обычаи, характеры, когда они будут лишь вносить разнообразие в отношения между людьми?

— Когда? — Егор провел рукой по шершавым камням стены. Камни были отчужденно холодными. — Пока вот эти стены, я думаю, не станут святыми не только для эстонца, но и для любого другого.

— Для меня это тоже свято.

— И для меня. Мы не эгоисты. Но признайтесь, что вы тоже думаете, что для эстонцев это святее?

— Может быть. Для этого надо быть эстонцем.

— Но камни — это не все, — сказал он, — знаю, что не все. Что-то еще есть, я не могу это сформулировать.

— Крепость характера?

— Да, пожалуй. Большой запас прочности. Я все дни тут об этом думаю. Народ, в котором исчерпается национальная жила, как богатая природная залежь, сам откажется от своего первородства и сольется с другим. Но

по принуждению этого никогда не будет. У нас, я имею в виду.

— Изживание через полное развитие? Слыхала.

— Отрицание отрицания...

— Философ! — иронически произнесла она. — От скуки на все руки.

— Что делать? Езжу по свету, приходится размышлять.

Они зашли в кафе в старом доме из серого природного камня. В кафе было темновато. В кованной из железа старинной люстре едва теплились слабым светом две электрические лампочки. Полки из старого дуба. Стойка, покрытая листовой медью.

— Тере, тере<sup>1</sup>, — сказала Нина старому эстонцу с широким лицом. Лицо его светилось, как на картине Рембрандта.

— Здравствуйте! — ответил эстонец по-русски. Нина о чем-то спросила его по-эстонски. — Торговля идет хорошо, спасибо, — продолжал старик по-русски. Его акцент стал заметнее.

Он знал, что она никакая не эстонка, и она знала, что он это понимает, но все равно обоим было приятно. Егор видел, как они улыбались друг другу.

«Что в ней такое, что притягивает людей? — подумал Егор, наблюдая, с каким интересом Нина расспрашивает старика и с каким доверием эстонец глядит ей в лицо. — Лицо у нее правда приятное... Но мало ли людей с приятными лицами, а смотреть в них не хочется? Вот и мне неожиданно хорошо с ней и просто... Должно быть, потому, что ей ничего от меня не надо и она не боится ни меня, ни кого другого. Любовь к одному прикрыла ее от всех и сделала независимой и неуязвимой».

Старик готовил кофе и все что-то говорил, трудно и медленно произнося русские слова — давно служил в Петербурге, забывать стал, а говорил когда-то хоть куда. Его всю жизнь тянет к русским, но что-то редко они заходят ныне в его кофейню.

— Отведаете мадеры? — спросил старик. Егор ясно услышал эти слова, они, должно быть, предназначались ему. — Мадера старая, с букетом...

Нина оглянулась, Егор кивнул: мадера так мадера...

Они присели к прямоугольному столику с толстой, те-

---

<sup>1</sup> Здравствуйте, здравствуйте (эст.).

санной из плах столешницей. В рюмках темнела мадера, пахнувшая жженым сахаром, дымились чашечки кофе. Нина молчала, положив руки на стол. На лбу ее упрямо торщилась челка, глаза с расширившимися зрачками, казалось, ничего не видели перед собой.

Егору стало не по себе, и он поднял рюмку.

— За Старого Тоомаса! — сказал он.

Нина молча подняла, не чокнувшись, выпила. Она глядела мимо Егора, но думала о нем. Она думала о том, как беспричинно просто ей с ним, независимо и легко. Ничем он ее не сковывает, ни к чему не обязывает. Для него хотелось что-то сделать. Может, просто погладить по голове. Какой-то все-таки он разворошенный. Ну, а нервная система у него крепкая, динамический стереотип, он позволяет ему максимально быстро перестраиваться. Его очень трудно чем-то потрясти. Он ответит на любой раздражитель, самый неожиданный...

Это она смотрела на него как врач. А как человек она подумала, что он простоват, как и его имя, прикажи — будет воду возить. Но умен и крепок, думает не стандартно. Такой и страной сумеет руководить, не охнет. А в общем-то не таким уж обременительным оказалось поручение Эйнара Илуса показать гостю кое-что в городе.

— Как вам написать? — спросил он. — Я хочу осмелиться написать вам о дочери. А может...

— И привезти ее? — угадала она, не сумев скрыть радости.

— Да, если так сложится и вы разрешите.

— Пишите мне на почту. Вот номер нашего почтового ящика. — И она подала ему кусок бумажной салфетки с цифрами, написанными шариковой ручкой.

— А мне: Москва, Главпочтамт, до востребования. В Москве я — завсегда. Или вот мой дом.

Она взяла и положила его адрес в сумку.

Они допили кофе. Егор расплатился, и они вышли. После полутемноты кофейни Нина шурилась. Егор сбоку смотрел на нее. Почему она кажется такой одинокой со своей любовью? Разве любовь делает человека одиноким?

«А что ты знаешь об этом, старый поржавевший флюгер? — обратился он к себе, как всегда в таких случаях, иронически. — Ты даже не знаешь, какой ветер заставит тебя повернуться и в какую сторону, а повертывает тебя

какой угодно востер и в какую угодно сторону. И что ты можешь знать о людской любви, если она определяется вовсе не ветром, а чем-то другим»...

Они распрощались возле ратуши до вечера. У Егора был еще один вечер, вечер на Раннамыйза, на морском лесистом берегу, где пахнет земляникой и морскими водорослями одновременно.

## 14

Внизу, под берегом, между двумя округлыми валунами живой каплей света краснел костерок. Камни, освещенные им, казались раскаленными. И странно со стороны видеть, как на них преспокойно сидели люди, покачивая голыми ногами.

Егор и Эйнар только что вышли из воды. Море было холодное, да и вечерний воздух уже остыл, так что костерок годился не только для эстетики. Костерок нагрел камни, и сидеть на них было приятно. Дрожь, которая зарождалась где-то внутри, не осилила Егора, не захватила его тело. И это тоже было приятно.

Они курили. Покурить после купания особенно хотелось. Егор то и дело оглядывался, смотрел на темный лес на высокой кромке берега. Эйнар заметил это, сказал, как бы утешая:

— Да придет она, придет. Осталась на связи. Вот так чуть не каждый день свидания с мужем в эфире.

— Любит или не доверяет?

— Любит. Гуртовой мужик хоть куда. Видный. Красавец. Отличный моряк и хозяин. На плавбазе у него порядок.

— И она женщина вроде ничего...

— Ничего, ничего, Егор Иванович. Только на чужой каравай рот не разевай, как у вас говорят.

— Что ты, Эйнар. У меня жена.

— Ладно, я пошутил. Ты сразу в бутылку.

Они помолчали. Эйнар бросил окурочек в костерок. Запахло затлевающим фильтром.

— Фу, пакость! — выругался он. — Окунемся еще?

— Давай.

Они встали, пошли к воде, с осторожностью ступая по камням, будто камни под ними были горячими. Егор шел чуть сзади и справа. Он никак не хотел, чтобы Эйнар увидел его раненый правый бок. Они вошли в воду. Егор по-

чувствовал, как бритвами холода резануло по ногам. Эйнар же только похохатывал от удовольствия.

— Ну, ну, Егор Иванович, не стесняйся. Море не девушка.

Егор окунулся, поплыл между камнями, стараясь не задеть плечом их зеленые космы.

«Не спросил, почему купальник у нее был порван,— нехоти подумал он. Купальник вот такими же зелеными космами лип к ее бедрам.— Нет, пожалуй, об этом сейчас не спросишь. Тогда спросил бы, а сейчас нет. А что произошло? Да ничего. Просто теперь об этом трудно и занкнуться. Тогда была девушка с острова Бали, а теперь она совсем другая. И теперь я уже никогда не увижу ее такой, вышедшей из огненного моря. Жаль, что она не останется в памяти только той. Но разве эта, с флюгерами, хуже? Нет, но эта другая...»

Когда в правом боку стало сильно колоть, он уже ни о чем не мог думать, кроме того, что надо возвращаться.

Он вышел на берег вдалеке от острых гранитных глыб, что собрались у берега, как стадо допотопных панцирных животных, вдалеке от костерка, чтобы не встретиться там с Ниной,— может, она уже закончила свои переговоры с мужем?

Но костерок догорал, на берегу никого не было. Эйнар все еще плавал в море, голова его темным шариком то поднималась на волну, то исчезала, как бы проваливаясь в воду.

Егор оделся, стал бродить по берегу в поисках хвороста, нашел лишь несколько сучков. Поломал их, бросил на угли. Камни уже остыли, и он присел перед костерком на корточки.

Странно, что он ждет Нину. Эйнар и тот заметил. Да, Егор уж не мальчишка, чтобы не иметь смелости пригласить. И что ему от нее надо? Ничего ему не надо. Может быть, он нужен ей?

«Не строй из себя спасителя,— привычно подумал он о себе.— Тебе кажется, что всем ты нужен и без тебя погибнет человечество, и каждый человек, взятый по отдельности. Брось чудить...»

Эйнар неожиданно оказался на берегу. Крякал, растирая замороженное тело.

— Может, моргнем? — спросил Егор.

— Как моргнем? — не понял эстонец.

У меня немного спирту осталось...

— А-а,— Эйнар перестал растираться, засмеялся.— Как вкусно, Егор Иванович: моргнем...

Спирт согрел тотчас. Костерок был уже не нужен.

Море тускло серело, дышало спокойной зыбью. Серело небо. За спиной, на высоком берегу, притаился лес. Темный, скрытный, он всегда привлекал Егора тем, что вызывал думы, звал к открытию и всегда оставался непознанным, потому что никогда не был одинаков. Море, наверно, сродни лесу, но море он еще не понял, не привык к нему, не научился его отгадывать. А лес он умел читать. Вот и сейчас, даже не оглядываясь, чувствовал за спиной его таинственность и ждал открытия.

Егор взглянул вверх, на лес. Лес был темен и молчалив. Но Егор знал, что если подняться на гребень берега, если сделать немного шагов по тропинке между кустами, в лесу засветятся желтоватые огоньки окон, забелеют стволы сосен; высвеченные лапы елей покажутся заиндевелыми.

— Связь, должно быть, плохая,— сказал Эйнар, посвоему поняв молчаливость Канунникова, его взгляды в сторону леса.— А хочешь, я тебе песню спою? Хочешь, Егор Иванович?

— Спой, Эйнар...

— Чтобы ты не скучал...

— Я не скучаю. Все равно спой.

Эйнар запел. Странно, что пел он не своим, низким голосом, чуть хриловатым, простуженным. Песня звучала под ритм какой-то работы. То ритм делался быстрым, стремительным, и тогда голос Эйнара звучал громко, уверенно; то ритм замедлялся, угасая постепенно, и голос затихал, будто от безмерной усталости. Егору вдруг показалось, что песня разбудила море и оно сильнее заплескалось в камнях, песня разбудила лес, и он зашумел с тревожной настороженностью. И когда стихла песня, море и лес, казалось, все еще продолжали возбужденно волноваться.

— Спой, Егор Иванович, теперь ты спой.

— Нет, ты вначале скажи, о чем твоя песня. Мне чудилось, что она о море. Верно?

— О море, Егор Иванович, как ты угадал?

А разве не заметил, как море подпевало тебе?

— Ладно, смейся... Это песня о том, как ушел в море молодой человек на хрупкой лодке. Любимая девушка махала ему с песчаной косы рукой. Они любили друг друга.

И пока любовь жила, она, как парус, несла по волнам лодку. А как только любви не стало, лодка потеряла ход и сто бед неожиданно-негаданно встали на пути ее. Да... Когда любовь и человек... Нет, не так... Когда любишь людей, тогда твоя жизнь кажется их частицей и ты ее можешь им отдать. Верно я думаю?

Да.

Ладно...

Они замолчали. Плескалось море о берег. Похрустывали камни, сдвинутые волной. Тусклое небо низко жалось к воде. В воздухе, всюду вокруг рассеян печальный полусвет.

Как не хватало этой земле резкости переходов от дня к ночи, от ночи — к дню. Может, это и вызывало у Егора меланхолию? Или ослабла пружина где-то внутри его, когда все, что надо было, сделано? Или что-то еще? Может, все-таки Нина? «Не мели глупостей», — одернул он себя.

И он запел тоненько, слабеньким тенорком:

Потеряла я колечко,  
Потеряла я любовь,  
Ох да любовь...

Эйнар, вначале с усмешкой взглянувший на Егора, ища шутку в этой его песне, вскоре понял, что тот вовсе не шутит, что у Егора именно такой голос — слабенький, но чистый и проникновенный, что он весь в этой песне, мергичный и в то же время застенчивый, открытый и скрытный. И Эйнар стал слушать. Он впервые встретился с этой песней, впервые слышал незамысловатые слова, полные какого-то внутреннего напряжения, даже трагизма. Как бывает в народной песне, Эйнар это знал по песням хстонцев, порой даже наивное слово несет такую нагрузку, какой было бы за глаза иному нынешнему стихотворению ростом с «длинного Германа».

Ох, по этому да по колечку  
Буду плакать день и ночь,  
День и ночь...

Пел Егор тихо, почти не слышно, весь уйдя в себя. Но странно, что и берег, и море, и лес позади них — все было во власти этой грустной человеческой жалобы.

Вот ведь надо же... Всего-то навсего потеряла колечко, и сколько бед вслед за этим пришло. Только подумать:



потеряна любовь, и плачь не плачь, ничего уже нельзя поделать.

«Запомню песню, спою Мари», — подумал Эйнар.

«Здравствуй, мое солнышко! Тере, Мустамяэ!»

До часа связи еще было время, и Нина поехала домой, на Мустамяэ. Рядом с домом песчаный, похожий на пляж, плес, а там в низинке, где, может быть, в какие-то далекие-далекие века текла речка — уж очень похожи скаты на берега, в сторожном недобром ожидании стоял сосновый лес. Город наступал на окраины, вот и строжился лес, готовый вступить в схватку с людьми, если они захотели бы посягнуть на его и без того скромные владения.

Но на лес никто не покушался! На него просто глядели по утрам из окон новых домов. Вечером в нем прогуливались старики и влюбленные. И Нина с девочками, бывало, бродила там.

«Здравствуй, мой зеленый братец!»

Нине нравился свой район, хотя в нем явно не хватало моря. Море было бы в самый раз.

На Мустамяэ она скучала по Раннамыйза, где было море, на Раннамыйза — по Мустамяэ, где был ее дом. Но там и тут она скучала по Гренландскому морю, где в штормы и полярные ночи одиноко метался корабль Гуртового, большой, белый и добрый, как сказочный герой.

«Здравствуй, Гренландское море, художник Рокуэлл Кент и жалкие пироги алеутов!»

Нина вышла из автобуса, оглядела новенькие из разноцветных панелей дома Мустамяэ, золотистый плес между линий застройки и лесом и подумала, что это, должно быть, мадера возбудила ее и заставила забыть все горести дня, неудачные попытки хоть что-то наладить в психоневрологическом кабинете поликлиники. Главный врач старый Густав Илус, как верный Старый Тоомас, молчаливо переносит ее неудачи, одну за другой.

Ну, что она может поделать, если те, у кого она должна была выправлять речь, так плохо говорят по-русски, а она, при всем старании, с трудом произносит сотню — две эстонских слов. Да разве ее варварское произношение дает ей право заниматься хотя бы логопедией?

Неудачи и еще тоска.

Тосковать ей приходилось не только по Гренландскому морю, а и по Лохусалу, где в пионерском лагере живут ее девочки Вера и Марена Астафьевы. Тоскуя по девочкам, она, сама не зная почему, жалела их, все время жалела, и при встрече все они трое какую-то минуту плакали, обнявшись. Может, потому было так, что она чувствовала перед ними вину — девочки росли без родного отца. И только она была в этом повинна. Тосковала она и по далекому, милому с детства Таганрогу, где у бабушки, в старом казацком курене живет ее сын Аскольд Гуртовой. В семье его звали Гуртовой-младший. Так нравилось мужу, так нравилось всем.

Сын... По сыну она тосковала мучительно. Именно мучительно, потому что все время боялась, как бы с ним чего не случилось. Бывало, ею вдруг овладевали предчувствия, и она уже наверняка считала, что с ним что-то случилось, бежала на телеграф и посылала матери телеграмму, где каждое слово кричало. Получала неизменное: «Все нормально». Потом, когда бабушка возвращалась с шипком в Таллин, то оказывалось, что и ветрянка была, и ангина, нос расквасил и ногу подвернул. «А,— махала рукой бабушка на попреки Нины,— что с ними не случается об эту пору...»

Сын делал семью. Если бы не он, семьи бы не было, Нина это знала. Незримо, невольно, но неизбежно семья так или иначе делилась бы на Астафьевых и Гуртового. Да и мать Нины признала новую семью только тогда, когда появился Аскольд. Уж очень по душе ей был прежний зять, Астафьев, видный в обществе человек. Даром что прокурором области работал, а сердце имел доброе.

Может, потому так и любила Аскольда Нина, так боялась за него, что сын был той единственной каплей, без которой не было бы семьи.

И только по матери она не тосковала. Иногда, когда она вспоминала о ней, и не в связи с Аскольдом, которого бабушка брала к себе на лето, а так, у Нины появлялось странное чувство, которое ей трудно было объяснить. Такое чувство, наверно, вспыхивает в душе верующего, когда он забывает перекреститься.

«Что это я? — подумала Нина, ступая в свой подъезд.— Будто вешаться иду, будто в последний раз...»

Сын... Аскольд...

Это поразительное, неузнанное еще состояние матери, когда она почти всегда угадывает своего ребенка в беде.

Никаких примет, никаких намеков, ничего, а сердце вдруг заболит, затоскует... Она почувствовала это еще тогда, когда ходила по городу с гостем Эйнара Илуса, с которым ее свела судьба в тот штормовой и чуть печально не окончившийся вечер. Тогда она еще не знала, что с ней. Теперь она знала, что это было. Если люди не верят в предчувствия, это их дело, пусть не верят. Она верит в вечную связь между матерью и ребенком, верит, что до конца жизни она будет угадывать все, что может стрястись с ее Аскольдом.

Она поднялась по лестнице.

Ни писем, ни телеграмм от матери не было.

Но от этого не стало легче. Мать ведь все равно ничего не сообщит. Ох, уж эта непонятливая добродетельная страсть не волновать по мелочам, зато держать в вечном страхе неведения.

Пустая квартира — не лучше брошенного корабля, с которого последним сошел капитан. Пустая квартира — корабль, уходящий под воду...

Именно такой она увидела квартиру, в которой всегда было, как на корабле в канун отплытия — оживление, шум, спешка, откровения друг другу перед дальней и трудной дорогой. Потому она не любила пустой квартиры, не любила, когда оставалась в ней одна.

Нина переделалась — красное платье не приносило ей счастья, хотя она любила красное. Всякий раз, когда она надевала его, случалась какая-нибудь история: то пьяный привяжется, то под дождь угодит — вот и отклонение от нормы в настроении. А сегодня этот Канунников. В такие минуты лучше всего серый цвет. Цвет печали и умеренности.

«Ну и дурочка же ты, право,— подумала она, стоя перед зеркалом.— При чем тут красное, если ты сходишь с ума? Если ты разрываешься на части и не знаешь, где тебя ждет удача? Если ты считаешь, что ты нужна людям, позарез нужна, а они этого не считают? И к тому же у тебя что-то с сыном...»

Она старалась внушить себе: откуда она взяла, что у нее что-то с сыном? «Брось самовнушение,— говорила она себе,— к добру это не приведет». Но разве сердце подчинишь холодному разуму? Плохое сердце, если оно теряет свое изначальное, объяснимое только природой, и сливается с рассудком. Если бы не было сердца, то человека вполне мог бы заменить электронный аппарат.

И снова, убедив себя, что у нее что-то с сыном, она поспешила на междугородную и заказала Таганрог. У матери дома не было телефона, и разговор записали только на утро. Но до утра надо еще ждать!

В рыбном порту дымили два буксира. Лихо разворачивался катер, оставляя на воде дугообразный тающий след. Море блесело под лучами падающего в закат солнца. Штиль...

И на радиостанции ей сказали, что придется повременить, уже очень много скопилось обязательных разговоров. Она насторожилась, не случилось ли что? Обычно ее не пускали на узел, когда в Атлантике случались ЧП. Но сейчас сказали, что там все в порядке.

Доктор Густав Илус и его седенькая Юула сидели за чашем, на веранде, когда Нина показалась на тропинке перед дачей. Полный, рыхлый, еще крепкий для своих семидесяти двух лет, доктор, красный, как сваренный рак, допивал третью чашку чая, вытирая мокрые лицо, шею, грудь махровым полотенцем. Доктор долгие годы провел в России и, вернувшись в Таллин в сороковом году, привез с собой не только отличное знание русского языка, но и многие привычки россиян.

— Добрый вечер! — сказала Нина, заходя на дачу, как в свой дом. — Я переоденусь...

Она вернулась в голубом халате, по-домашнему успокоенная, и присела к столу. Илусы прервали разговор, и она поняла, что говорили о ней. Она вопросительно поглядела на старого доктора. Тот подтвердил, что да, они говорили о ней. Хотели узнать, как там, в Атлантике, когда вернется Гуртовой. Уж очень беспокойной стала Нина за последние дни.

— Связь отложили до десяти, — сказала она, — какие-то срочные разговоры...

Доктор Илус пододвинул ей чашку. Чай был черный, как деревенское сусло.

— Спасибо, Густав Иванович...

Старик замотал головой, будто это спасибо обидело его, и стал старательно тереть полотенцем шею.

— Я сумасбродка, — сказала Нина. — Не обращайтесь на меня внимания. Сейчас вот чуть с ума не сошла...

Доктор Илус перестал тереть шею.

— С чего-то взяла, что с сыном случилась беда. Тревога такая, не знала куда деться.

— Ох, эти ваши самовнушения,— сказала молчаливая Юула.

Нина промолчала, отпила чаю, нехотя прожевала ломтик булки с тонким, как бумага, срезом сала, договорила:

— Однажды весной сорок второго мама маялась два дня. Ревела, не находя себе места. И всем говорила: «Женечка мой, Женечка мой...» Пришло письмо из части, похоронная. Сличили время, точно вышло: два те дня он лежал раненый на ничейной полосе, а когда подобрались к нему, он был уже мертв. Как вы это называете?

— Совпадение, не больше,— сказал доктор.— Ты и на самом деле устала, Нина. Может, раньше надумаешь в отпуск?

— Нет, в отпуск пойду в сентябре. Мама вернется, девочки пойдут в школу. Гуртовой отправится снова в Атлантику, а я поеду в Харьков к доктору Казимирскому. Он меня считал неплохой ученицей, верил. А я что тут делаю? Может, месяц попрактикуюсь у него, хотя бы этим оправдаюсь перед ним.

Нина допила чай, встала, подошла к краю веранды. В лесу было темно и тихо. Вершины сосен и елей молчали.

— Штиль на море,— сказала она, возвращаясь к столу. И вдруг мысль поразила ее: неужто приехала за тем, чтобы увидеть Канунникова?

Еще недавно, совсем недавно, когда они сидели за столиком в старой кофейне, где в полутьме, как на картине Рембрандта, светилось красное лицо старика эстонца, она хотела вечером встретиться с Егором Ивановичем и рассказать ему о своей проблеме, о том, что ей так же всегда беспокойно, как беспокойно астроному, увидевшему бесконечность Вселенной, писателю, понявшему бездонность человеческой души, изобретателю, узнавшему, что развитие техники безбрежно. Ох, как хотелось ей, чтобы кто-то послушал, понял ее.

Когда сейчас она ехала сюда, на Раннамыйза, она думала о муже и не помнила о Егоре Ивановиче. А теперь-то почему молчавшие вершины деревьев напомнили о нем? Или между ними что-то появилось? С того самого мига, когда, можно считать, родилась заново... И на самом деле ей хотелось излить ему свою душу?

Почему-то она подумала, что он сейчас на берегу. Си-

лиг и бросает камешки в тихую воду и прощается с морем. И никогда она больше не увидит его и не расскажет ему о том, о чем не может рассказать другим.

Она не уловила шума волн, когда спустилась к морю. Лишь под берегом слышалась тихая песня. Ее пел эстонец. Она не знала ни ее музыки, ни ее слов и лишь догадывалась, кто ее поет, но сразу же поняла, что это песня о потерянной любви, грустная и печальная песня одиночества. Почему песни радости так поверхностны и почему песни печали так глубоки и трогательны? Говорят, песни — душа народа, его боль и радость, ласка и неприязнь, любовь и ненависть... Неужели народу ближе печаль?

Она не спустилась к морю, где на берегу меж камней красновато дотлевал костерок и темнели две фигуры.

## 16

«Я буду последним сукиным сыном, если скажу, что хоть один раз в жизни возвращался домой без радости,— подумал Егор Канунников, когда грузовик играючи выскочил на увал, опоясанный по низу темной зеленью соснового леса, и взгляду открылась панорама Новограда на той стороне реки Шумши.— Настоящий русский, говорят, из Парижа и то рвется к себе, в какую-нибудь Тмутаракань».

Правда, Егор в Париже не бывал и не мог сказать, как это бывает в точности, но по стране он вдоволь поколесил и много раз уезжал из дому и много раз возвращался. И всегда, когда он видел после долгой ли, короткой ли разлуки белые ряды домов над кручей берега, сердце его будто переворачивалось, отчего в нем появлялась короткая, как электрический разряд, боль, и неожиданный испуг охватывал его.

Так, наверно, бывает с людьми, которые боятся инфаркта и всякий раз болезненно замирают, когда почувствуют вот такой укол в сердце. Но неожиданный и непонятный испуг так же быстро проходил, как и появлялся, и Егор с облегчением вздыхал, и все становилось на место, он дома!

Новоград стоял в излучине Шумши, и чтобы попасть в него по железобетонному мосту на шести опорах, надо было миновать село Заболотье, объехать озера-старицы, шийдеть город почти со всех сторон. Город как бы пока-

зывал сам себя: вот я, полюбуйте! Правда, одну сторону он не хотел показать, ту, которая сливалась с полями и уходила на запад. Там был дом, где жил Егор Кануников.

В той стороне садилось солнце, и за городом синели, туманились поля.

«До чего похоже на море,— подумал Егор, вспоминая,— пока еще его не подожгло заходящее солнце. А подождет оно его, когда упадет совсем низко».

И вот вспомнил вечер на Раннамыйза, и горящее море, и женщину, вышедшую на берег. И при этом воспоминании он пережил такое же чувство, какое пережил раньше, когда увидел родной город.

Он тотчас оправдал себя: «Во всех землях есть что-то такое, что может тронуть твоё сердце. Только это «что-то» надо увидеть...» Но он тут же забыл и море, и женщину, которую зовут Ниной, и чужой берег с огромными гранитными глыбами — будто медведи спустились на водопой. Забыл, не обратив внимания на то, что в душе его еще долго оставался болезненный след воспоминания, постепенно тающий, но не исчезающий совсем.

— Ну, что, Сан Саныч,— сказал он шоферу, рядом с которым трясся в кабине эти почти двое суток, заставивших его забыть о цивилизации двадцатого века. Дорога была из рук вон, денег у Егора не оставалось. Объял Сан Саныча, поди, обижен. В пути мучительно дремалось. На стоянках мучительно не спалось.— Сдадим груз и поедем ко мне. Прежде всего обед. Моя Варюха — мастерица. Такой, бывало, вятский борщ закатит... Нажреть, как дурак на поминках.

— Это что еще за вятский борщ? — Сан Саныч недоверчиво взглянул на соседа. За дорогу они привыкли друг к другу. Егор казался ему своим парнем, скитальческая судьба которого была чем-то схожа с шоферской, и потому у Сан Саныча было к нему сострадание и расположение.

— Ну, как тебе объяснить? — затруднился Егор. Он до тонкостей не знал, как готовится вятский борщ. Только знал, что ко всему прочему в него добавляется клюква. И он сказал об этом.

— Чудно,— сказал Сан Саныч,— и чего только люди не придумают.

Они замолчали. За эти дни обо всем, что их могло взаимно интересовать, они уже переговорили. До ругательств

спорили об атомной бомбе, о запрете испытаний которой, кроме подземных, договорились державы. Егор считал это благом, а Сан Саныч не считал: лазейка-то все равно оставлена. Услышали по радио в закускойной под Ветлугой о чемпионе мира по скоростной стрижке овец, новозеландце с чудным именем — не запомнишь — и опять спорили. Сан Саныч стоял за чемпионов по всем профессиям, Егор плевался от негодования: игра! Да, было дело, поговорили, поспорили, теперь только бы расстаться хорошо. А то у таких вот «друзей на один конец дороги», бывает, недостатка выдержки, чтобы хорошо попрощаться.

«Забывают и руку друг другу подать,— подумал Егор,— со всеми поручаются, а с другом своим дорожным и забудут».

Он взглянул на широкое, спокойное, без выражения лицо Сан Саныча и подумал, что все-таки мало, очень мало узнал о нем, а просто приспособился, чтобы было обоим удобней в дороге. Вспомнил, как пришлось уговаривать директора инструментального завода в Москве дать грузовик, директор был знакомый, начинал свою руководящую жизнь в Новограде. Вспомнил, как приехал Сан Саныч на аэродром, получил груз.

«И это все? — спросил тогда Сан Саныч. — В какую денежку каждый пруток обойдется... Разорите Россию». И когда Егор попытался объяснить, так, мол, велел директор, только что с ним говорил по телефону, что все расходы покроются, все окупится. Разве лучше, если завод будет простаивать? Говорил, а думал так же, как и Сан Саныч. Он-то уж знал, во что обойдется каждый пруток серебрянки. Серебрянка «золотянкой» станет, хотя, кажется, такой стали еще не придумали. «А все ведь за счет рабочего люда,— сказал на это Сан Саныч. — За счет кого же еще?» И тут Егор согласился с Сан Санычем: да, именно. Все будет отнесено на себестоимость, а чтобы она не перескочила плановой черты, смухлюют на зарплате. И так Егор стал свойским для Сан Саныча человеком, приспособился. А что он должен был сделать? Не врать же Сан Санычу.

Но что-то все-таки не открыл он в Сан Саныче, не понял. Что-то такое проскальзывало в отношении шофера к нему. Нет, не пренебрежение. Сан Саныч не пренебрегал им. Неуважительность? Нет, Сан Саныч уважал его. И все-таки что-то было. Может быть, некоторое его превосходство? Шоферы ведь всегда чувству-



ют свое превосходство над прочими людьми. Нет, это было все-таки не превосходство. А что? Не понял ты Егор?

«Да,— вдруг открыл Егор,— это было похоже на то, как иной раз я отношусь к Славкиным занятиям. Бегают Славка с деревянной саблей по двору, размахивает ею, кричит: всех фашистов поубиваю. А я стою и посмеиваюсь: дурачок, деревянной-то саблей...»

Не это, но что-то очень близкое к этому. А что близкое, Егор так и не понял. А теперь уже не понять. Вот и город, заречная его сторона. Вот и мост. Вот и завод, старое здание из красного кирпича. До войны тут производили ликер. В сорок первом было не до ликеров, в здании разместили инструментальный завод, вывезенный из Ленинграда.

Они сдали на склад драгоценные шестьсот килограммов серебрянки. Сан Саныч сел в кабину.

— Постой,— остановил его Егор.— Я только доложу, и поедем ко мне.

— Не поеду, Егор Иванович. Скажи, где у вас Дом колхозника, наверно, есть такой.

— Нет, поедем ко мне.

— Оставь, Егор Иванович. Дело я для тебя сделал. Что я вам мешать буду? Одна комната, семья? С женой вон сколько не виделся... Станем выпивать, в глаза друг дружке глядеть, а ты будешь думать: «Эк, черт, приволокся, я его для вежливости». И жена будет думать: «Таскает всех»,— это о тебе. А обо мне: «Охламон, вроде сам никогда с бабой не разлучался...» А я буду маятой маяться. Нет, Егор Иванович.

— Убедительно! — засмеялся Егор Иванович, почувствовав неблагодарное по отношению к Сан Санычу облегчение. Побежал к вахтеру, перехватил пятерку.

— Возьми, Сан Саныч.

Думал, и от этого откажется шофер. Он не отказался. Сложил пятерку, сунул в карман. Тронулся.

Егор побежал следом, забыл попрощаться. Но Сан Саныч не заметил и не остановился.

## 17

— Славка, разбойник ты этакий!

Дом стоял внутри двора. Двор был залит светом позднего вечера. И всегда в этом свете печаль и насторожен-

пость. То ли от этого света, то ли оттого, что окна его квартиры были темны, Егор почувствовал, как замерло сердце, будто перед обрывом.

«Не чуди,— остановил он себя.— Откуда им знать, когда приедешь. Пора бы привыкнуть». Но привыкнуть он все-таки не мог. Все равно как-то не по себе, когда видишь темные окна, а особенно если замок на дверях.

И тут увидел Славку. Он стоял в тени подсолнухов. Наверно, он видел в них своих врагов и ему страстно хотелось с ними разделаться. Но подсолнухи были соседские, и это оказалось сильнее всех других чувств.

И тогда отец крикнул: «Славка, разбойник ты этакий!»

Славка вздрогнул, повернул голову, увидел отца, но не двинулся с места. Он молча глядел, как бы стараясь его узнать. Конечно, он сразу его узнал, просто ему было грудно так вот сразу переключиться на другие мысли, до того он был поглощен соседскими подсолнухами. Потом он тихо тронулся, медленно пошел ему навстречу. Но с каждым шагом ноги переступали быстрее, и когда между мужчинами оставалось несколько метров, Славка что было духу бросился к отцу.

Отец схватил его, поднял. В правом боку натянулось, кольнуло. Он поставил сына на землю, наклонился, прижал голову к своему лицу. От волос мальчика пахло им самим, Егором Канунниковым, пахло летним ветром городской окраины, куда залетали запахи поспевающей ржи, скошенных и вянущих на солнце луговых трав, пыльных подорожников.

Сын освободил свою голову из-под крепкой руки отца, сказал угрюмо:

— Дышать же нельзя!

— Ну, ладно, не обижайся. Здравствуй!

Здравствуй! — сказал серьезно сын. И тут же сообщил все домашние новости: — А Ирина уехала в лагерь. А мама стирает за дровенником. Пойдем?

Пойдем.

Дай чемодан.

Возьми.

Сын понес чемодан, он нес его перед собой, держась им лужку обеими руками. Чемодан бил его по коленкам.

Что у тебя тут?

Так, мелочи. Но главное, что я привез,— не в чемодане.

А что ты привез?

— Сталь для завода. Я ее уже сдал. И еще прибор. Правда, он еще у меня в голове, но считай, что он уже есть.

— Здорово! Вот бы мне!

Видя, как сын мается с чемоданом, отец приказал:

— Дай сюда. Ну, дай же!

Они шли через двор мимо сохнувших поленниц дров (а его дрова все лежат не окоренными бревнами), мимо чужих сараев, доверху, он знал, забитых дровами (а его сарай еще пуст).

Варя сливала из корыта воду, оглянулась на шаг, откинула со лба волосы. Так и стояла, не двигаясь, прижав к бедру корыто, из которого текла на землю мыльно серая струйка.

— Вот мы и приехали,— сказал Славка.

Варя выплеснула из корыта не сбежавшую еще воду, вытерла руки о передник. Егор будто впервые заметил, какая она у него худенькая, какие узкие у нее плечи и длинная от природы шея.

— Слава богу,— сказала она. Егор не видел выражения ее лица, оно было в тени, но ему показалось, что она нахмурила брови, всматриваясь в него, как бы заново привыкая.— Как ехал?

— В кабине... Из Москвы...

Он подошел, обнял за плечи, потянулся, чтобы поцеловать. Губы у нее были холодные.

— При сыне-то,— смутилась Варя. Она смущалась, когда он обнимал или целовал ее при детях.

Покидала белье в корзину, подала ее мужу, заперла в сарае корыто и с чемоданом в руке догнала мужчину уже возле крыльца. Отец и сын несли корзину, взявшись вдвоем за широкую дужку. «Похожи-то как,— подумала она, глядя в их спины.— И ходят, и говорят. Вроде учиться парню у отца некогда, верно, от рождения такое».

Славка вбежал в квартиру, включил свет. Егор огляделся. В квартире — большой комнате, перегородженной надвое, было все так же, но, когда он возвращался, ему казалось, что переставлена мебель, и это вносило что-то чужое, к чему надо привыкать, хотя мебель стояла на своих местах и все было по-прежнему.

— Ирину что, послала? — принимая от нее запыленный чемодан и ставя его под порогом, спросил он.

— Путевку дали... Да и что ей дома сидеть?

Первые минуты всегда такие неловкие. Когда это поя

нилось? Вначале вроде не было... А теперь вот каждый раз приходится одолеваять отчуждение. Ей и ему.

Егор, — сказала она, — сбегай в баню, куда ты такой, весь в пылице. А я тем временем белье прополошу и ужин сварганю. Не умрешь с голоду?

Не умру, — сказал он.

Он знал, что нелепо на нее обижаться за это предложение — не полезет же он после такой дороги в постель, но все равно было чуть не по себе от ее трезвости и расчетливости. «Лучше бы она не говорила, как-нибудь догадался бы сам. Рвешься домой, увидишь свой город издалека — будто крошечку утерянного счастья себе вернешь, а оно вон как обертывается», — подумал он, но сказал оживленно:

Что ж, баня так баня. Давай, хозяйка, белье. И денег на билет и на кружку пива.

И я пойду, — сказал Славка. Ему надо было спросить разрешения, но разрешения спрашивать он не любил, а просто объявлял о своем намерении. Так ему нравилось больше. Конечно, ему могли запретить, но все-таки менее обидно, чем когда слезно просишь и тебе отказывают.

Но отец сказал:

Пойдем, мужик. Отличную компанию мне составишь.

Они вышли из дома вместе — маленький и большой Канушиковы, оба держась за сумку, где было уложено их белье, чистое и выутюженное. Немножко прошли по тротуару, старший остановился, спросил:

Ничего, если ты пойдешь слева, а я справа? Понимаешь, натрясло в дороге.

Болит бок? — догадливо спросил сын.

Болит, собака. Всю жизнь жду, когда перестанет болеть.

Дождешься, — успокоил его сын, и отец почувствовал, как теплая рука Славки придвинулась по ременной петле сумки к его руке. Непривычно защекотало в горле.

Сын перешел на другую сторону, и они снова зашагали по тротуару пустынной улицы вечернего города.

Дошли до перекрестка, подождали, пока пройдет автобус, пересекли улицу.

Пап, а ты где был?

В Москве, Ленинграде и еще в Таллине.

А что такое Таллин?

— Это город на Балтийском море.  
— И море ты видел?  
— Видел. Даже купался.  
— Ну? — Славка от удивления выпустил сумку, и белье едва не вывалилось на тротуар. Отец подхватил сумку, взял под мышку.  
— Какое оно? Больше нашей Шумши?  
— Сравнил! У него же второго берега совсем не видно. Все вода и вода. До самого неба.  
— Берег все равно где-нибудь есть.  
— Да, берег все равно где-то есть.  
— А вода какая? Такая же, как у нас?  
— Такая же в точности. Только соленая и холодная.  
— Вот бы мне покупаться.  
— Еще купаешься. Мне на тридцать пять лет больше, чем тебе, а я в море первый раз купался.  
— Ну, так то ты...

Они прошли мимо кинотеатра, постояли около афиши. Интересные фильмы обещали показать на следующей неделе, и они молча согласились эту неделю потерпеть.

— А ты в Москве в Мавзолей ходил?  
— На этот раз нет. Я же был уже раз пять.  
— А я все равно сходил бы. Каждый раз бы ходил.  
— Не было времени, сын. А знаешь, сколько там бывает сейчас народу? Тысяч десять стоит, не меньше.  
— Тысяч десять! А я думал — миллион.

Перед баней они остановились. Егор задумался. Славка не понимал, о чем можно сейчас думать. Оказывается, думать было о чем. Отец, как бы советуясь с ним и боясь, что Славка его не поддержит, спросил:

— А что, если нам проявить, так сказать, творчество и изменить план? На кой черт баня? Душно. С потолка падают холодные капли, так тебе врежут по лопаткам, о-го-го. Махнем в душ?

Славке это творчество понравилось: в душе дождик как из сита, и за водой не надо бегать, и вода все время чистая, глаза не ест. Правда, мама велела в баню. Ну, а разве отец меньше мамы? Ничуть! Он же может и сам все переначить.

И они переиначили.

Немного посидели в очереди, отец сходил к кассе, опять посидели. Славка попросил у отца подержать билеты. Билеты держать, конечно, неинтересно, но Славка заподозрил отца в том, что он купил не два, а один билет.

Наконец-то, билет был один. Славка повертел билет в недоумении, и отец понял все.

Понимаешь, у тебя привилегия. Ты можешь мыть-ся без билета,— сказал Егор.— Ну, если очень хочешь, и куплю. Только у нас на пиво не останется.

Ладно,— согласился Славка,— пойдем по одному. Но даже лучше. Мы — будто один человек.

Правильно. Я тоже так думаю.

Они о чем-то еще поговорили, кабина освободилась, и они пошли. Тут было мокро и парно. Из ситечка капала вода. Славка подставил ладонь, чтобы узнать, какая, и сразу отдернул руку — вода была ужас какой горячей. Отец улыбнулся про себя — никакого косвенного опыта у парня. Человек все познает сызнова. Что горячо, что холодно, что правда, что ложь. Если бы люди не начинали жизнь каждый сначала, как быстро они бы развивались и насколько меньше на свете было бы дураков...

Разделись. Оба были худые, длинноногие. Маленький — уменьшенная копия большого, большой — увеличенный маленький человечек. Отец настроил воду, подтокнул сына:

Давай!

Сын ступил на ребристую подставку, позвал:

Пошли вместе.

Ну, пошли.

Струи приятно секли спину. Славка прыгал от восторга, лопил воду ртом, прикрывал глаза ладошками, а то совсем совсем их залило.

Намылить тебе голову? — спросил отец.

Я сам.

Они намыливались, лезли под струи. Славка визжал от удовольствия, Егор чувствовал, как легко-легко делается на душе и приятно оттого, что они понимают друг друга, старший и младший Канунниковы. Забылось огорчение, когда жена выдворила его в баню, забылась ее враждебность и отчужденность, забылась ужасающая обиды. Как хорошо ему было со Славкой, он не помнил, была еще было так хорошо и с кем: «Люблю его, чертенок — он, конечно, чувствует это,— подумал Егор.— Дети чувствуют куда острее нас, взрослых. Тебе надо накопить наблюдений, потом уж сделать умозаключение, что и как. А они чувствуют твоё настроение сразу...»

Объяснил себя: «До чего додумался!»

Потереть тебе спину? — предложил он сыну.

— Только не забывайся,— сказал сын,— а то так начнешь драть, кожи не останется.

— Ладно, не забудусь. До чего ты худой, сын. Все позвонки сосчитать можно: раз, два, три, четыре...

— Щекотно! — закричал Славка.

— Ну вот, мужчина...

— Хватит. Давай теперь я. Наклоняйся.

Он тер отцу спину и, конечно, тоже считал позвонки.

Славка продернул в ушко ножен шпагат и повесил кинжал через плечо. Кинжал ему нравился. Отец говорил о рисунке на ножнах, узорчатом флажке на длинном шпиле — это называлось флюгером, но Славку флюгер не интересовал. Славка расхаживал по комнате, и кинжал в коричневых ножнах болтался на шпагате.

У Вари серые холодноватые глаза чуть потемнели и потеплели, когда она брала в руки ниточку янтаря. Спросила:

— Настоящий?

— Настоящий,— сказал Егор и вспомнил, как они с Ниной выбирали подарки в маленьком магазине, где женщина, с белыми волосами в буклях, рассказывала им о флюгерах. И тогда Нина спросила, любит ли он свою жену, и он ответил, что да, конечно, любит.

Варя положила янтарную нитку на буфет. Она то и дело оглядывалась на нее, хотелось примерить, но стеснялась. Она выпила рюмку водки, усталость сошла с лица, щеки робко зарумянились. Что-то девчачье проступило в ней, давнишнее и милое.

— А с чем пойдет янтарь-то твой? — спросила она наконец, не вытерпев.

— Со всем, с чем хочешь,— сказал он, хотя не очень в этом разбирался.— С черным, белым, красным.

— Дорого, поди?

— Так, ерунда. Повезло. Подсказали. Сам бы не догадался.

И подумал: «Когда-то я ей что дарил? Не вспомню. Отвыкли, сами себя отучили...»

Она скрылась за заборкой и скоро вышла в черном платье, которое он почему-то не помнил. Ниточка янтаря и в самом деле очень шла с черным. И шея Вари не казалась сейчас слишком худой и длинной.

— Обнови завтра,— посоветовал он.— Пойдешь на работу...

— Ну, кто в этом ходит на работу? Тоже, скажешь.

Она переоделась и снова стала буднично простой, румянец сошел со щек, и лицо сделалось усталым и отрешенным. Подсела к столу.

— Ты ешь, наголодался ведь... Когда все это у тебя кончится? — Вздохнула. Муж не любил разговоров о работе, и она ждала, что он остановит ее, но Егор промолчал. Это ее как бы подбодрило, и она заговорила:

— Неустроев-то, твой дружок, как вспорхнул. Главный технолог. А какие таланты за ним числятся? Был бы ты при заводе...

Егор удивился:

— Неустроев главный технолог?

— Да, главного перевели в управление машиностроения. Вот Неустроев и выпрыгнул.

— Смотри-ка! Действительно...

Неустроев был заместителем начальника цеха индикаторов. Учились вместе в вечернем Политехническом институте — Роман, Егор и Неустроев. Егор и Роман окончили, защитили дипломы, Неустроев едва дотянул до третьего курса. В прошлом году Неустроева избрали в городской Совет. Кто-то посоветовал избрать депутатом беспартийного инженера, а на заводе ни одного беспартийного инженера, кроме Неустроева, не нашлось. Вот так все и получилось.

«Инженер? Какой он инженер?» — подумалось Егору.

— Ну, Варь, раз назначили, значит, посчитали возможным.— Но подумал. «Жене-то зачем вру? Ведь глупость же, что Неустроева назначили. Другие есть, поумнее и пограмотнее. Да и меня на это место Роман уговаривал. А, ладно...»

Попросил:

— Налей, что ли, еще... После бани...

— Привык ты в поездках.

Он отставил пустую рюмку.

— К чему не привыкнешь в бездомовости?

Пить не стал. Спросил:

— Что на заводе? Приезжаешь, как чужой к чужим!

— Чужой и есть. Только берут от тебя...

— На заводе-то...

— А что на заводе? Все то же. Неделю стояли из-за серебрянки. Теперь будут гнать. Сам знаешь. Директор



приходил уже, просил Пивоварова посмотреть, нельзя ли что вернуть из забракованного ОТК. Пивоваров меня вызвал. Мялся, мялся, а я будто не понимаю, в чем дело.

— Ну?

— Браку много было. Да и как ему не быть? Торопили: давайте план. Вот и гнали брак. А что делать?

Варя помолчала. Трудная у нее работа — мастер ОТК. Забракуешь — вроде в своего ближнего выстрелишь и в себя. План сорвется — ни премиальных, ни хорошего заработка. Пропустишь — в дальнего выстрелишь, но в своего же.

— Когда же все это кончится? Когда против совести не надо будет идти?

— Наладится.

«Опять вру, опять приспособляюсь к удобному, — возразил Егор себе. — Ты же знаешь, что скоро не наладится. Годы нужны, чтобы улеглись новые связи. Все же к черту полетело, что было налажено, попробуй теперь скоро вернуться к старому, не вернешься. Живем без обратных связей. Слышим только «давай», а чтобы услышать «на», не слышим».

— Не переживай за них, — сказала Варя, видя, как он помрачнел. — Там есть кому переживать. Поболее тебя куски получают.

Он встал из-за стола, подхватил сына Славка был легкий, как пушинка.

— Пап, ты больше не поедешь?

— Не поеду, сын. — Егор сказал это легко, не думая, но как радостно вспыхнули глаза Вари после этих его слов. Если бы он видел...

— Тогда я буду тебя брать на реку, — сказал Славка. — А может, даже на рыбалку.

Отец засмеялся. Он давно не смеялся так весело, одобрительно, беззаботно. Ему нравилась в сыне эта вот рассудительность, самостоятельность мышления. Много времени проводит один, до всего привык додумываться сам, свое неизбежное «почему» обращает не к старшим, а к себе.

«Хорошо, Славка, хорошо!»

— Ты в самом деле не будешь больше ездить?

Егор повернулся к жене, и только сейчас увидел, как светятся ее глаза.

— Да, конечно, — сказал он и поверил сам себе.

Славка ни в какую не соглашался спать один, и они

легли с отцом на диване. Когда сын уснул, Егор осторожно встал, шагнул к кровати. Под рукой вздрагивающее плечо жены.

Уткнувшись лицом в подушку, жена плакала.

— Варя, что с тобой, ну что?

— Я думала, больной приехал, не идешь.

— Глупая, вот глупая...

Лицо ее было мокрое от слез. И когда он целовал его, на губах Егора оставался соленый привкус.

## 18

Вечером Егор сказал Варе:

— Три дня отпуска, кровные, заработанные. Роман подарил. Как ты думаешь, если я и на самом деле их использую? Распилю дрова, съезжу к Иринке в лагерь. Находит такое: скучаю, и все.

— Не сидится тебе ни дня дома.

— К вечеру вернусь.

Получил премию, накупил сладостей, мать приглядела Ирине платье — девчонка уже в таких годах, понимает, что к чему.

На самое дно чемодана Егор положил кошелек желтой кожи с изображением флюгера — флажка со звездой и крестом на шпиге. «С улицы Нигулисте, — вспомнил он. — Пина говорила, что кошельки пустыми не дарят. Чтобы вместе с кошельком подарить человеку счастье, надо положить монету. Какую-нибудь. Пусть самую маленькую».

Он раскрыл кошелек и сунул в него рубль. И подумал, усмехаясь своему суеверию: «Выход легкий, ничего не скажешь. Так вот запросто, с рублем можно бы раздать счастье каждому и всем».

Егор приехал в лагерь перед обедом. На берегу Быстрицы, недалеко от ее впадения в Шумшу, среди темной зелени соснового бора, светлели деревянные домики лагерных служб. Желтые осыпи песка стекали к реке и терялись, не добежав до воды. Берег зарос ольхой, и пескам ходу не было. Ольха росла на намытых рекой галечнике и глине, ольхой же кудрявились островки, делившие реку на узкие протоки. Вода ворчала в протоках, как бы жалуясь на то, что отрезали ее от материнской струи.

Он сидел на берегу и ждал, пока разыщут Ирину. Оряд был где-то поблизости, но дежурная по лагерю не

могла его найти. Егор волновался, он даже не знал, что готовит ему встреча с дочерью. Вдруг подумал, что даже не узнает ее, если увидит среди девочек.

«Не знаете вы свою дочь»,— сказала ему Нина. Да, он сам это теперь понимал и казнил себя. Дочь выросла незаметно для него. Ее даже не видно было как-то. Придет из школы, займется своим делом, никому не мешает, не докучает. Она в нем вроде не нуждалась, и он вроде не находил потребности сблизиться с ней, узнать, чем занята ее голова, ее сердце. Дочь училась старательно, не огорчала родителей, и этого ему оказалось достаточно, чтобы удовлетвориться. Она платила ему тем же. Вот так все и сложилось. Двое, всего двое у них детей, а как раз-но получилось.

И он вспомнил учительницу Аполлинарию с таллинской улицы Лидии Койдулы, ее двух дочерей, одна из которых, как и мать, русская, а вторая — истая эстонка, хотя между ними всего год.

Из прежних поездок он редко привозил воспоминания. Уехал, оборвал все связи, и концы памяти — в воду. Теперь же концы торчали всюду, и память цеплялась за любую, только дай ей волю.

«Бывает и похуже, чем у меня,— подумал он, чуть успокаиваясь.— У Аполлинарии той же»... Но, как всегда в таких случаях, он не хотел уходить от правды и возразил себе: «Нашел чем утешиться».

Солнце жгло спину. Перед глазами Егора плыли разноцветные круги. Трещали в траве кузнечики. В бору куковала кукушка. Егор загадал и устал считать... Тридцать два раза. Добрая! А может, не одна там? В густом ольховнике цвикала какая-то птица, удручающе однообразно: «цвик, цвик»... Раскатистая песня зяблика как бы покрыла все: затихли кузнечики, замолчала «цвикушка», откуковала кукушка.

Егор задремал, как тогда, в траве на берегу далекого теперь моря, где пахло земляникой и морскими водорослями одновременно.

Проснулся он, разбуженный горчишно-горьким запахом свежих коровьих лепех и сочным хрустом. Неподалеку паслась черная белоголовая корова. Перед ее равнодушно-спокойной, опущенной к земле мордой стояла на коленях Ирина. В подоле ее было полно травы, и корова, тяжело вздыхая, осторожно забирала губами припасенный для нее корм. Ирина то и дело торопила ее: «Ну, ну».

голос ее звучал обиженно. Она чуть приподнималась, подносила траву к самой коровьей морде.

Ирина, дочка, здравствуй! — сказал Егор, чувствуя непонятное волнение. «Дурак, боялся не узнать дочь. Как она похожа на Варю. И красива. И вовсе не худая, как все мы почему-то». Ему было приятно видеть загорелое лицо дочери, шею с мягкими линиями, плечи, в которых уже сглаживалась угловатость девочки и угадывалась девушка.

Дочь оглянулась на корову, как бы укоряя ее в медлительности — вот, мол, не ела вовремя, теперь попробуй пощипать траву сама — вытряхнула корм на землю и пошла к отцу. Она шла, не ускоряя шага, как бы хотела за эти короткие секунды узнать его и привыкнуть, ему же казалось, что идет она очень быстро и он не успеет найти слова, которые он должен ей сказать. Она подошла, глядя ему в лицо. Он обхватил ее за шею, прижал к себе. Темно-русые ее волосы на макушке выгорели, а две косы были совсем темные.

Она стояла, уткнувшись лицом в его пиджак, кусая от обиды губы. Хотела поздороваться с отцом, но поняла, что не сумеет выговорить трудное слово «здравствуй», и промолчала. Она готова была убить себя за эту бестолковость и беспомощность, но убить она себя не смогла бы и не сможет, и она просто заплакала. Отец, растроганный до крайности — дочь со слезами провожала его и вот со слезами встретила — положил руку на ее голову, заговорил:

— Ну, ладно, ладно... Будем мужчинами. А чья это Буренка?

Ирина оторвала лицо от отцова пиджака, и глаза ее сразу высохли.

— Это не Буренка, паап... Это Чернууха... Она живет у нашего сторожа. Совсем, совсем ручная. Утром приходит к нашей столовой и выпрашивает хлеб...

Он видел, как дочь оживилась: должно быть, Чернуху тут все любили. И будто впервые услышал, как она растягивает некоторые слоги и спотыкается на словах. Но если бы он не старался это услышать, он, может быть, и ничего не заметил бы. Ирина всегда говорила медленно, ему раньше казалось, что она подбирает слова, а не просто выстреливает первое попавшееся.

Славка, тот тоже всегда говорит по-взрослому, осмысленно.

И бегают за вами, как собачонка?

— Правда, правда,— сказала дочь.— Мы уходим в лес, сидим на полянке, Тоня, это вожатая, что-нибудь нам рассказывает. И вдруг «му-у», и морда из кустов. Тут уж Тоня никого не может удержать. Все бегут к Чернухе. И Тоня тоже. А сначала ух как ругалась и прогоняла корову. А ее попробуй прогони! А теперь сама Тоня чего-нибудь дает ей поест. Да, пап, Чернуха научилась есть землянику. Раздавит всю мордой, а потом обливается...

О Чернухе вроде все было сказано, и они замолчали. Отец не знал, о чем с ней говорить, и тяготился этим. Дочь думала, что он недоволен разговором о Чернухе — тоже нашла о чем! — и смущалась.

— Присядь,— сказал он.— Мать пирожное тебе купила. Боюсь, что растаяло. Забыл, оставил чемодан на солнцепеке.

Он раскрыл чемодан. Наверху лежало новое платье — голубое, с белыми крупными горошинами — и он обрадовался, что оно первым попало на глаза.

— Вот тебе,— сказал он, мучаясь, что не знает, как себя вести. Со всеми он умел говорить: с министрами и женщинами, с администраторами гостиниц и директорами заводов-гигантов, со своим братом — толкачом и изобретателем, уставшим от славы, но вот с дочерью, родной и единственной, не умел. Он боялся взять неверный тон, боялся, что опять приспособится, вроде и проведет время, но так и не раскроет створочку в затворенную ее душу. Хоть бы узнать, о чем она думает...

— Мама выбирала? — Ирина взяла платье, приложила к груди.

— Может, примеришь? Беги в кусты.

— Что ты, пап. Я его надену в воскресенье.

— Вот пирожное. Сохранилось! — обрадовался отец.— Съешь.

— Что ты, пап, я уже обедала. Я его вечером, к чаю... Девочек угошу.

— Девочек? Делить-то вроде нечего.

— Что ты, пап, разве я одна съем?

— Конечно, поделись. С подругами. Есть подруги?

— Есть,— сказала дочь.

— Тут тебе конфеты. Мы со Славкой покупали. Так что они и от него. А вот это,— он вытащил со дна чемодана кошелек желтой тисненой кожи,— это из Таллина.

Смотри, какой красивый флюгер. Их много там, разные. Больше на старых домах. Это ведь город моряков и рыбаков. Флюгеры показывали направление ветра, предупреждали о бурях...

И он стал вспоминать то, что рассказывала ему Нина в тот день, когда они ходили по городу, вспомнил и «толстую Маргариту», и «длинного Германа», и «Старого Тоомаса» на шпиле таллинской ратуши, и о море рассказал, как оно плавится на закате и как проходит по вершинам сосен и елей неумолкающий гул его прибоя.

Он замолчал. Серые большие глаза дочери были широко раскрыты, и взгляд их был где-то далеко-далеко, может, на узеньких улочках сказочного для нее Вышгорода, а может, на просторах вспыхнувшего на закате моря.

— Пап,— сказала Ирина,— как здорово, что ты едешь. Нет, нет, не здорово, что тебя подолгу не бывает, но здорово, что ты все видишь. Подумать только — море!

Она вертела в руках кошелек, а он думал, почему он раньше ничего ей не рассказывал? Сколько он повидал всего на свете, а возвращаясь, лишь рассказывал жене, как обдурил каких-нибудь сукиных сынов и достал то, за чем ездил. Урал, Сибирь, Украина, Грузия, Армения, Москва, Ленинград... Неужто он ничего там не видел, о чем мог бы рассказать дочери? Неужто?..

Она раскрыла кошелек, достала аккуратно сложенный потрепанный рубль, протянула отцу:

— У меня есть.

— Так полагается, дочь, пустые кошельки не дарят. Говорят, не будет счастья.

— В приметы я не верю,— сказала дочь, насупившись.

— Я — тоже. Но все равно оставь. Пусть лежит. А когда положишь другие,пустишь его в дело наравне со всеми. Вот и не будет никаких примет.

Он видел, что дочь что-то хотела ему сказать, но от волнения, что ли, слово никак не хотело подчиниться ей, рубчатое горлышко ее под гладкой, незагоревшей кожей судорожно двигалось, шевелились, кривясь, губы, а на лице застыло выражение жалкой беспомощности. Казалось, она вот-вот заплачет. Он постарался прийти к ней на помощь. Спросил:

— Ты что-то хотела сказать?

Горлышко ее, успокоившееся было, вдруг снова затрепыхалось. Она тихо и без запинки выговорила:

— Я хотела сказать: «хорошо»...

— Повтори: хорошо.

Губы ее скривились, она заплакала.

Отец придвинулся к ней, прижал к себе ее голову. От ее волос пахло хвоей. «Правда Нина,— подумал он,— не знаю, не знаю свою дочь. Как же так вышло? Пока она росла, я валялся в госпиталях, а потом шесть лет вечернего института... Потом поездки.— И остановил себя:— Ищешь оправданий?»

— Извини, дочь, извини...— сказал он.— Я знаю человека, который поможет тебе. Только ты не плачь. Когда человек плачет, он сдается. Есть, конечно, слезы радости, но это совсем другое дело.

— Да,— сказала дочь,— это совсем другое дело.

Слезы текли по ее лицу, и он, прижавшись к нему, чувствовал, как они охладили его щеку. Он гладил дочь по голове и думал, как все это, должно быть, стесняет, мешает жить. Он представил ее в кругу подруг и ужаснулся. Как он раньше не подумал об этом? Молчала дочь, никогда ни о чем не рассказывала, и он считал, что это хорошо, не мешает ему.

«Дочка, дочка, какой ты урок мне дала! — подумал он.— Для человека на земле ничто не имеет такой обязательности, как дети. Воспроизводить здоровую жизнь... Не понимаем мы этого, пока не получим первый урок. Хорошо, когда еще первый...»

— Пап,— сказала Ирина,— не думай об этом. Я знаю, что ничего, ничего не сделать. Такая уж я...

Дочь прикусила губу, но не заплакала. В такой сосредоточенности, с таким усилием произнося каждое слово, она не сделала ни одной ошибки. Он обрадовался: может, вот такое сильное потрясение и вернуло ей эти несколько правильных слов? Может...

Но уже следующее, что она сказала, прозвучало так ужасающе, что теперь он едва удержался, чтобы не заплакать.

— П-пойдем, я п-покажу, где м-мы жинивем.

Они ходили по лагерю, посидели на скамейке у спортивной площадки, заглянули в окна домиков и увидели спящих под белыми простынями ребят — был как раз тихий час. В одной из комнат Ирина указала пустовавшую койку, и отец понял: ее!

Так вот они и бродили, как двое глухонемых. Он старался молчать, чтобы не вызывать ее на разговор, она молчала, чтобы не огорчать его и себя.

Из штаба лагеря по песчаной дорожке навстречу шел парень в белой рубашке, в расклешенных брюках защитного цвета, в красном галстуке. Ирина смутилась, опустила глаза.

— Леня, старший пионервожатый, — тихо сказала она.

— Тебе попадет?

— Нет, он знает.

«Красивый мальчик, — отметил Егор, — а шагает как стремительно. Спортсмен, сразу видно».

— Он хороший?

— Да.

— Смелый, ходит с вами в походы?

— Да...

«Так и знай, все девчонки влюблены в него»...

И тут ему впервые пришла мысль, что у Ирины рано или поздно будут поклонники, будет влюбленный в нее какой-нибудь вихрастик, а потом может быть и жених, и муж. Как же она все это пройдет?

Старший пионервожатый поравнялся с ними, отдал салют.

— Нравится у нас? — спросил он Егора.

— Хорошее место, чистота, цветов много — хорошо, — аттестовал Егор и заметил, что дочь не подняла на Леню глаз. «Что ж, — подумал он, — у каждого в этом возрасте так бывает. А дальше... Дальше все будет хуже и сложнее».

Прозвучал горн, отец и дочь попрощались.

Не многим разрешалось входить сюда, в радиоузел, и Нине было приятно, что ей разрешалось. Другие передавали и получали телеграммы, а она, сидя вот за этим столиком, могла говорить с Гуртовым, будто они были рядом, у себя дома.

Но Нина так и не привыкла верить вот этому микрофону свои тайны. Ей казалось, что ее подслушивает весь мир, и было стыдно говорить, как она скучает без него и как хотела бы быть с ним или что-то в этом роде. Но Гуртовой не стеснялся. Гуртовой говорил, как он



нуждается в ней и что она снится ему каждую ночь. Она краснела от этих его слов. Ушам под большими нахлопками наушников становилось жарко, губы пересыхали, и она поскорее заканчивала разговор.

Гуртовой сердился. Она представляла, как он одинок среди холодного океана, у чужих далеких берегов. А может, и берегов-то там никаких нет, и он не видит земли все эти долгие дни. В короткие минуты любовь к нему оборачивалась не самой сильной ее стороной, а жалостью, и Нина готова была говорить что угодно, но аппарат уже выключался. И зная, что он не слышит ее, она все-таки говорила, говорила все, что рвалось из души, и от этого становилось легче.

Она для себя считала, что он где-то там, в Гренландском море, все это слышал и ему было лучше переносить пустынное одиночество Атлантики. Эти минуты Нина считала чуть ли не самыми счастливыми в жизни. Может быть, они были более счастливыми, чем минуты встречи с самим мужем, потому что при встречах ни он, ни она не могли говорить того, что хотели сказать. То ли мешали люди, то ли к минутам встречи перекипали чувства, сгорали слова. Когда их слышишь, невольно думается, что ты что-то теряешь.

Ныла и ныла морзянка. Загорались и гасли зеленые огоньки. Молчаливые ребята, не отрываясь от аппаратов, косили на нее глаза, иные дружелюбно, подбадривающе кивали. Вся обстановка радиоузла связи еще больше обостряла чувство ожидания необыкновенного.

«Здравствуй, мой милый дружок!» — это относилось пока что всего-навсего к аппарату, который столько раз приносил ей радость встречи с Гуртовым, пусть эти встречи были только в эфире.

Она села к столу и надела наушники. Светлый грибок микрофона стоял перед ней. И наушники, и этот белый грибок стали деталями ее жизни, и без них она уже не мыслила хотя бы трех дней. Необычайно быстро она услышала ясный и близкий голос, будто Гуртовой был где-то в соседней комнате и говорил в микрофон, чтобы разыграть ее.

— Старуха, здравствуй! Ты меня слышишь? Я чертовски люблю тебя и скучаю. И если бы ты знала, как мне осточертели айсберги, длинный-длинный день и рыба. Ну, что ты молчишь? Скажи что-нибудь.

— Мне тоже, — сказала она, чувствуя, как закружи-

лась голова.— Я тоже... очень жду тебя. Не представляешь, как мне одной.

— Слушай, я скоро сматываю удочки. Наловили прорыву рыбы и теперь нам некуда ее девать. И, кроме всего, мне надо штопать посудину.

— Когда тебя ждать?

— Мы зайдем в Рейкьявик, а потом прямым курсом до родного Пальяссаара.

— Что такое Рейкьявик? Это надолго?

— Старуха,— послышалось укоризненное,— тебе надо заняться географией. Рейкьявик — это столица Исландии. Остров, где примостился городишко, все время мозолит нам глаза. Он дымит, как самовар. Он мне надоел, и я хочу к тебе. Ты мне снишься по ночам, слышишь?

— Я тоже,— сказала она,— тоже вижу тебя во сне.

Она не соврала. Она видела его во сне каждую ночь. Если муж рядом, его можно и не видеть во сне. А если он так далеко и ты молода и любишь его, что тебе еще остается делать?

— Ты в каком платье?

— В сером.

— А как поживает твое красное? Ты обещала его забросить до моего приезда.

— Я его забросила, но сегодня днем надела. Всего один раз. Оно не принесло мне счастья. Много было переживаний. Разных.

— Что-то серьезное?

— Все это работа. У меня пока ничего не выходит.

— Ох, уж...— Она услышала его глубокий и сокрушенный вздох.— Вот дались тебе эти заики. Не можешь прожить без них?

— Ты же знаешь, что не могу, и никогда не буду счастлива, если останусь беспомощной.

— Даже со мной?

— Даже с тобой,— сказала она с ходу. И тут же поправилась:— Извини, я не подумала. Нашего с тобой ничто не касается. Никогда.

— Ладно... Как Аскольд? Что слышно из Таганрога? Прошлый раз я не успел тебя спросить.

Она хотела рассказать о своих тревогах, своих предчувствиях, но удержалась:

— Не могу связаться с мамой...

Она хотела рассказать ему о дочках, у которых была в воскресенье в пионерском лагере, но он не спросил

о ее дочках, и она промолчала. Девочки-то были Астафьевы, и она боялась, что он в чем-то почувствует ее навязчивость. Зачем ему знать, как она весь день штопала и стирала их платица, как шофер, пристроившись на пеньке в лесу, ушивал порвавшиеся сандалии, что Вера — молодчина, привыкла к отряду, не скучает, а Марена — та плакса, вчера, как и всякий раз, просилась домой, она не понимает, о чем говорят ее подружки, маленькие эстонки, и думает, что дома, на Мустамяэ, ей было бы куда лучше.

«Маленькая, маленькая моя»...

Она не уловила, что говорил Гуртовой, схватила лишь последние его слова насчет ремонта корабля и что наконец повезло. Спросила, о чем он?

— Да ты вообрази: два месяца дома! Август и сентябрь будем ремонтировать. Слышишь?

— Слышу,— сказала она,— слышу... Мне даже не верится.

— Поверь, раз говорю...

Она даже как-то похолодела от неожиданности. Вот ведь как бывает: радость, два месяца вместе с мужем, без унижительного одиночества, в котором чувствуешь себя то ли солдаткой, то ли «брошенкой», как зовут на Руси женщин, у которых мужья годами зимогорят, радость, а она вот похолодела, точно застигнутая дурной вестью. И только когда закончилось время радиоразговора и она, опершись локтями о стол и прижав ладони к наушникам, еще сидела минуты две, как бы ожидая, не вернется ли из эфира его голос, она поняла, что это неожиданное, но заслуженное ею счастье рушит другое, и не только заслуженное, но и ожидаемое.

Сентябрь... это ее месяц, месяц отпуска и работы в кабинете доктора Казимирского, месяц, который так нужен ей и без которого ей прожить еще хуже, чем в разлуке с Гуртовым.

«О, долюшка женская... Вряд ли труднее сыскать»...

Она сняла наушники, встала и, благодаря, кивнула ребятам, направляясь из радиорубки. Вокруг пыла морзянка, напоминая о каких-то утратах, мигали зеленые огоньки, как бы открывая ей путь в неизведанную, благодатную и добрую жизнь. Ребята, заметив на ее лице смятение, подумали, что приструнил строгий капитан-директор свою симпатичную женушку, живущую без муженька по своим уставам, как какой-нибудь вольный го-

род. Что ж, пусть думают эти мальчишки что хотят, они еще так мало знают о жизни.

Пепельно-серая ночь овивала Таллин. Глубинно темнело море. На светлой еще кромке неба резалась полоска Найссаара.

«О господи, избавитель мой»...

Нина не знала, откуда пришла к ней эта фраза, похожая на начало молитвы, но в такие минуты она являлась, не спросясь. В ней звучали и растерянность, и отчаяние, и бессилие.

«О досточтимая эмансипация, освободившая меня, уравнившая меня с мужчиной, давшая мне все, чего когда-то у меня не было, и тут же сразу все отнявшая»...

Она представила на минуту, как муж однажды сказал бы, что не идет в экспедицию по семейным обстоятельствам. Представила и усмехнулась такой невидали. А она вот запросто по счастливым семейным обстоятельствам не пойдет в отпуск и не использует единственные дни отдыха, ее дни для своей работы, той работы, без которой она не может жить и для которой так долго и терпеливо готовила себя.

Она опять на минуту представила, как моряк Гуртовой едет за ней в Калугу и терпит безморье так же стойчески, как терпит она здесь свою безъязыкость. Представила и усмехнулась: никогда этого не случится.

Автобус шел на Мустамяэ. Молодые эстонцы и эстонки оживленно разговаривали и смеялись. Потом они притихли и что-то стали говорить о ней. Она только поняла: «Почему она так грустна, эта русская?» Нина долго строила фразу и наконец по-эстонски спросила, откуда они знают, что она русская? Парни и девушки смутились. Но тут один сказал по-русски:

— Наши так грустить не умеют.

Все засмеялись, и Нина тоже.

— Нет, все-таки? — настаивала она.

Теперь заговорила девушка с льняными волосами:

— У вас все на лице написано. Не обижайтесь.

«Плохо это или хорошо, что все на лице написано? — думала Нина, идя от остановки до дома. — Вроде бы хорошо, а вроде бы и плохо. А, — махнула она рукой, — хорошо, что мы всегда такие. И пусть будем такими».

Утром она протряслась от холода. Лил дождь. Капли шлепались на подоконник, рикошетили, и на полу, возле кровати натекла лужа. Простыня, которой она прикрыва-

лась, была чуть влажной и холодком прикасалась к грудям, лопаткам, бедрам.

Белесая дымка прикрывала лес. Песчаная коса под окнами потемнела. Первой мыслью почему-то была: «А Егор, должно быть, уже дома. А может, и нет... Разве мне не все равно?»

Потом был короткий разговор с матерью.

— Мама,— голос Нины был хрипловатый от волнения и сна,— не сердись, что звоню. Как ты добралась до почты? Ведь рано еще.

— Ладно, как добралась... Сама ведь знаешь.

Нина знала: бежала с окраины через весь город. Над Азовским тусклым морем дымка. Солнце еще не взошло, но туман уже чуть розовеет.

— Мама, Гуртовой велел тебе кланяться,— сказала Нина, хотя не припомнила, просил ли ее об этом муж.

— Как он?

— Скоро приедет на два месяца...

— Ну...

Мать ждала вопросов или каких-то сообщений. Дочь боялась спрашивать.

— Ну, что ты себе спать не даешь, и я ночь прова-  
ландаюсь! Что у тебя? — не выдержала мать.

— Мам, Аскольд... С ним все хорошо?

— Ну, а что с ним может быть? Теперь все хорошо...

— Теперь... Чувствовало мое сердце.

— Не сходи с ума.

— Что с ним было?

— А ничего...

— Нет было, было. Чувствую!

— Ну, было, так прошло уже. И нечего малахольиться.

— Что? Говори! А то я приеду и заберу его.

Мать помолчала. В трубке шелестело, всхлипывало.

— Не езд, не надо,— серьезно сказала мать,— па-  
рень в полном здравии. Перекупался было. Головокру-  
жение, рвота. А теперь вчистую прошло.

— Тонул, что ли? Как же так...

Мать опять помолчала.

— Да с ребятами увязался... Ну и опрокинулись.

Нина, вмиг потеряв силы, опустилась на стул. Нет, больше она не позволит увозить ее сына. Как можно так жить?

— Мама,— сказала она,— я прошу привезти Асколь-  
да. Не спорь, я прошу.

Мать опять молчала. Телефонистка где-то далеко спросила, не закончили ли разговор, но мать строго сказала:

— Не влазь, чего шебуршишь! — И Нине: — Не углядела, дочь, казни меня. Но, право, он теперь здоров. И оставь ты его мне. Ну, прошу я тебя, Нина! Какая мне жизнь без него?

— Нет, нет! — крикнула Нина, но телефонная трубка равнодушным голосом сказала: «Время кончилось».

За окном все еще лил дождь. В слабом свете утра блестел мокрый асфальт улицы.

20

Егор поздно вернулся из пионерского лагеря, Варя и Славка уже спали. Он сам разогрел ужин и в одиночестве поел на кухне. Картошка, не убранная с плиты, подзасохла, потеряла вкус, котлета отдавала кислинкой, должно быть, многовато намешали в нее хлеба, иначе не прокисла бы так скоро. И только крепкий чай с редким ароматом, не похожим ни на какой другой, был приятен.

Он думал о дочери. Как это и что с ней случилось? И когда? Почему он не помнил? Почему не замечал? «Не знаете вы своей дочери»... Да только ли не знает? Раньше не подумал о ее беде и теперь вряд ли заставит себя как следует подумать...

Не скажешь, что не любит ее или любит меньше, чем Славку. Со Славкой они, правда, быстрее находят общий язык, но на то они и мужчины. А мать-то как же, ей ведь ближе дочернее сердечко? Свои секреты, так и знай, завелась. Женщины...

Осторожно, стараясь не наделать шума, — дверь все же скрипнула, завтра не забыть бы капнуть на навесы масла, — Егор прошел в комнату, прилег на диван, чуть подвинув Славку, и заснул скоро, как привык к этому в поездах и самолетах. И всю ночь видел один и тот же сон, светлый, как утро. Всю ночь он был вместе с дочерью и тем высоким и симпатичным старшим вожатым, которого он видел в лагере. Дочь была веселой, смеялась и без конца говорила, говорила... и Егор не мог наслушаться ее речь.

Утром они с женой шли вместе на завод. Егору не терпелось в лабораторию, хотя у него было еще два сво-

бодных дня. По пути они завернули в детский сад, с рук на руки передали няне Славку: оставь на улице — потом ищи ветра в поле. Не сели в автобус, хотя до завода не так-то близко — четыре остановки, оба не любили утреннюю толчею, и пошли пешком. Егор рассказывал жене о дочери, о лагере, как ему понравилось там.

— А Ирина, ты знаешь, повзрослела, так и налилась здоровьем. И красивая... На тебя похожа, брови такие же разлетные, и нос прямой — твой, только рот мой, кажется...

Жена, шагая по тропинке между деревьями бульвара, чуть впереди Егора, сказала, не оборачиваясь:

— Чего, чего, а рот у нее мой. У тебя вон он какой резкий, а у нее — губы добрые.

— Может быть, — согласился он, не желая затевать спора. — Ты не знаешь, как обливалось сердце кровью, когда я вслушивался, как она говорит! Как ей трудно. Первый раз пришло мне в голову: а если любовь нагрянет? Представляешь, с парнем пойдет погулять, разговоры начнутся? А? Шли мы по лагерю, и попался навстречу старший пионервожатый. Парень что надо, всю ночь мне сегодня снился.

— Впервой, что ли, заметил ее заикание? А я давно переживаю. Вначале сердилась на нее, даже ненавидела за то, что она у нас такая. А теперь жалость...

— Что же ты так... Надо бы вместе, может, и предупредили бы...

— За детей-то мы оба отвечаем.

— Разве я об этом?

— О чем же тогда?

— О том, чтобы вместе. Да и тебе все же она ближе, дочь же.

— А ты, Егор, все готов на меня свалить. Одни часы с тобой на заводе, а дома — у тебя журналы, книги, а у меня — кухня, постирушка, дети.

— Ну, разве мои журналы и книги — это не работа? Не успеваю и жалкой толики прочитать из того, что надо.

— А мне, думаешь, не надо? Я что — бездумную работу делаю? Почему только я виновата?

— Да разве я говорю? — Егор, раздосадованный, махнул рукой.

Они вышли на центральный проспект, спланированный по образцу московских бульваров, и между молоды-

ми еще ясенями и канадскими кленами стали спускаться вниз к мосту через упрятанную в бетонное ложе речку Хлынку. А потом пойдут берегом и незаметно для себя окажутся у своего завода, красного двухэтажного здания, углом стоящего на пересечении двух улиц — Хлынки и Инструментальной, которая в те времена, когда выпускались ликеро-водочные изделия, называлась Винодельской.

Было жарко. Если на проспекте еще блестели на траве под кленами капли росы, а цветы на клумбах после вчерашней поливки еще темнели от влаги, то внизу, у подножия увала, где один близ другого тесно толпились заводы, в воздухе чувствовалось угарное дыхание топок, и от улиц здесь пахло горячей окалиной. Речка Хлынка, падающая с крутизны и бегущая по дну глубокого оврага, не прибавляла ни влажности, ни свежести.

— Ладно,—сказал он, когда они уже вышли на перекресток и прямо перед ними выросло старинное красное здание завода,— не будем теперь спорить, кто виноват. Виноват я. Тут дело такое... Если мужчина сваливает вину на женщину, значит, он слаб.

— Вот ты как повернул!

— Я не повернул. Просто я не пойму тебя. Беда объединяет обычно, а нас разъединила. Значит, кто-то из нас не хочет искать из нее выхода.

Они уже подходили к заводу, осталось только миновать улицу, но тут из-за угла показался троллейбус, и они остановились.

— Врачами займусь я,—заговорил Егор, провожая взглядом троллейбус и вспоминая Таллин, узкие улочки Вышгорода, где вот такую махину — троллейбус — никак не втиснешь. В Таллине я познакомился с врачом. Она лечит заикание по новому методу, внушением.— Он взглянул на жену, та глядела поверх троллейбуса, на заводские окна второго этажа.— Это что-то похожее на гипноз, а может, и гипноз на самом деле, я толком не понял. Вылечивают в один момент. Этот метод так и называется — одномоментный.

— Чего теперь сделаешь, почти взрослая она. Вот если бы раньше, дети податливее на лечение. Эх, Иринка...— И Варя решительно направилась через улицу, позади троллейбуса, еще не успевшего повернуть.

— А я все-таки попробую, свожу ее.

— Своди, тебе не привыкать ездить...



Егор взглядом проводил жену, пока она не скрылась в дверях проходной, и тут догадка осенила его: Варя сердится на него, и сердится, может быть, не только и не столько из-за дочери, сколько из-за того, что проездил и без него главным технологом назначили эту бездарь Неустроева, а ей хотелось бы, чтобы ее муж ходил в больших начальниках. Что ж, она права, он получше Неустроева подготовлен для той работы, нечего стыдиться, признавая это, и стал бы работать не хуже, а получше его. Но ведь у него есть свое, кровное, свой угол, свои друзья, талантливые ребята. Что еще ему надо?

А ей-то что надо, ей-то? В свое время она так гордилась, что он у нее изобретатель. Вот хотя бы в прошлом году... Они с Иваном получили по малой медали ВДНХ за свой прибор, по малой, но все-таки золотой. Варя, помнится, нацепила его медаль и целый день не снимала.

## 21

Сторонний мог бы подумать, что за столом сидели игроки. В середине — Егор в темно-синем халате, какие принято носить в лаборатории. Сидел он, откинувшись на спинку стула и держа перед собой листки с чертежами. Со стороны могло показаться, что он прячет их от соседей, сидящих справа и слева. На лице его такое выражение — лоб наморщен, глаза прихмурены, рот упрямо сжат — какое бывает у игрока, решающегося на большую ставку.

По левую руку от него — Иван Летов. Он чуть-чуть склонил голову в сторону от Егора, как бы желая даже позой своей показывать заинтересованность в том, что содержат листки соседа. Листки же Ивана лежали на столе. Голубые глаза его, и без того маленькие, теперь почти совсем не видны были, они как бы потерялись в хитроватом загадочном прищуре, какой был свойствен Летову, и только ему. Третий, Эдгар Фофанов, или по-цеховому Эдгар По, с длинным смуглым лицом и большим носом, сидел со скучающим выражением. Ни перед ним, ни в руках его не было ни одной бумажки. Казалось, он уже делал ставку, и неудачно и теперь разыгрывает лишь равнодушные к удачам или неудачам своих партнеров. В отличие от Егора и Ивана, в нагрудных карманах которых торчали измерительные инструменты (у Егора — штангенциркуль, у Ивана — масштабная

линейка; они еще верны были цеховым привычкам), у Эдгара карман оттягивал микроприемник, сконструированный им самим. Приемник нет-нет да пошумливал легонько и тогда с лица Эдгара сходило скучающее выражение и оно чуть оживлялось.

На листках у Егора были набросаны способы крепления концевых мер — измерительных контактов нового прибора. Одни решения были более или менее удачны, другие еще совсем сырые. На листках Ивана были изображены свои решения, летовские. «А ведь я почти подошел к концевым мерам», — сказал Иван, когда в прошлый раз Егор рассказал о пришедшей ему в голову догадке использовать в новом приборе концевые меры. Но и Егор и Иван — оба они знали, что это лишь начало, что впереди главная забота — поиск решений с многими неизвестными.

Егор был скор на идеи, это все знали, Иван был скор в конструировании. И вообще он удачливый, этот Летов. Вот кто родился в сорочке. Егор помнил его еще с тех пор, когда Иван пришел на завод после ремесленного: длиннющий, худющий, но никто быстрее его не собирал индикаторы, никто не делал это вслепую, как делал он. Потом он ушел в армию, слал на завод письма из родной танковой части. Недолго был водителем машины, перевели в ремонтную мастерскую, а потом в экспериментальную лабораторию.

Егор помнил, как Летов вернулся из армии и пришел к нему в индикаторный цех. Он был находкой — опытных индикаторщиков было не так-то много, а он вот сам прямо шел в руки. Конечно, стал уговаривать. «Я-то согласен, вот хоть сейчас, — говорил Иван, — да загвоздка одна есть...» — «Какая еще загвоздка? — возмутился Егор, в то время заместитель начальника цеха. — В отделе кадров в один миг уладим». — «Да ведь еще есть отдел кадров. Жену из Сибири привез, Женечку. Без квартиры, сами знаете. На «Металлисте» обещают». — «Очумел! Что будешь там делать? Они же выпускают деревообделочные станки. Как ты на них можешь променять индикаторы? У тебя ведь глаз и руки часовщика». Иван не променял, да и не мог променять. И гляди, каким скорым и удачливым он стал. У Ивана державка лучше, Егор это видел, но ему трудно было расстаться с тем, что выносил сам, и он все еще медлил с принятием окончательного решения. Находка Ивана была выгоднее еще и по-

тому, что он брал детали из других приборов, а это куда легче, чем создавать технологию изготовления новых. В качестве станины для аппарата Иван уже предложил каретку от микроскопа — тоже удачное решение и выгодное, а в рабочий механизм у него легко лег диск от шлифовального станка. Эдгар, большой дока в электрических и электронных схемах, как «основную энергетическую установку» предложил моторчик от подольской швейной машины.

Так мысль Егора, пришедшая к нему в короткие минуты его завтрака в кафе Кадриорга, обросла железной плотью, правда, пока что в чертежах и в деталях, выхваченных из других систем и весьма целесообразных сочетаний уже работающих механизмов.

— Что ж,— Егор бросил свои бумажки на стол,— примем предложения Ивана и начнем разработку?

Эдгар мотнул головой, а Иван, не сказав ничего, поднялся из-за стола, оставив на нем свои бумажки. Он не ждал, не мог ждать другого решения, потому что считал свои наметки пока что единственно правильными, но все же волновался, пока Егор раздумывал.

— Чертежи сделаю,— сказал Иван, чуть постояв.— Скажи Яшке, чтобы помог.

— Пусть эту неделю он работает с тобой,— согласился Егор.

Надо бы радоваться тому, что они вот уже подошли к первым рабочим чертежам прибора, но Егор почему-то не радовался. Прибор казался ему незаконченным. Почему, он и сам этого еще не знал.

## 22

Нина не собиралась встречать Гуртового и с утра уехала на улицу Харидусе, где в больнице должна была консультировать больных. Поначалу прием шел спокойно, Нина с дотошностью осматривала, исследовала больных, обстоятельно с ними беседовала. Она уже перестала удивляться тому, как люди без смущения доверяют ей свои секреты, и не только те, что были связаны с болезнью, но и те, в которые, будь они верующими, посвящали бы только служителей бога. Поначалу она пугалась таких откровенных бесед с больными, чувствовала себя неловко. Теперь же всякий новый штрих помогал ей понять болезнь, найти путь к ее лечению.

Принимая уже третьего или четвертого пациента, она почувствовала, что волнуется, — ожидание встречи с мужем вначале лишь отвлекало, потом захватило ее всю. Благо, что больных было немного, и она скоро освоилась.

Едва она успела выйти из автобуса у церкви Нигулисте, чтобы пересесть на другой и ехать в рыбный порт, как крупные капли дождя звонко ударили по крутым крышам, зашелестели в липах. Мгновенный стук и шорох прошли по Таллину, будто из низко летящих по небу облаков кто-то сыпанул на город сухим горохом. Капли выпяtnали тротуар, расплылись на серой, отполированной временем брусчатке мостовой. В мгновенной тишине, которую Нина не услышала, а как бы почувствовала всю сразу, сгустились настороженность и ожидание. Она оглянулась на Старого Тоомаса и увидела, как он в эту секунду браво повернулся, загребая воздух далеко отставленной ногой.

Нине показалось, что она услышала, как тоскливо и жалостливо заскрипели его старые доспехи. И не успела она ни о чем подумать — ни о муже, корабль которого торопилась сейчас встретить, ни о том, полузабытом, Егоре Канунникове, которому рассказывала о флюгерах, ни о матери, которая в это утро, должно быть, выехала из Таганрога, ни о Старом Тоомасе, который стал уже непременным спутником ее жизни, как над городом пронесся сильный, но мягкий шум и хлынул дождь, густой и торопливый.

«Недотепа, — укорила Нина себя за то, что никак не привыкнет к здешней неустойчивой погоде, обманулась утренним ярким солнцем и не захватила плащ. — Если я усвою, что два часа вёдро в неделю — это уже хорошая погода, то буду считать, что прошла адаптация. А так...»

Но она ошиблась — от Нигулисте автобус в рыбный порт не шел, надо было добраться до «Паласа» или Центральной площади. Хотя до последнего было ближе, она все-таки пошла к «Паласу», чтобы оттуда позвонить в свою поликлинику и попросить доктора Илуса поменять ее. Пока она шла до «Паласа», промокла до последней ниточки. Конечно, она могла бы быстро пробежать это расстояние, не столь уж большое, но в этом городе от дождя не бегают, это-то она все-таки смогла усвоить. И оттого, что она усвоила это, теперь стояла и дрожала в стеклянном холодном подъезде далеко-далеко от рыбного порта.

Она не понимала, почему ей вдруг стало зябко, не от дождя же, в самом деле. Дождь намочил одежду, но не успел, не мог успеть остудить тело. Дрожь была внутренняя, глубокая, и удержать ее было невозможно. Нина вспомнила, что такая же дрожь была ее утром. Она почувствовала ее, едва проснувшись, во всем обвинила открытое окно: на Мустамяэ по утрам всегда прохладно. Она сразу же подумала, не случилось ли что с Гуртовым, с его красавицей плавбазой, и тут же позвонила в порт. Ее успокоили: с Гуртовым никогда ничего не случалось и не случится. Он удачливый. Его посудины топают, как часы. Это нелепое «топает, как часы» успокоило ее, и она посмеялась над своим недавним испугом. А теперь вот та же самая дрожь предчувствия. Человек жалок и беспомощен перед ней.

Доктор Илус согласился ее подменить, и Нина с облегчением покинула телефонную кабину.

Нина повернулась, чтобы идти, и тут увидела себя в зеркале. К широкому лбу прилипла челка темно-рыжих волос, еще минуту назад жесткие волосы ее красивыми валиками лежали, прирученные парикмахером, теперь же они висели прямыми прядками, как после купания без резиновой шапочки; ее платье, чудесное красное платье, которое она так редко надевала, обтягивало ее грудь, плечи, бедра — она за эти немногие минуты будто выросла из него.

«Нескладная же, — мелькнула мысль, на секунду отгоняя бьющуюся, как нерв, тревогу, — а-а, какая есть, такая и есть».

— Вы мне не одолжите зонтик? — подошла она к женщине за стеклянной загородкой конторки. — Возьмите залог, — и, чувствуя себя неловко, протянула женщине десятку.

Женщина с белыми волосами и бесстрастным лицом, это была та самая, которая когда-то направила Егора Канунникова на улицу Лидии Койдулы для проживания, обернувшись назад и чуть склонившись вправо, взяла из угла зонт и подала Нине:

— А залог не надо. Принесете послезавтра.

— Как же...

— Я вас знаю, доктор. Вы лечите мою подругу.

— Ну, спасибо. Понимаете, спешу в рыбный порт. Плавбаза приходит, и мой муж...

— Поздравляю. О плавбазе слышала. Передавали в

последних известиях.— Женщина говорила по-русски с мягким эстонским акцентом, и речь ее была приятна Нине. Да и женщина была приятна, хотя в лице ее, во всей ее фигуре и в ее стеклянной камерке чувствовалась холодноватость.

Внешние впечатления часто бывают обманчивы.

С вышгородского холма неслись потоки воды, устремляясь к морю. Здесь все стремилось к морю, все жило им. Вот и она, Нина...

Стены и башни города проступали сквозь дождь, как напоминание о прочности жизни, а мокрые камни гранита под ногами были скользки и предостерегали от поспешных шагов, торопливости, обманчивой прочности. Железные шпильки каблучков чиркали по асфальту. Когда Нина переходила улицу, поток захлестнул ноги чуть ли не до колен. Вода резанула по икрам холодом.

Она не подумала о том, что пропали туфли, которые очень любила. Черные, лаковые, они красиво сидели на ноге и были удобны. Холод воды все еще чувствовался на икрах, но она не подумала обтереть их.

Она села в автобус. Внутренняя дрожь не проходила, Нина перестала лишь обращать внимание на то, как все внутри ее сжималось. Теперь это было как бы с ней и не с ней, она могла замечать это, но могла и не замечать. Что-то иное владело ею, и оно было такое сильное, что сильнее его нет ничего на свете. А может быть, та дрожь всего-навсего другая сторона того же самого состояния?

Она знала, что это бывает в минуты ужасающего страха и еще в минуты безотчетной, ни с чем не сравнимой любви к человеку, который весь в тебе, как и ты в нем. Любовь, как и страх, захватывает тебя всего, и одинаково теряют голову как в любви, так и в страхе. А если они еще вместе...

И почему именно в это утро она так волнуется за Гуртового? Если с ним ничего не случилось в безбрежной Атлантике, то что может случиться в этой маленькой воде, называемой Балтийским морем? А может, ничего и не случилось? «С Гуртовым ничего не случается». Но ведь предчувствия, она помнила, ее не обманывали.

А может, она все это придумала? Придумывают же себе друзей, врагов, а потом видят, что друзья — вовсе не друзья, а враги даже и не подумали сделать что-нибудь

скверное. А вот она придумала себя со своими вечными волнениями.

«Ах ты, горюшко мое, Нина, да не придумала ты себя. Как можно себя придумать? Ты просто такая и есть. Просто немножко ненормальная, как все нормальные люди».

Она пыталась идти спокойно, старательно пыталась думать обо всем, о чем угодно, только бы забыть об этой проклятой дрожи. Страх это или любовь?

«Все вместе,— подумала она,— и страх и любовь. Почему не может быть так?»

Автобус остановился, двери его распахнулись, и Нина вдруг почувствовала в дожде соленый и горький привкус: близкое уже море победило пресноту, заявило о себе милыми и крепкими запахами.

Не заметила, когда прошла дрожь, может, тогда, когда она почувствовала близость моря. Море всегда возвращало ей себя. Перед ним она могла быть только сама собой, и больше никем. Перед ним не лгут. Лгуны, переоценившие свои силы,— сколько их поглотило море? Впрочем, она не лгала не только морю. Она не лгала никому. Не лгала и себе. Иной раз только что-нибудь придумывала.

Глядящий правде в глаза — самый сильный. Да, но почему она так ослабла в это утро? Почему так волнуется? Слава богу, хоть дрожь-то прошла. А может, неизвестность испугала ее? С тех пор как вышел в обратный рейс корабль, не говорила с Гуртовым, и ей кажется, что он исчез куда-то? Боится взглянуть в лицо неизвестности? Но разве есть у неизвестности лицо?

Ворота рыбного порта были открыты — по железным поржавевшим прутьям текли струи воды.

Море она увидела сразу, как только вышла из-за угла серого приземистого здания. Под дождем море казалось белым. Нина еще никогда не видела его таким. Оно могло быть таким только в гневе, но оно сейчас вовсе не гневало, а лежало притихшее, покорно подставив свою спину дождю. Эта покорность моря почему-то обострила чувство настороженности.

«Может, он волнуется, как и я, и это я чувствую на расстоянии?» — подумала она уже не о море, а о Гуртовом.

У пирса темнело несколько фигур в плащах и капюшонах. Нина подошла, сказала:

— Тере...

— Тере, тере,— раздалось в ответ.

Никто не оглянулся, все молча смотрели в белое море.

— Что с плавбазой? — спросила она, затаив дыхание и усмотрев в молчании людей тревогу.

— А что,— сказала соседка, откинув капюшон и взглянув на нес: Нина увидела, как по немолодому уже лицу скользнули струйки воды с капюшона.— Говорят, уже бросила якорь на рейде. Да разве разглядишь через этот проклятуший ливень?

— Ребята и города не увидели, а поди, как хотелось,— в грубоватом мужском голосе слышалась нежность.

И вдруг над морем, над мокрым темным берегом разнесся призывно-торжественный вой сирены. Могучие звуки рвались сквозь дождь, неслись над берегом, улетали в город и глохли. И опять дрожь на мгновение сковала Нину; она знала — это Гуртовой приветствовал ее.

Где-то рядом послышалось туркание двигателя, Нина бросилась вдоль пирса, увидела у причала катер, вбежала на трап.

— Куда? — кто-то нестрого спросил из дождя.

— К Гуртовому, на плавбазу.

— Как раз идем туда... Отдать концы!

Сложив зонт, по скользким мокрым ступеням Нина спустилась в кубрик. На палубе над головой слышалось топание, возня, должно быть, сматывали канат. В кубрике за столиком, привинченным к стене, парень и девушка играли в карты. Девушка то и дело журила парня, парень отшучивался. Нина по привычке вслушалась в их речь — парень и девушка говорили по-эстонски с завидным произношением, и тогда она постаралась хоть что-то понять из их разговора. Девушка укоряла, что он ловчит и потому выигрывает, а он отшучивался: и ничего он не ловчит, это она о чем-то другом думает и вовсе не видит карт. Какое-то время они играли в согласии и поглядывали друг на друга с тем особым блеском в глазах, который выдает неравнодушие, но вскоре опять начинался тот же пустой, по смыслу, разговор, окрашенный удивительно переменчивыми и многозначительными интонациями, которые говорили больше, чем слова. Нине все это было странно слышать и видеть. Все это было глупо в минуту, когда пришла из Атлантики знаменитая плавбаза, пришел ее Гуртовой, рыбак и моряк, ее муж.



За иллюминатором бело от дождя и моря. Туркал двигатель, дрожал под ногами пол. Но вот стихло топание на палубе.

Отвернувшись от иллюминатора, Нина взглянула на играющих в карты. Они спорили все о том же.

«Любовь,— подумала Нина,— и тут любовь. Только какая-то глупенькая. А бывает ли умная любовь? Наверно, бывает. У стариков...»

Уже без неприязни взглянув на юную влюбленную пару, Нина повернулась и вышла из кубрика, поднялась по короткому трапу на палубу. В лицо ударил дождь вперемешку с морскими брызгами, и прямо по курсу вырос размытый силуэт громадного корабля.

И еще раз, сотрясая и небо, и море, и маленький катер на нем, призывно-торжественно заревела сирена.

23

— Эй, кто за бортом?

Голос раздался сверху, из дождя. Нина, задрав голову, смотрела туда, где кончалась высоченная стена,— борт корабля,— края ее не было видно за дождем и туманом, казалось, корабль все вырастал и вырастал перед ней из моря и, должно быть, скоро вырастет до самых облаков.

— К Гуртовому!

Змеисто скользнул сверху веревочный шторм-трап и закачался перед глазами. Нина удивилась — бросили прямо на нее.

— Ну как, можете взобраться? — спросил парень в большой морской фуражке с крабом, стоящий рядом с Ниной, широко расставив ноги. Нина, вцепившись в будку, едва держалась на ногах. — Или сетку бросить?

— Сетка... конечно, лучше. Но я попробую так...

— Жена капитана... еще бы сетку,— морячок то ли иронически, то ли пренебрежительно поглядел на нее. Морячок посоветовал ей привязать зонт к лесенке, потом его поднимут, и усмехнулся:

— А взбирайтесь вот так,— сказал он и, ухватившись за веревочные переплеты, кошкой стал карабкаться наверх. Нина только его и видела, перед глазами лишь трепыхался, плясал конец трапа. Вот пляска кончилась, голос сверху подтолкнул ее, и она ухватилась за мокрые жесткие веревки.

— Встаньте на ступеньку твердо, потом переставляйте другую ногу,— наставлял сверху морячок.— Ноги-руки устанут, отдохните, разболтает крепко, выждите, когда шторм-трап успокоится. Все понятно?

— Понятно,— крикнула в ответ Нина.

— Долго трап не держите, мне скоро спускаться. Вниз не глядите...

Нину уже раздражал словоохотливый иронический морячок, и она со злостью ступила на первую перилетину.

«Дура, туфли не сняла,— обругала она себя,— как тут с каблуками».

Она мотнула одной ногой, потом освободила другую и тоже мотнула. Туфли со стуком упали на палубу.

Смоет в море? Ну и черт с ними, все равно пропали...

«Не глядеть вниз»,— вспомнила она наставление иронического морячка. Раз за разом она переставляла ноги, шторм-трап качался, руки скользили по мокрым веревкам, высоко-высоко в небе плавала линия борта. Корабль был таким большим, что эта линия казалась горизонтом, выгнутым в обратную сторону. Дождь бил по лицу, тек по губам. Нина слизывала воду, глотала. Дождь мешал глядеть, ресницы набрякли, потяжелели. Она стала смотреть перед собой. Белый выпуклый бок корабля повсе не был белым — он был исцарапан, облезл, кое-где на сварных швах бурел ржавчиной. Досталось бедному в штормах и льдах. Она хотела дотянуться до борта, погладить — таким близким показался ей корабль в эту минуту, но дотянуться не могла, лишь потеряла равновесие и взглянула вниз.

Она висела над пропастью. Волны бились о борт, разлетались брызгами. Море кипело и злилось, будто меж вилунами, там, на Раннамыйза. Там оно так же кипело и полилось холодной злобой, бессильное с наката бросить свои волны на вызывающе зеленый берег, заросший лесом, травой, земляникой, не подвластный морской стихии. Оно злилось на обломки скал, вставших на пути волн. Здесь оно злилось на корабль Гуртоно, ставший на их пути.

Закружилась голова. Нина закрыла глаза, прислонилась лбом к холодным и мокрым веревкам.

«Гибнут из-за любви и глупости одинаково часто, важно быть»,— подумала она как о чем-то посторон-

нем, будто не о себе, и открыла глаза. Страх высоты прошел, и она снова раз за разом стала переставлять ноги по трапу, все вверх и вверх. Дальше пошло легче: ноги сами по себе, на ощупь находили ступеньку, если можно назвать ступенькой хлипкую пеньковую переплетину, руки уже не скользили, как бы прикипали ладонями к твердым мокрым веревкам, только зудели и горели ладони. Вот и борт совсем близко перед глазами, и через несколько шагов, если можно назвать шагами это обезьянье карабканье по шторм-трапу, удастся коснуться борта рукой, но она не протянула руки и не коснулась обшивки. Она вдруг вспомнила, что где-то внизу болтается чужой зонтик, а может, уже не болтается, а утонул, потому что она небрежно его привязала. Что она скажет потом той женщине, которая была так добра к ней и которая все понимает и видит насквозь? Что значит вечное общение с людьми...

И пока добиралась до верха, и пока ее не подхватили чьи-то руки, и пока она, ступая на последнюю ступеньку, не зашибла ногу, она не переставала думать о зонтике, который болтался где-то внизу, а может быть, уже и вовсе не болтался, и о той женщине с белыми волосами за своей стеклянной загородкой.

Кто-то подхватил ее и прямо-таки перенес через борт и поставил на палубу. Ей показалось поначалу, что это руки Гуртового, такие сильные и осторожно-нежные. Она оглянулась и увидела того словоохотливого морячка, доставившего ее сюда на своем потрепанном катере. А он, поставив ее на палубу, по-девчоночьи босую, что-то сказал стоящим рядом ребятам по-эстонски, она поняла, что сказал он что-то о Гуртовом, ребята засмеялись, но она, чтобы остановить их разговор в том же духе, по-эстонски бросила «спасибо» и попросила проводить ее к Гуртовому. Ребята переглянулись, один из них пошел за ней вдоль борта, а морячок с катера смущенно поглядел ей вслед, ударил себя ладошкой по мокрой мичманке и перевалился через борт, по-обезьяньи ловко хватаясь за шторм-трап.

Нина шла по холодной палубе, подгибая покрасневшие пальцы. Впереди нее шел матрос бравой походкой бывалого морского волка. Они спустились по трапу, теперь уже железному, с шероховатыми ступенями. Ступени были теплые, ноги это сразу ощутили.

«Да,— вспомнила она,— раз они говорили о Гуртовом,

значит, он жив и все в порядке. Почему я забыла обрадоваться? Переживала все утро, а тут? Или потому, что он не встретил, у меня все остыло? Откуда же ему знать, что я тут?»

Но когда они, пройдя длинные коридоры, мимо многих одинаковых — узких, фанерованных дубом — дверей, оказались перед последней дверью, широкой, темно-коричневой, с ребристым рисунком красного дерева, силы едва не оставили ее. А когда матрос открыл дверь, пропустил ее и, войдя, вытянулся и что-то доложил о ней, она повернулась, увидела Гуртового, качнулась, решив, что это корабль качнулся, а не она, и оттолкнула чью-то угодливую руку.

— О, господи! — сказала она, когда Гуртовой взяла ее на руки. — Ты жив?

— О, господи! — передразнил он, смеясь.

— Я волнуюсь все утро. Чуть с ума не сошла от разных предчувствий. Что-нибудь произошло?

— Да что могло произойти! — возмущился он. — Что ты выдумываешь, старуха?

Нина отметила, как руки его, его сильные, осторожные и нежные руки, дрогнули. Значит, он волнуется?

— Ладно, отпусти меня, — попросила она. — Скажи, чтобы подобрали зонтик и туфли.

— Зонтик и туфли?

— Да. Зонтик я привязала к шторм-трапу, или как он у вас называется, а туфли скинула на палубу катера.

— По шторм-трапу? Ты с ума сошла?

Он ногой открыл дверь, внес ее в каюту, большую и темную от высоких панелей красного дерева, опустил на диван. Каюту качало. Маленькая лампочка на дальней стене то уплывала вдаль, то приближалась. Никогда на корабле не почувствуешь себя твердо, как на земле...

— Я замерзла, укрой потеплее.

Он сел на диван, склонился над ней. Ее губы не отозвались на его поцелуй — они были мокрые, холодные и вялые. Он встал быстрее, чем могло быть в эту минуту. Сказал раздраженно:

— Распоряжусь насчет твоих туфель и зонтика.

— Да, зонтик не мой. Его надо обязательно найти. Понял?

— Да...

Он вышел. Дверь осталась неприкрытой, и она слышала, как он давал распоряжение срочно доставить

зонтик и туфли и кого-то отчитывал за шторм-трап и за то, что ему не доложили о Нине. Она хотела было встать и попросить его, чтобы он никому не выговаривал за нее, но его голос уже затих. Вот дверь открылась, и Гуртовой вошел в каюту. Она видела только его силуэт, лампочка была позади него, и тут он совсем заслонил свет.

— Включи верхний свет,— попросила она, вставая.

Но он не включил свет. Он снова взял ее на руки и стал целовать лицо, глаза, шею. Задыхаясь, проговорил:

— Ты вся мокрая. Сними платье.

— Уйди, я разденусь.

Он ушел куда-то, но вскоре вернулся.

Она лежала, закутавшись до подбородка, и зубы у нее стучали. Он бросился к ней, стал целовать.

— Миша, посиди со мной. Ну, будь милым. Дай мне привыкнуть к тебе. Отпусти меня. Как ты плавал? Было интересно? Какой длинный был месяц.

Он отпустил ее, тяжело дыша, насупился, сел на край.

— Будь умницей.

Он качнулся над ней, притянул к себе ее голову, ее волосы прилипли к его лицу.

— Да ты мокрая вся...

— Дождь льет... Просто наказание. Так как ты плавал?

— А, ничего интересного. Чертов день без начала и конца. Так надоело.

— Не заходили никуда? Как там живут на Севере?

— Как же, заходили,— ответил он, тяготясь разговором, никчемным и не нужным ни ему, ни ей, конечно. Эту странность Нины — отвыкла, дай привыкнуть — он заметил в первый же год их жизни, и она не пришлась ему по душе. Он и тогда увидел за ней что-то другое, хотя и не знал что, а с годами стал все с большей подозрительностью относиться к ее чудачеству: «Отвыкла, дай привыкнуть»... Он не позволял себе подумать, что она могла быть с кем-то другим, просто он не допускал, что она может предпочесть его кому-то другому, но все равно эти ее отговорки всегда бесили его, и вместе с тем разжигали любопытство, страсть нового открытия.

Она подсознательно хотела, чтобы он спросил ее о чем-нибудь, спросил о детях, ну, хотя бы о сыне, о ней самой, о том, как ей тут без него жилось, о чем думалось,

но тут же решила, что спрашивать ему в сущности не о чем, они же говорили по радио чуть ли не каждый день. Она ничего не приберегла к его приезду, никаких новостей. Разве что скорый приезд матери... Хотя она могла бы рассказать ему об одном податливом на лечение эстонском мальчике, знающем русский язык, но ей вдруг стыдно стало, что она подумала о нем в постели. Как она может о нем говорить? Но ей все-таки хотелось говорить, слышать голос мужа, знать подробности его жизни и поведать о своих. Но почему она так скована при первых встречах с ним? Все в ней настораживается против чего-то, не открытого в нем. Она знала, что привыкнет к нему и неприятие это пройдет, и она уже хотела, чтобы оно скорее прошло, потому что ждала, когда придет не сравнимое ни с чем новое ощущение жизни и такая переполненность ее радостью, когда хочется крикнуть: я самая счастливая на свете...

Она уже не первой молодости женщина, она это знала, второй раз замужем, у нее трое детей, она видела в жизни много, много понимала, но не могла бы объяснить, как это все случается с ней, когда она и сама себе кажется счастливой, и такая любовь к мужу охватывала ее, что, не задумываясь, слилась бы с ним, не охнув за свое «я».

Если бы она могла заставить себя привыкнуть к нему в любую минуту, она бы сделала это сейчас. Но странно, что она не могла привыкнуть по своей воле. Тот волшебный миг забытья приходил сам собой, и она не могла ничего изменить.

Гуртовой обнял ее и стал опять целовать, но она остановила его:

— Миша, у тебя корабль... Тебе надо разгружаться. Что будут делать люди без тебя?

Он понял это как ее уступку.

Она била его в грудь, но он был неумолим, и ничто уже не в силах было остановить его.

Потом Нина долго лежала, не шевелясь, не двигая ни рукой, ни ногой. Где-то слышались шаги мужа, его голос, дававший краткие распоряжения, а она лежала, не в силах думать ни о чем, ни о себе, ни о ком другом в мире. Странное состояние ожидания, лишившее ее сил, прошло, и она, засыпая, как бы потихоньку уходила в мир, полный любви. Это была любовь к нему, Михаилу, и ничто не могло сравниться с ней, даже любовь к детям.

Проснувшись, она сразу услышала его шаги, а потом голос.

— Старуха, я включу свет?

— Включи,— сказала она, и это нескладное слово с тремя согласными подряд и с «ч» прозвучало у нее глубоко и нежно.

Дневной свет моргнул неуверенно и вдруг полыхнул ослепительным неживым блеском. Она увидела на столе зонтик и туфлю.

— Другую смыло в море,— сказал он и добавил: — Не жалея, я тебе привез новые. Мы ведь заходили в Гавр...

— Выбрось и вторую,— попросила она,— а то ваш строгий бог Нептун потребует меня к себе и тогда только вернет пропажу.

— Не сочиняй,— сказал он, подходя к кровати.

— Выбрось, прошу...

Он суеверно взглянул на нее, подошел к стене, открыл иллюминатор, взял со стола туфлю, выбросил и старательно завинтил иллюминатор.

— Ну вот,— сказала она, окончательно приходя в себя,— теперь хорошо.

Гуртовой сел к ней на диван. Пуговицы синевато блестели в мертвом свете дневных ламп. Он провел рукой по ее ногам, погладил коленки. Она ждала нового чуда, вся замерев под его рукой. Но чудо не пришло, его убил голос мужа:

— Старуха,— удивился он,— у тебя грязные ноги. Ступай в ванную. Такая вода — из самой Франции.

И если бы не этот дневной свет, превращающий все живое в мертвое, Гуртовой заметил бы, как тело ее охватило огнем стыда и всю ее — физической болью и нравственным страданием. Оба слышали, как ударила волна в борт и за обшивкой из красного дерева что-то тоненько застонало. Но для обоих это прозвучало по-разному: Гуртовой в который раз уловил непрочность шва в железной обшивке корпуса, Нина услышала, как с этим жалким стоном ушло чудо мира, чудо из чудес, мудрое и великое, как сама жизнь.

Егор вышел от главного инженера, с которым согласовывал план очередных работ лаборатории, перебросился несколькими словами с донной Анной, отметив у нее новую

прическу валиком, постоял у запыленного телетайпа, какая-то мысль забеспокоила его, но не прояснилась. Скорее это была еще не мысль, а ощущение, не оформившееся в мысль, и тут увидел, как дверь директорского кабинета открылась и в приемную вышла Варя. Она была в черном, закрытом на груди платье, желтая ниточка интаря выделялась на нем отчетливо.

И вдруг Егор заметил, как покраснела донна Анна, как лицо Вари также окатило огнем, и сам он почувствовал, что краснеет, не зная почему.

Варя прошла мимо донны Анны, не взглянув на нее, остановилась перед мужем.

— Пришел или уходишь?

— Ухожу. Был у Мелентьева.

Пропустил ее вперед себя и подумал, что всегда Варя почему-то чувствует себя не в своей тарелке, когда встречается с Романом. Не привыкнет к его положению директора? Когда Роман и Егор работали вместе в цехе, вроде все было попроще.

— Знаешь, зачем он меня вызывал?

— Не знаю.

— Просил набраковать... хороших деталей. Что за подвох? Если разбраковка, понятно — план подтянуть, а тут?

Егор засмеялся: значит, вспомнил Роман об эстонцах! И рассказал, что к чему.

— Неужто они сами ничего придумать не могут?

— Как же, придумывают: разбирают на запчасти новенькие приборы.

Егор и Варя спустились по лестнице на заводской двор.

Помолчав, Варя согласилась:

— Если уж для твоих эстонцев...

— Для моих так для моих...

Они разошлись: Варя к себе в подвал, Егор проводил ее взглядом. Вот она остановилась и, обернувшись, крикнула ему:

— Зайди за Славкой, меня завалили работой.

— Зайду.— И отметил, будто впервые, что походка у жены легкая и ноги красивые. На дворе, как всегда, полоскались под ветром тополя, и трепет их могучей листвы вновь напомнил ему море. И тут он пожалел, что, запершись в этом вот маленьком здании, похожем на домик Эйнара, он никогда уж не увидит ни моря у берега



Раннимыйза, ни Эйнара и его дачи, ни Нины Астафьевой с ее мятежной идеей помощи страждущим.

«Если хочешь приобрести, всегда что-то теряешь,— подумал он.— Неизбежно, как восход и заход солнца».

Он тихо шел по заводскому двору, ступая на гладкие голыши мостовой, глубоко задумавшись. Он только подумал о море, о далеком и чужом берегу, ставшем близким, и тут же пришла на ум донна Анна и Варя, вдруг обе покрасневшие, и телетайп... Стоп! Вот что его беспокоило, когда он смотрел на тот аппарат в приемной: электронная приставка к их прибору! Их прибор не замыкал в себе всего процесса измерения, он не выдавал данные. Человек, как и при пользовании многими измерительными инструментами, должен на «глазок» снимать показатель. Он, Егор, об этом уже думал, когда смотрел в «микроглаз» Варины концевые меры. Как же не сообразил сразу, что их прибору не хватает именно электронной приставки. Неужели никому и нигде еще не приходила в голову эта простая мысль?

Он заспешил в пагоду. Может, это где-то уже запатентовано? Неужели новый велосипед он несет своим ребятам и надеется удивить их?

Егор поднялся в верхний цех. У своего стола он застал Эдгара с телефонной трубкой возле уха.

Положив трубку, Эдгар невесело произнес:

— Поздравляю!

Смуглое угрюмое лицо его, лицо замкнутого человека, не располагающее к шуткам, было серьезным, но почему-то в лаборатории больше всего подшучивали именно над Эдгаром. Ребята то насуют в карманы его халата ржавых болтов, и он, весь день ощущая, как они мешают, так и не догадывается их выбросить; то вместо отверток и плоскогубцев напихают в его чемоданчик гаечных ключей, и Эдгар, обнаружив подмену, удивится тому, как он мог забрать чужой инструментарий.

— С чем ты нас поздравляешь?— Егор подумал, что кто-то опять подшутил над Эдгаром, и он принял за чистую монету, и уже готов был рассмеяться. Но Эдгар сказал серьезно:

— Завтра на «штурм Кенигсберга». Утритесь, мальчишки!

С чьей-то легкой замашки так прозвали авралы. Никто на заводе не знал, как это было там, при взятии Кенигсберга, но для людей слова уже потеряли свой

первоначальный смысл. Для них теперь они означали сверхурочные часы работы, сведенные усталостью спины, утомленные до предела глаза, беготню мастеров, ругань начальников участков: «Давай, давай!», запарку в ОТК, громы и молнии в отделе снабжения: «Где тара, где тара...» И над всем этим бессонная фигура Романа. Он сидит за своим столом, широко расставив локти и зажав лысеющую голову между ладонями, и, окончательно отупев от мелькающих перед его глазами цифр, в который раз читает очередную сводку.

Зато какие затаенно-радостные лица у всех толкачей, этих «надежных помощников прогресса», которые днюют и ночуют на заводе. Они и радоваться-то боятся в открытую, как бы не сглазить, и радость скрыть не могут: как же, наконец «выбили» драгоценные микрометры, индикаторы или штангенциркули.

Через минуту уже все население пагоды грудилось вокруг Егорова стола, и если судить по насупленным бровям и молчанию парней, особого энтузиазма идти на штурм они не выказывали. У каждого было свое месячное задание, а если еще и своя задумка, то тем более штурмовой энтузиазм был им ни к чему. И только дядюшка Аграфен слушал сообщение с явным интересом. Ждали, что скажет Егор, их начальник, руководитель и старший товарищ. А что Егор мог сказать? Было это не в первый и будет, наверно, не в последний раз. Он знал, что до конца месяца осталось пять дней, а план едва дотянул до двух своих третей, что одну треть, самую трудную и самую радостную, надо дотянуть за это короткое, совсем короткое время. Он, да и все знали, что выполнение плана, как бы оно ни было достигнуто, есть благо, а невыполнение, допущенное хотя и не по твоей вине, есть зло и твоя вина со всеми, как говорят, вытекающими отсюда последствиями. Он, да и все его люди знали, что, откажись они сейчас пойти на штурм в цехи, их обойдут премией и благодарностью.

А твоя задумка-милушка, не дававшая тебе месяцы, а может, и годы покоя, ничего пока что тебе не обещает ни сейчас, ни, может быть, в скором будущем.

Все стояли, не выражая энтузиазма, все знали обстановку на заводе, но все же ждали, что скажет Егор, хотя знали, что Егор ничего поломать не может, если бы он даже очень и очень захотел. Если о плане для себя они думали только сами, то о плане для них думали все:

и министерство, и Госплан, и потребители, и еще многие, многие.

Все считали примерно так, кроме Ивана Летова. Он был убежден, что каждый должен делать свое дело и нечего баловать цеховиков. Он, Иван, должен остаться у своего монтажного стола, ему во что бы то ни стало надо закончить первый вариант прибора, и непременно в эту неделю. Он тоже знал обстановку на заводе и знал о последствиях для себя участия или неучастия в штурме. Он знал, что сделает в цехе не меньше, а больше работающих там сборщиков, хотя и поотвык уже от индикаторов. Его друзья по пагоде — лучшие рабочие и мастера, и они, конечно, здорово выручили бы цеховиков. Но он все же был против того, чтобы они шли на штурм.

Люди знали обстановку и знали, что никто ничего поделывать не сможет, и потому все чувствовали себя неловко от общего молчания и ожидания. Кто-то бы сказал первое слово, тогда другое дело. Тогда каждый бы мог поддержать или словесно чуть покуражиться для виду. Соглашаться все равно бы пришлось, куда денешься. Впрочем, согласия-то никто вроде и не спрашивает. Все терзались, и только Иван Летов не терзался. У него не было никаких сомнений в том, что он думает единственно верно, и терзаться ему было нечего, и потому мысли его, сторонясь мелочности и суеты, шли в одном направлении: новый прибор, и все.

Иван задумался и не уловил, чему с таким облегчением засмеялись ребята. Но тут услышал слова Егора, который настойчиво просил Эдгара повторить то, что он сказал. Эдгар со своей обычной серьезностью удивился:

— И чего смеяться? Что я сказал? Ну, завод у нас один на всех, а дома у каждого жена и дети...

И тут уж не удержались ни Егор Иванович, ни Летов, а Яшка-слесаренок и его сверстники, те просто повалились на верстаки. Всем было весело оттого, что Эдгар по своей простоте душевной высказал все, что надо было высказать в эту минуту: ни прибавить, ни убавить. Не смеялся только сам Эдгар. Он недоуменно глядел то на парней, то на Егора Ивановича, в самом деле не понимая, почему все так настроены. А может, только казалось, что он недоумевал? Может, смеется-то он надо всеми, а не все над ним? Ведь никогда Эдгар не был в дураках, и всегда за ним оставалось последнее слово. Конечно же, он знал, что ребята смеются, чтобы скрыть

свое смущение из-за собственной робости и желания после драки выглянуть из-за чужой спины. А может, Егору просто казалось, что Эдгар так думает? Эдгара трудно разгадать...

— Ну, ладно,— сказал Канунников,— давайте не будем огорчаться...— Он замолчал. И в самом деле, что он скажет после Эдгара? Эдгар все сказал, и после его слов надо было лишь отдать распоряжения. Но Егор все-таки еще добавил: кому придет охота поработать тут после смены, не отговариваю. Сверхурочные улажу. Программу месяца с нас никто не снимет. Так что...

Егор говорил, бодрился, а сам чувствовал, как деревенеет язык, как непослушны губы, а всего его охватывала непреодолимая сковывающая усталость.

Один за другим покидали цех рабочие. Егор ждал, пока уйдут все, кроме Ивана и Эдгара. Он сидел за своим столом отсутствующий, провожая взглядом уходящих рабочих, своих друзей и сподвижников. Слева в углу, не разгибаясь, сидел Иван Летов. Странно, что затылок его уже не белел мальчишеской высокой стрижкой, как всегда, но вихор на макушке торчал все так же задиристо, только сейчас он не казался золотистым.

Из библиотеки вышел Эдгар. Егор услышал слабую музыку, оглянулся. Музыка была неприятно-раздражающей, и Егор поморщился, позвал Летова. Иван нехотя распрямился от своего монтажного стола, подошел и уселся рядом с Эдгаром, покосился на его нагрудный карман, и Эдгар выключил приемник. Егор заговорил, как бы мечтая вслух о таком приборе контроля, который, точно установив истину, сам сделал бы отчет и зафиксировал. У людей ведь разный опыт, разная нервная система, разное настроение в данный час, в данную минуту, и точность измерения уже зависит от всего этого, а не только от прибора. Сколько контролеров, столько может быть и результатов. Погрешность рассчитать можно, но весьма трудно обеспечить расчетно-допустимые параметры.

Иван и Эдгар поначалу слушали Канунникова с обыкновенным вниманием младших, но как только Егор стал подходить к концу своего объяснения, они оба как бы подались ближе к нему. Эдгар с его неизменно серьезным выражением лица, Иван — с выражением

ясности на лице, но оба вдруг поняли, что Егор открыл новое, додумался до такого, до чего они не додумались. При всей своей постоянной невозмутимости Эдгар повеселел, вроде расправился, а на лице Ивана стал проступать тот, только ему принадлежащий прищур, когда он с одобрением, радостью и завистью глядит на человека и никак не может удержаться от того, чтобы не сказать разом все, что думает.

Егор замолчал, оглядел лица друзей, скользнул взглядом по опустевшему цеху, увидел блеснувший на грани резца луч закатного солнца и чуть не вскрикнул от досады:

— Ребята, я забыл о сыне. Как же это, а? В садике мужик... Небось сердится.

— Как в сказке, на самом интересном...— пробурчал Эдгар с таким видом, будто безвозвратно терял надежду на великое открытие.

— Слушай, Егор Иванович, мотанем на моем дилижансе?— предложил Летов свой мотоцикл.

— Великая мысль! Эдгар нас подождет.

— Подожду,— согласился Эдгар с таким серьезным выражением, будто утраченная надежда на открытие вдруг снова засветила ему.— А я тем временем поужинаю.

— Приятного аппетита!— пожелал Егор и вышел вслед за Летовым.

Мотоцикл стоял неподалеку от проходной. Иван нажал дважды на педаль, завел мотор, кивнул Егору на коляску, тот уселся, и мотоцикл круто взял с места. Егор уцепился за дужку, отворачиваясь от бьющего по лицу ветра. И когда они проскочили узенькую Хлынку и вылетели на центральный проспект, Иван склонился к Канунникову, крикнул, перекрывая треск мотора:

— Значит, электронная приставка?

— Да!— ответил так же громко Егор, и в голосе его прозвучала радость: Иван понял его.— И фиксирующий аппарат.

— На ленте будут фиксироваться точки, соответствующие действительным отношениям.

— Да,— крикнул Егор.— Тут уж не смухлюешь. Прибор за руку схватит.

— Строгий!

— Строгий и справедливый.

Эти слова о будущем своем приборе, который суще-

ствовал пока что в их головах, звучали так, будто относились к их новому товарищу, уже живущему рядом с ними и делающему свое неподкупное честное дело. И хотя впереди еще ждали поиски, споры, неудачи и хотя еще никто не знал, что из того прибора выйдет, первое ощущение открытия было всегда радостным. Трезвость придет скоро, понудит во всем сомневаться, заставит рыться в журналах, книгах, патентах: «А не велосипед ли заново изобретаем?» Но сейчас... Летов шурился мудро и обнадеживающе, Егор уже не отворачивался от ветра, а с удовольствием подставлял ему лицо.

Мотоцикл развернулся у детского сада. Славка, игравший мячом под тополями, оглянулся на грохот, увидел отца, бросился вдоль штакетника к калитке. Он распахнул калитку и, восторженно глядя то на отца, то на мотоциклиста, в котором он узнал длинного дядю Ивана, то на мотоцикл, красный, как пожарная машина, в нерешительности остановился.

— Ну, что ты, давай сюда!— крикнул отец.

Славка, все еще не веря, осторожно стал приближаться к машине. Потом с размаху прыгнул к отцу на колени, так что коляска качнулась, точно люлька.

— Куда поедет?— одним вздохом спросил он.

— На завод!— одним выдохом ответил отец.

Он обнял сына, прижал к груди. Нет, все-таки каждый день дает человеку хотя бы крупицу радости...

Эдгар в свободную минуту с таким же увлечением разбирал заинтересовавшие его электронные схемы, с каким разыгрывают шахматисты любимые партии. Как шахматист, он видел в каждой схеме интереснейшие загадки, отгадать которые было для него и радостью, и наслаждением. Как только ушли Егор и Иван, он развернул на столе схему и мысленно пошел по ее виткам, коленам, прямым линиям. Не один, а может, десятки людей отдали им свои мысли. Они перепробовали, может быть, сотни вариантов, пока не нашли вот этот, оптимальный, к тому же самый красивый. Он так же великолепно выглядит, как индийская защита или гамбит Алехина.

Хотелось есть. Днем, в обед, он перекусил на ходу, выпив в буфете бутылку кефира. Ему сказали, что Канунников срочно требует его к себе, и завернутые женой в салфетку бутерброды, уложенные в чемоданчик рядом

с инструментами, так и остались нетронутыми. Как они сейчасгодились!

Эдгар, не отрываясь от схемы, раскрыл чемоданчик, нащупал рукой салфетку, стал осторожно ее разматывать. Вдруг что-то укололо руку, он отдернул ее, будто при электрическом ударе. Осторожно провел ладонью по салфетке, снова накололся. Что за чертовщина, он не брал с собой размочаленные экранированные провода, откуда эти колючки? Он заглянул в чемодан.

Что-то темное, похожее на щетку, лежало на салфетке. Он потрогал: ежик! Бутербродов и след простыл...

Ежик был живой: иголки шевелились...

Строгое лицо Эдгара стало жалким от обиды. Шалостями цеховых ребят он был сыт по горло, попервости злился, строил планы отмщения, но чем больше он злился, тем неотступнее были шалости ребят. Потом он понял, что где-то сплеховал и теперь ему уже не отвязаться от проказ, и перестал их замечать, на все смотрел сквозь пальцы. Но ежонка! Живого!

Он осторожно перекатил ежонка на ладонь, толстая кожа не чувствовала уколов, зачем-то подул на него, губы Эдгара вытянулись, как у ребенка, сосущего конфету. И тут увидел записку. «Эдгар, не сердись и не умирай с голоду: понимаешь, подвернулась штучка «Перцовки», а за закуской бежать далеко. Мы уляжем бутылочку на берегу Хлынки, закусим твоими бутербродами и добрым словом вспомняем тебя. Твои верные друзья по цеху».

Почерк был знакомый. Конечно, это писал слесарь Яшка Сазонов. Стервец, сам всего ничего, а тоже острит.

Но где они взяли ежонка?

— Сволочи! — выругался Эдгар. — Он же мог задохнуться в чемодане. Вот бесчеловечное семя! Вот...

У него не было слов, чтобы высказать свое возмущение. Окажись под боком слесаренок Яшка, Эдгар не посмотрел бы на его виртуозные руки, открутил бы, как крепёжные болты у списанного в расход станка. Уж он бы устроил ему выволочку... Уж он бы...

Вскоре Эдгар успокоился, жалея лишь о том, что буфет сейчас закрыт и негде достать для ежонка молока. Но и это скоро перестало его волновать. Он снова углубился в схему. Егор и Иван застали его за этим занятием, с ежонком на ладони. И когда Эдгар отвлекся от схемы

и взглянул на удивленные лица Егора и Ивана, заметил восторженный блеск Славкиных глаз, то не сразу понял, чему они удивляются и чем восторгаются. Вот ведь люди... Но когда на ладони увидел ежонка, все понял. Пожалел, что не догадался убрать, теперь опять зубо-скальство. «А,— махнул он про себя рукой,— черт с ними»,— и поднес ежонка к лицу и подул на него. Жесткие иголки чуть-чуть задвигались.

— Живой, живой!— закричал Славка.— Пап, я трогаю?

— Спроси дядю Эдгара.

— Погладь...— Лицо Эдгара было серьезным. Он протянул Славке руку с ежонком. Рука Славки будто огня коснулась: так быстро отдернул он ее.

— Вот сюда,— придя в себя, сказал Славка, сдернув с головы соломенную кепку и протягивая ее Эдгару.

Ежонок перекочевал с ладони Эдгара в Славкину кепку. Эдгар еще некоторое время чувствовал на ладони текучее тепло от ежонкова затаенного дыхания. Скоро тепло это растаяло, Эдгар с сожалением вздохнул.

— Где его взял?— спросил Иван, все еще удивляясь появлению ежонка в цехе. Вроде за Эдгаром не наблюдалась любовь к животным. Скрытный, черт...

— Где? А пошел я в нижний цех... Смотрю: катится через двор — и прямо к двери. Я открыл, ну он, не раздумывая, за мной...

Егор взглянул на Эдгара и понял, в какое трудное положение попал Эдгар, не умеющий врать. Чудак-человек, и придумать-то ничего как следует не умеет. Кто-нибудь, так и знай, подсунул ему, чтобы потешиться.

— Кормил?

— Как же. Все бутерброды слопал. Сыр пошехонский страсть как любит.— Лицо Эдгара было невозмутимым.

Егор позвонил жене в ОТК: не запаслась ли молоком?

— Славка у тебя?— догадалась Варя.— Долго парня не мучай. Принести бутылку?

— Сам приду.

Варя молчала.

— Что, устала?

— Устала,— сказала она потухшим голосом.— В глазах двоится, линия точности расползается, прыгает. Не знаю, что и делать.



Егор вскоре вернулся с бутылкой молока. Но сколько ни старались они все вчетвером накормить молоком ежонка, тот и не думал показывать свою мордочку — упрятал ее в иголках, и ни в какую.

— Не доверяет он нам, — грустно вздохнул Эдгар. — Экую колючку природа создала.

— Оставим человека в покое, — сказал Иван о ежонке. — Пусть принюхивается, привыкнет. Храбрец, в город припелся, — все еще удивлялся Иван, поверив неловким придумкам Эдгара.

Окна уже налились вечерней синевой, а у стола все еще сидели и вполголоса переговаривались Егор, Иван и Эдгар, один за другим ложились в стопку испещренные формулами, чертежами, схемами листки. Славка, занятый бросовым микрометром, который дал ему отец, измерял все, что можно, подряд, шипел, отдувался, то забывал следить за темным комочком в углу у плошки, то забывал о железяках и не отрывал взгляда от ежонка. И вдруг тишину цеха потряс восторженный крик:

— Пьет, ура!

Славка долго следил, как осторожно начал двигаться темный комочек в углу, как из-под иглол выпросталась остренькая мордочка и потянулась к молоку. И вдруг: «Пьет, ура!»

И ежонок мигом свернулся.

— Ах, Славка, Славка... Если бы ты знал, как трудно еще раз поверить тишине, довериться людям, — сказал Егор и, вспомнив о наказе жены не мучить ребенка, распорядился: — На сегодня все, — и, вздохнув, заметил: — С непривычки голова разболелась. Шибко ретиво заставляете вы меня думать.

— Мозги надо мять, как кожи, иначе засохнут, — сказал Иван. — А то заплывут жиром.

— На себе испытал?

— Вычитал у одного писателя, у Леонида Леонова.

— Ну, ну. — Эдгар помешкал. — Эх, если бы завтра не «штурм Кенигсберга»... — помолчал и, обнадеживаясь, попросил: — Позвонил бы ты, Егор, директору. Может, освободит нас от штурма.

— Позвоню, — пообещал Егор и остановил себя: — А как язык повернешь, Эдгар? Ведь завод-то твой, роднее дома тебе. Что скажу Роману? А Роман-то для себя это делает?

— Не для себя, что пустое пороть. Но все-таки авось проснется у него совесть. Совсем не даст работать. Это по-хозяйски?

Они шли вдвоем домой, старший и младший Канунниковы. Славка бежал впереди, неся в соломенной кепке ежонка, темный колючий комочек, недоверчивый ко всему миру. Егор крупно шагал за сыном, сложив руки за спину и чуть откинув голову назад и направо. Он так ходил, когда оставался самим собой, когда не требовалось чувствовать себя взведенным курком или нацеленной оптикой винтовки, или вот этим ежонком, каждая иголочка которого, как натянутый нерв разведчика, лишеного права оказаться застигнутым врасплох. Наедине со Славкой и с вечерним городом Егор мог себе позволить это. Непривычное состояние расслабленности поначалу настораживало, пугало. Так случалось с ним, когда его, армейского разведчика, только что вернувшегося из трудного поиска в тылу врага, отсылали с ребятами на отдых в тихую тыловую деревушку. Не находили себе покоя, по ночам вскакивали, судорожно хватаясь за оружие. И только привыкали и к тишине, и к деревушке, и к самим себе в новых условиях, приходил приказ вернуться на передовую.

Новое свое состояние Егор находил вполне естественным. Он уже привык к этому новому своему состоянию и не пугался ни странной расслабленности после трудового дня, когда что-то уже сделано, ни того, что его мучают вовсе не заводские заботы, а что-то такое, что и не назовешь. А может быть, он и не думал ни о чем, это было просто такое состояние, когда человек связан с миром сразу весь, а не отдельными рецепторными связями. Так бывает, когда человек полон чем-то новым, может быть, еще и не понятым им самим.

Чем же был полон Егор? Об этом он и сам пока что не знал и не мог ответить на вопрос.

— Давай посидим, сын...

— Что, бок болит? — Славка оглянулся на отца с таким выражением в глазах, какое бывает у людей, связанных общей тайной.

— Нет, — Егор рассмеялся, тронутый заботливостью сына, сказал, присаживаясь на деревянный решетчатый

диван на сквере: — Вот у тебя руки устали, это верно.

— Он легкий. Вот поддержи.

— Да, он и впрямь легче легкого, — сказал отец, беря соломенную кепку с ежонком. — Ты прав. Но все равно руки устают, когда ты их долго держишь перед собой. Кто бывал на парадах с винтовкой наперевес, тот это отлично знает.

— А ты, пап, бывал? В Москве? Почему ты не рассказывал?

— Да как-то все не приходилось... Да и не в Москве, а в Петрозаводске. Парады там были маленькие. Но все равно руки немели от усталости, когда проходил перед трибуной. Наверно, руки немели оттого, что я слишком крепко сжимал винтовку. Боялся выронить.

— А я бы никогда не боялся. Я бы ее во как держал! Егор усмехнулся:

— Во, во! Я так же думал: держать... А ее всего-навсего надо свободно придерживать да упирать в бедро. Ты попробуй нести кепку не на вытянутых, а на полусогнутых руках. Да чуть прижимай к груди. И мы сделаем марш-бросок до самого дома.

— Прижимай! Он же колется.

— Сквозь кепку?

— А ты думал!

Они встали и пошли. Славка, хотя и не соглашался с отцом, нес кепку на полусогнутых руках, не замечая этого, но чувствуя явное облегчение. Отец тоже шел легко.

Дома, разогрев котлеты из холодильника и гречневую кашу, они сели ужинать. Ели, поглядывая на ежика. Славка спросил:

— Пап, ежику больно или нет, ведь иголки колют его другим концом...

Егор засмеялся:

— Ах, Славка, Славка, да у него каждая иголка, как нож с рукояткой: колет одним концом, а рукояткой обращен к телу.

Тут раздался телефонный звонок, Славка схватил трубку:

— Это мама! — высказал он догадку. Но оказалось, звонил Роман и просил Егора Ивановича. Канунников взял трубку.

Директор сказал:

— Слушай, Егор, я звоню тебе из ОТК, от Вари.

— Что случилось?— затревожился Егор, вспомнив, как жена жаловалась на усталость.— Что с Варей?

— С Варей — ничего. Жалуется на Ивана. Она просила меня на эти дни приписать Ивана к ОТК, а он, оказывается, закусил удила, не хочет. Может, ты наведешь у себя порядок? Или тебе помочь?

— Я разберусь сам,— замкнувшись, бросил Егор. Роман уловил, как изменился его голос.

— Ты что там злишься?

— А что мне делать, если ты поступаешь с нами самым постыдным образом.

— Ты бы выбирал выражения...

— Я как раз выбираю то, что надо.

— А не переигрываешь?

— Не переигрываю.— Егор уже не мог, не хотел уступать. И то, что Варя до сих пор на заводе и Роман у нее рассиживает, вызывало чувство обиды и нехорошо бредило душу.— Мы только что нашли решение ПАКИ, недели через две могли бы сделать опытный экземпляр, а теперь все летит к чертям.

— Ну, сделаешь двумя неделями позже...— В голосе Романа слышалась неуверенность. Он ведь сам настаивал, чтобы побыстрее сделать автомат.

— А мы в третьем квартале наметили закончить наш «алмазный вариант»...

— «Алмазный вариант»? — переспросил Роман. Трубка замолчала. Егор ждал, предчувствие чего-то неладного заставило его насторожиться.

— Еще в прошлом году наша лаборатория разработала новую технологию. Ты же знаешь, Роман.

— Так ведь главк нам не утвердил «алмазный вариант»,— нехотя сказал директор.— Ты разве не знаешь? Неустроев должен был все это обговорить с тобой...

— Главк тут ни при чем, не спорь, я знаю. Неустроев был противником с самого начала, а теперь получил власть и запорол все. А ты послушался.

— Слушай, Егор, я еще раз тебя прошу: выбирай выражения. Что значит запорол? Просто нам не достать алмазных инструментов... Лучше синица в руках, чем журавль в небе...

— Ты не слыхал мудрость? Послушай!

— У меня голова колетя на мелкие кусочки,— пре-

рвал его Роман.— Иди ты со своей мудростью.

— Это не моя мудрость. Может, слышал: коровы бойся спереди, лошади — сзади, а дурака — со всех сторон...

— Нет, этого я не слышал.— Директор помолчал.— Может, ты возьмешь свои слова обратно?

— Таким дуракам, как Неустроев, я не прощаю.

Директор на другом конце провода засмеялся:

— А я-то думал, ты обо мне.

— Считай как хочешь.

Егор положил трубку.

— Пап,— сказал Славка,— почему коровы надо бояться спереди, а лошади — сзади?

— Корова бодается рогами, а лошадь лягается.

— А почему дурака со всех сторон?

— Эх, сын, мужчина ты эдакий, да никогда не знаешь, что выкинет дурак: то ли боднет, то ли лягнет, то ли в рожу плюнет.

— Тебя кто-то обидел? Дядя Роман?

— Да, немного обидел, сын...

Егор задумался, отошел к окну. Славка переживал его обиду болезненно, как свою, хотел отвлечь отца от тяжелых мыслей. Попросил, прикасаясь к его руке:

— Не думай, пап... не думай!

— Ну, как же не думать, сын? Голова нам дана для этого.

— О чем ты думаешь?

— Да вот о твоём ежонке. Как у него все здорово устроено: иголки не колют его тело, а защищают. Как рукоятка у ножа или ум у директора, чтобы самому не обрезаться.

— Понятно,— протянул Славка, хотя насчет директора он мог бы прямо признаться, что ничего не понял.

— А раз понятно, то спать. Давай, давай, а то вот мать придет и попадет нам обоим.

И подумал: «Нет ли тут чего-то такого, что они скрывают от меня, Роман и Варя? Да нет, что тут может быть... До чего дожил... Тьфу!»

Уснуть он долго не мог, думы, думы... Да еще проклятое ожидание стука жениных каблучков о деревянный тротуар во дворе.

Он все-таки дождался, когда пришла жена, возилась в прихожей, должно быть, выпроваживала ежонка, но Егор не встал: не хотел скандала в поздний ночной час.

Ночью Егора разбудил шум в прихожей, он поднялся и застал Варю с половой щеткой в руках.

— Об эту дрянь я исколола все руки. Как я буду завтра работать?

— Оставь его,— посоветовал Егор,— и чего ты к нему пристала? Мешает?

— Мешает. Из-за него расстроилась, всю ночь не усну.

— Проснется Славка...

— Выбрось, пока не проснулся.

— Оставь, говорю. Это же подарок. Если он тебе мешает, упроси Славку отнести в садик.

Варя опустила щетку.

— Ты всегда потакаешь ему...

Глаза Славки открылись и незряче уставились в потолок. В другое время они преспокойно закрылись бы, и отцу пришлось бы его будить, легонько ворочая с боку на бок за плечи. Но сейчас глаза Славки не закрылись, отец видел, как они яснили, оживали, делались осмысленными. И вот они уже озабоченные. Славка вроде что-то вспоминал или разглядывал на потолке радужного зайчика и соображал, откуда он появился?.. Но вдруг поднялся на локоть, сел.

— Пап, а где ежонок?

Егор — он уже давно не спал — провел ладонью по голой и теплой Славкиной спине, сказал успокаивающе:

— Спит где-нибудь в углу, упрятался от света. Они боятся спать, если не прикрыты.

— Почему?

— Ну, не хотят, чтобы застигли врасплох.

— У него же иголки, чего ему бояться. Вот если бы у меня выросли такие...

— Тогда я бы с тобой не спал. Очень мне интересно водиться с колючкой.

Егор снова провел по спине Славки ладонью, нечаянно радуясь тому, что она такая гладкая, теплая. Странное это чувство — радоваться тому, что у сына гладкая и теплая спина и что нет, пожалуй, на свете другого человека, такого близкого и нужного, как он. Егор только что тяжело думал о дне, начавшемся с рассветом, и день этот не обещал быть ни легким своей определенностью, ни трудным своим упорным движением к цели, ни радост-

ным своим победным завершением его. Егор как бы уже спрограммировал время. И он вовсе не подумал о том, что день этот может начаться с ежика, с теплой и гладкой спины сына.

— Ладно,— пообещал Славка,— я скажу, чтобы у меня колючки не росли...— И он стал переползать через отца, чтобы спрыгнуть на пол.

— Только ты тише,— зашептал отец,— мать разбудишь. Она пришла поздно и здорово вчера устала.

Но сын уже шлепал по полу босыми ногами, подерживая сползающие трусы. Егор улыбнулся и встал с дивана.

— Ну, где ты, малыш?— Егор вместе с сыном стал ползать на коленках, заглядывая во все углы, но ежонок как в воду канул. Неужто Варя ночью все-таки выкинула его? За что отомстила? За то, что он защищался своими иголками? Мстительны мелкие люди. Никогда бы не подумал, что Варя — человек мелкий.

— Пап, а может, он убежал к маме?— Егор и Славка стояли друг перед другом на коленях у большого сундука, за которым по всем данным мог бы скрываться ежонок, но его там не оказалось.

— Что ты, ежи по ночам крепко топают, мама могла проснуться и выставить его. Этого я больше всего и боюсь.

Егор встал, ударил ладонь об ладонь, как бы смахивая с них пыль. Славка точно повторил это движение.

— Нет, мама не может его выставить. Одного, ночью в городе, а не в лесу,— возразил Славка, глубоко веря в человеческую справедливость. Он не знал, что случилось ночью, да и знать это ему, пожалуй, не стоило.

Чтобы попасть на кухню, надо было миновать коридор. Дверь там скрипела. Ни сосед по квартире, состарившийся футболист, ни Егор так и не собрались смазать навесы, и вот теперь отец и сын осторожно нажимали на дверь, чтобы она не закрипела. Славка, поддерживая одной рукой сползающие трусы, другой, растопырив пальцы, толкал покрашенную охрой филенку, во всей его маленькой скособоченной фигурке было напряжение и ожидание, отец, тоже чуть кособочась, касался двери, но так легко и свободно, будто ждал, что она под его взглядом сама откроется. И когда позади их шелкнул замок на двери в перегородке — он всегда шелкал, как осечка курка,—

и мужчины, вместо того чтобы остановиться, сильнее нажали на дверь кухни, она распахнулась, забыв даже пискнуть, и они повалились на пол. А позади раздался голос Вари:

— Ну вот, неумехи! Ради ежонка готовы жизнь положить...

Смущенные, сын и отец поднялись. У Славки чуть-чуть не сползли трусы, но он юрко подхватил их. Мать засмеялась еще больше, схватила за руку, турнула в комнату:

— Огнем все горит на тебе, Славка, ну прямо полыхает, и дыма не заметишь,— сказала она, как-то сразу теряя веселое настроение. И вот уже Славка сидел бесштаный на диване, а мать с помощью английской булавки вдевала в трусы новую резинку.

Славка спрашивал:

— Ты ежика выставила или нет?

— Что значит выставила? Откуда ты берешь такие взрослые понятия?

Сын насупился:

— Почему я так не могу сказать? Если я так думаю...

— И вовсе ты так не думаешь. Просто услышал у отца. А он никогда при детях не остерегается, болтает что угодно.

— Ничего он не болтает,— надулся Славка. Он не хотел, чтобы мать в чем-то упрескала отца. Почему она всегда на отца все сваливает?

— Запрещенный прием,— сказал Егор, входя в комнату и вытираясь полотенцем и покрывая. — За глаза не прорабатывают. Даже наш Роман блюдет эту заповедь, как клятву юных пионеров.

— Да уж ты со своим Романом,— вздохнула Варя и бросила Славке починенные трусы.

Ежик на какое-то время был забыт. Варя не напоминала об исколотых пальцах. Но когда сели за стол завтракать, а Славке перед садиком полагался всего-навсего стакан кефира, и то без сахара, и он, понятно, скучая и как всегда утром чувствуя себя обиженным, хотя и знал, что нечего ему наедаться, когда в садике завтрак ждет на столе, вспомнил о ежике и заволновался: не к добру мама о нем молчит и на его вопрос так ничего и не ответила.

— Да под буфетом он, туда я его затолкнула, чтобы



не топал. А то топотал, спасения нет. Точь-в-точь — сапоги у него на ногах.

«Зря я о ней плохо подумал», — Егор взглянул на жену и улыбнулся едва приметно. Он всегда так улыбался, когда чувствовал себя хотя бы чуточку виноватым перед ней. Так было раньше, но теперь она уже забыла об этой его привычке, а подумала о том, как он изменился, стал замкнут и неуравновешен. И подумала она без боли и огорчения, а спокойно, потому что отчуждение и холодность, накопившиеся за последние годы, хотя она и не хотела их, давали о себе знать помимо ее воли. Говорят, что разлука любовь бережет. Может, это и так, но есть же в каждом явлении критический момент. И в разлуке тоже. Когда она начинает выстуживать душу, тут уж не скажешь... что она что-то бережет...

«Да и жизнь-то ведь одна у человека, а у бабы тем более, может, и в полжизни уложится, — подумала Варя неожиданно. — Много ли бабе отпущено быть грешной? А там не увидишь, как тело состарится, и уж ни мужа, никого не нужно тебе будет...»

Славка возился с ежиком. Он держал его на ладони, поворачивал на спину, с восторгом обнаружил неприкрытую колючками острую мордочку и твердые, крепкие уши зверька. Ежик не кололся, должно быть, чувствовал добрые руки, только легонько посапывал. Егор и Варя доедали завтрак молча. Каждый чувствовал, что внутренне спорит с другим или настороженно ждет слов, чтобы не согласиться с ними.

Варя быстро убрала со стола, Егор помыл посуду

— Ну, пошли, что ли? — сказала Варя. — Времени у меня ни минуты. Опять с утра до ночи. Придет ли Летов помогать? Роман вчера сказал, что придет. Наряд ему уже выписан...

— Наряд? — Егора неприятно кольнула эта уверенность жены, и он, внутренне радуясь чему-то, проговорил: — Не придет Летов. Срочная работа с ПАКИ. Если Роман разрешит, приду я. А что делать? Хотел я на все плюнуть, да боюсь, что в себя попаду.

Их разговор прервал Славка:

— А ежика? Куда мы его посадим? Я бы червей ему накопал, — предложил Славка.

— Да ты же скучать по нему будешь, — сказала мать. — Возьми с собой в садик. Там и оставь. Что ты один будешь с ним играть? Да и дома-то ты много ли

бываешь: заявился, поужинал и на боковую. А в садике ты будешь весь день с ним. Ну?

Славка раздумывал: что-то было в словах матери такое, что ему не нравилось, но он не мог понять, что именно. Вроде все было верно: и то, что в садике он больше, чем дома, и что там все будут играть с ежиком — Славка не какой-нибудь жадюга, ему вовсе не жалко, чтобы и другие играли, но все-таки в словах матери была какая-то хитрость, которую он не мог понять. Он все же согласился, и они вышли из дома.

Когда прошли двор и повернули на улицу, Егор вдруг почувствовал, как утро захватило его. Такое бывает только на севере или еще в горах: прохладный, пахнущий озоном воздух, и теплое солнце еще не прогрело его, но теплоту его уже ощущаешь кожей лица и рук; безветрие в тополях и березах, навевающих умиротворение и покой, и влажная еще трава возле тротуара от скупой городской росы; и певучие сигналы еще не уставших после ночи троллейбусов; и странно чуждый, но все же близкий пролет шмеля в соседний сад за старым, потемневшим забором; и беззаботное летание голубей над крышами, что с первого же взгляда выдавало городскую окраину, не новую, с железобетонными коробками зданий и красной глиной улиц, трудно прорастающей травой, а старую, с ее традициями, садиками, голубями, с близкой к земле, по причине малоэтажности домов, жизнью.

Егору было хорошо от ощущения всего этого. А может быть, еще и оттого, что ежика все же удалось сохранить. Ему всегда хотелось, чтобы Славка чем-то увлекался, а не рос пустышкой, с не привязанной ни к чему душой, но как-то странно получалось, что таких привязанностей у него до сих пор нет. Славке нравился завод, но мать выпроваживала его оттуда всякий раз, когда Егор его приводил в свою пагоду. В конце концов посещения стали редкими. И вот ежик...

«Пора бы нам стать женой и мужем, а мы все еще чувствуем себя как любовники», — подумала Нина, выходя из автобуса на Мустамяэ возле своего дома с разноцветными квадратами панелей, и тотчас представила, как встретит ее Гуртовой. Каждый день она готовится сказать ему об этом, но как только встретится с ним, забывает все на свете. Они остаются вдвоем, мир для

них исчезает, и даже сами они исчезают: она — это не она, он — это не он. Но Гуртовой, кажется, все-таки трезвее ее. Если бы он не был трезвее, первое слово и действие всегда бы оставалось за ней. А пока что все получается наоборот.

«И когда это со мной случилось? — подумала она. — Когда пришла ко мне зрелость любви и мне захотелось встретить его мужем? А он хотел встретить меня на корабле как любовницу, и сразу тогда оборвались все связи с миром, и мы почувствовали себя одинокими в пустынном море. А чем это плохо?» — спросила она себя. Она спрашивала себя об этом уже много раз, но ответа не было. Ну, она забывает о детях, о своем деле и своем высоком предназначении среди людей. Но забывает не навечно, а на то время, пока она чувствует, что их дом как корабль в открытом пустынном море и никакой якорь, никакие другие связи не крепят его к земле. И что в этом плохого?

И все же она хотела зрелой любви, которая безоглядна, но в то же время трезва, не рубит якорные цепи и всякие другие земные связи, не лишает воли, характера, а оставляет такой, какая ты есть, и землю оставляет, какая она есть, и жизнь. Только делает ее интереснее, значительнее; и дается все таким людям легче, чем тем, которых жизнь обделила любовью.

«Человеку все мало, — подумала она, поднимаясь по лестнице на третий этаж. — Человек ненасытен и не благодарен жизни. Почему бы мне не радоваться и не быть счастливой?»

Она стала шарить в сумочке ключ и почувствовала, что волнуется, будто в первый раз идет на свидание.

«А меняется многое», — ответила она себе, со стыдом вспомнив вдруг, как поспешно она отправила мать и своего Аскольда на Раннамыйза, на дачу старого Илуса, уехавшего в Сухуми на отдых. А ведь ждала и с ума сходила, и клялась, что ни на день не расстанется с сыном.. Встретив, ревела от радости. И вот что из этого вышло...

Она бросила сумку на туалетный столик в прихожей, взглянула в зеркало, встретила с серыми громадными — вроде никогда не были они такими — глазами, ожидающими и все же где-то в глубине встревоженными. Из-за темных подглазниц — этих траурных флагов счастья — глаза казались глубоко посаженными, не ее глазами.

Девчоночья челка на лбу и впалые (вдруг они стали впалыми!) бледные щеки делали ее лицо необыкновенно молодым и тонким.

Счастливые — всегда красивые...

— Гуртовой,— позвала она,— Гуртовой...

Она заглянула в спальню, в столовую, детскую... И то, что она увидела, привело ее в ужас — в квартире стоял беспорядок, и как она все эти дни не замечала: и небутый стол, и незаправленная кровать, и разбросанные по стульям ее платья. Только Гуртовой всегда был верен своим морским привычкам и нигде не оставлял своих следов: вся его справа была рассована по шкафам.

— Гуртовой!— еще раз позвала она, взглянув на часы,— обычно в пять он был уже дома и встречал ее.

Она прошла на кухню. Гора немытой посуды будто впервые открылась ей.

Увидевший все это подумал бы: в квартире вот уже неделю идет беспробудная пьянка, и никому нет дела, кто и что может об этом сказать. Пьяные ведь вначале делают, а потом протрезвев, раскаиваются.

«Пьяные и есть». И тут она увидела на столе белеющий лоскут бумаги — телеграмма... В глаза бросились крупные буквы: правительственная, из Москвы. Она схватила ее, и догадка вдруг лишила сил: Гуртового куда-то вызывают! Но странно, что телеграмма была ей, Астафьевой, а вовсе не Гуртовому. Вот и напечатано: «Нине Сергеевне». Странно...

Сбоку прямым почерком Гуртового было что-то написано, и она в первую очередь прочитала это, а не саму телеграмму: «Старуха, эту депешу принесли, едва ты отчалила утром. Вот не знал, что якшаешься с такими высокими инстанциями.

Я забыл тебе сказать, что приду поздно, а может, и не приду: работы требуют ускорить, и придется остаться на корабле на всю ночь. Вали ко мне, как в прошлый раз. Подам тебе адмиральский, а не какой-нибудь шторм-трап М-мы все м-можем!»

«Вали ко мне»,— повторила она, не понимая смысла этих слов. И не понимала она, может быть, потому, что осторожно, как бы боясь раньше времени открыть смысл телеграммы, стала читать ее слово за словом.

«Просим прибыть в Москву продолжения лечения пациентов прерванного болезнью доктора Казимирского.

Телеграфируйте согласие и выезд. Ответ пятнадцать слов почтовый ящик №...»

Мысль прежде всего задержалась на сообщении о болезни ее учителя. Доктор Казимирский болен! Она присела к столу, почувствовав усталость в ногах. Мысли о докторе Казимирском всегда были тревожными. Что будет с его школой, с их школой, если с ним что-то случится? Такие люди, как он, болеют один раз. Мелких болезней они не замечают, потому что фанатически заняты своим делом, без остатка отданы идее, а если признали себя больными, то это уже нешуточно. Ой, нешуточно... И на миг она увидела перед собой, точно наяву, резкий, будто чеканенный на меди, профиль его худого лица с тонким горбатым носом, острым подбородком, тонкими нервными губами, демонически разбросанными волосами, вечно непослушными ему. Вспомнила, как на его сеансах одномоментного лечения пациенты с неустойчивой нервной системой падали от одного его взгляда. Его взгляд мог понудить человека делать что угодно, выполнять любое приказание. По-первости Нина боялась его. Ей казалось, что доктор в любую минуту может заставить ее рассказать ему все, о чем она сейчас думает, и он не приказывает ей это сделать только потому, что и без того знает ее мысли. Потом он сам научил ее сопротивляться воздействию чужой воли и все время внушал ей, что врач должен быть сильнее всех и если он попадет под чужую волю, то сам делается бессильным.

Он сотворил ее заново, и она не подвластна теперь ничьей воле.

Она стала метаться по квартире, будто искала что-то: в разных комнатах к ней приходили разные мысли: в спальне одни, в детской другие, в столовой...

«А Гуртовой? А его воля?—спросила она себя.—Гуртовой—это другой случай. Это мое, женское,—ответила она себе.—Тут сердце, и с ним ничего не поделаешь, если бы я даже хотела».

И она увидела яснее прежнего, как связывает ее воля Гуртового, как ее проклятое привязчивое сердце постепенно размывает в ней человека, того самого, который и стал человеком только потому, что начал думать, осмысливать свои поступки и окружающий мир. Отбери у него мысль—и он тотчас же возвратится на круги своя и станет рычать, отнимая кость у себе подобного.

А сколько людей даже при наличии мыслительных способностей страдают гипертрофией животного начала?

Вдруг ей пришла мысль навести порядок в квартире. Важнее ничего не было для нее в эту минуту. Она развешала свои платья, протерла мебель, перемыла на кухне посуду. Надо было еще почистить ковры, вон какая куча их громоздилась у порога. Навез же Гуртовой этих пылеотстойников. Она не любила ковров.

Когда квартира была прибрана, Нина вновь вернулась к телеграмме, перечитала ее, уже не замечая приписки Гуртового. Теперь телеграмма звучала совсем по-другому. Не кому-нибудь, а ей поручал Казимирский работу, начатую им. Недаром ей говорили, что они здорово похожи друг на друга в работе. Одни утверждали, что она хороший копиист, другие — что она схожа с ним характером: фанатичка! Порой это звучало ругательно. Ну и черт с ними. Пусть думают, что хотят.

Только что же это за пациенты?

Она вспомнила, в газетах промелькнуло сообщение о показательных сеансах доктора Казимирского в Москве, в Доме литераторов.

Потом она стала надраивать полы, как приучил ее называть Гуртовой самое обыкновенное мытьё их. Мокрой тряпкой вытирала разноцветные квадратики линолеума, и они начинали блестеть мокро и холодновато — квадратики были голубые и белые. Полы окончательно придали квартире опрятность, и Нина осталась довольна. Ей показалось, что с этим кончилось что-то одно и началось что-то другое. И еще подумала: у солдат раньше было обычаем надевать перед боем чистое белье, а у нее вот перед важным решением — непременно уборка квартиры.

Как это было, когда она ушла от Астафьева? Да, она приехала тогда из Ленинградского пединститута с готовым уже решением и вся сгорающая от любви к Гуртовому. За полгода, пока она отсутствовала, квартира стала совсем другой, и она вошла тогда будто в чужое жилье. Ожидая, пока Астафьев вернется с работы, она принялась за уборку. Правда, она тогда еще не драила полы, но вымыла их чисто, как мыли раньше в деревне перед пасхой.

«Бедный Астафьев, какой он был умный и как любил меня», — подумала она.

Но она разлюбила его, и случилось это, очевидно,

потому, что одному из них — на этот раз Астафьеву, а не ей — любовь грозила потерей характера, а значит, и самого себя, а для нее такая любовь была кандалами, хотя и мягкими, но кандалами.

В конце концов и мед делается горек, когда его с бытком.

Кандалы Гуртового — жесткие, неминуемые, неизбывные — все же были для нее радостными кандалами. А чего же они лишили ее?

Она бросила Ленинград и помчалась с ним в Таллин. Лишилась редкостной экспериментальной работы, которой готова была отдать всю жизнь без остатка. Только вспомнит сейчас свои сеансы с больными дефектологического отделения, сердце начнет сдвигать удары. А что имеет здесь? «Вытяни руки, расставь пальцы, закрой глаза. Надо, дружок, заниматься спортом. Или хотя бы холодное обтирание по утру...»

Нет, ее удел — не это. Ее удел — непроторенные дороги врачевания Миллионам страдающих, как утреннее солнце, нужны ее воля, умение проникать в тайны больной психики, ее вечный интерес к человеку и его судьбе.

И что еще она потеряла и приобрела? Пугающая нелюдимость отделила от нее дочек, но сын, сын... Радость рождения и жизни его может заслонить любое, да и заслоняла уже очень многое. Как можно держать камень за пазухой против Гуртового, если он дал ей сына?

Она ушла от кандалов мягких — там безмерно любили ее, а новое ее приобретение — кандалы жесткие, здесь она любила безмерно. Может ли она при этом быть сама собой? Или она должна остаться спутником чьей-то жизни, как выражались раньше и как еще многие живут и в наше время, хотя уже, пожалуй, и не говорят так?

Откуда ей было знать, что любовь Гуртового обернется кандалами? И не всякая ли любовь синоним кандалов? И есть ли любовь без кандалов, с которой так же легко идти по свету, как легко дышать воздухом моря?

Нина не думала о том, что готовила себя к разговору с Гуртовым. Она не знала, что самой ей надо было выговориться, что-то выяснить, в чем-то убедить себя и не оказаться перед мужем простоволосой дурой. Но она знала другое — разговор неизбежен. Хотя еще не сказала себе, что непременно поедет в Москву, но внутренне была готова к этому. И она знала также, что поехать сейчас,

когда муж дома, было просто свинством, но и отказ от поездки станет для нее такой потерей, восполнить которую потребуются годы и годы.

И когда Нина услышала позвякивание ключа в замочной скважине, она готова была к любому разговору с мужем. И вот он вошел. Она видела, как он снял и положил на полку козырьком вперед свою роскошную морскую фуражку, как расстегнул верхние пуговицы кителя, оглядел холл и через раскрытые двери их спальню, и глаза его, выпуклые красивые глаза сильного человека, загорелись радостью ребенка. И он сказал:

— Старуха, ты прибрала наш корабль, как перед инспекторским смотром. Иди ко мне. Ну, иди же... Дай расцеловать тебя.

Он ведь ничего не сказал ей особенного. Обычные слова, и ничего о чувствах и о любви, как иные говорят через каждые пять минут или хотя бы через полчаса. Но почему же Нина почувствовала, что этот человек для нее дороже всего на свете? И она бросилась к нему, обхватила руками его шею и заплакала.

— Миша...

Она редко звала Гуртового по имени, как-то пошло с первого дня их знакомства в Ленинграде — Гуртовой да Гуртовой, — и потому это простое слово «Миша» необыкновенно тронуло его. Он подхватил жену на руки и стал целовать, и оба забыли себя, и все, что было вокруг них.

«Человек трезвеет утром, — думала Нина, глядя в окна автобуса и забывая прислушиваться к голосу водителя, объявляющего остановки. — Трезвеют не только пьяные. Так уж устроена человеческая психика, что утром легче осуждать вчерашнее. Отдохнувший мозг и нервная система делают его мужественнее. А ночью...»

Не хотелось вспоминать вчерашнее, иначе она нашла бы подходящие слова, чтобы оценить то, как вела себя. Стерла бы себя в порошок, уничтожила бы.

И как только подумала о телеграмме, необратимость утраты заставила застонать.

— Вам плохо? — забеспокоилась соседка, немолодая эстонка с желтыми волосами. Она чем-то походила на администраторшу из гостиницы, и Нина только сейчас вспомнила, что еще не вернула зонтик.



— Пропустила свою остановку,— соврала Нина и стала пробираться к выходу.

«Да, да,— подумала она, уже совсем пробившись к дверям,— вчера я пропустила свою остановку и, только вернувшись назад, могу снова попасть на нее».

Она вышла раньше, чем надо, пошла до поликлиники пешком.

Утренний Таллин был, как всегда, сдержанно-оживлен. Над ним чистое, но неяркое солнце. Лица людей ясные, но утреннюю веселость они таили про себя. Голоса оживленные, но негромкие. На остановках сходили и садились люди, но не было ни толкучки, ни ругани. И все это, так тонко и ненавязчиво, несколькими штрихами рисующее и пейзаж, и город, и характер народа, вызвало у Нины протест. Ей хотелось, чтобы солнце светило мятежно-буйно, чтобы люди шли и смеялись, чтобы голоса их звенели, а лица открыто сияли радостью, чтобы на остановках то вспыхивали, то затухали свалки, и она бы сама с удовольствием бросилась в самую серединку одной из них.

«Слишком мало тут внешних раздражителей, чтобы проявлять мой сумасбродный характер,— подумала она,— скоро сделаюсь тихой, как рыба, выброшенная на берег».

Она вошла в поликлинику с минутным опозданием. Сразу бросилось в глаза, как странно ее встречали сегодня коллеги, смотрели как-то не так: то ли с любопытством, то ли с осуждением. А что в ней любопытного? Противна себе, и это все написано у нее на лице.

У кабинета ее уже ждали больные, безразлично-спокойные, ничем не выказавшие своего отношения к ее опозданию. Ей тоже было все равно: что-то сломалось в ней, и люди были уже не интересны. По привычке она поздоровалась с ними.

— Тере, тере!— раздалось ей вслед.

Она вошла в кабинет, надела халат, заправила жесткие волосы под белую шапочку, хотела достать из сумки зеркало, но не достала — было противно увидеть себя. Села к столу и взяла историю болезни, первую сверху в стопке, аккуратно положенной по правую руку. Раскрыть не успела — раздался телефонный звонок: вызывал заместитель главного врача.

«Что там еще? Неужто из-за минуты поднимут шум? И все это моя открытость»,— осудила она себя за стон

в автобусе. Да и стон разве это был — просто она излишне долго задержала дыхание. «Ну и пусть», — подумала она равнодушно.

Заместитель доктора Илуса, светлоглазый, бледнолицый доктор Сыбер, встретил ее посреди кабинета и, склонив на бок голову в аккуратной белой шапочке, как бы выражая этим некоторое удивление, а может быть, и скромно кокетничая с молодой симпатичной русской врачихой, сказал, что ждал ее.

— Да?

— Думал, сразу ко мне придете, а вы на прием. Разве не получили телеграмму?

— Получила, — ответила она, удивляясь, откуда он знает. Заметив ее удивление, объяснил:

— Мы тоже получили. Просят откомандировать вас. Все расходы они берут на себя.

— Кто они? — спросила Нина. И, почувствовав неловкость — она-то уж должна знать, — объяснила: — В моей телеграмме нет ни подписи, ни адреса. Почтовый ящик, и все.

— Вас встретят, и все будет ясно. Я знаю не больше вашего.

Нина подошла к окну, руки в карманах халата, отчего плечи угловато вздернулись. В глазах — усталость и боль, как у человека, у которого что-то вдруг отобрали.

— Я не еду, — сказала она твердо. И вдруг перед ней встал черед людей: мужчины, женщины, подростки. Они стоят у стены и неотрывно смотрят ей в глаза, будто хотят прочесть в них свою судьбу. Вспомнилось, как она увидела это впервые — доктор Казимирский разрешил ей вести сеанс. Они стояли, эти несчастные люди, ждущие от нее исцеления, исцеления сказочного — в один миг, в один момент, а она оглядывала их, ловила взгляд то одного, то другого и думала: «Как на расстрел стали. И такое же напряжение, и ожидание, и отчаяние. Все сразу».

Она начала с левого фланга, как всегда делал доктор Казимирский. Первым стоял рослый красивый сибиряк, застенчивый, как мальчик. Дефекты речи у него потрясали. Накануне, когда она беседовала с ним, он не мог назвать даже своего имени. При каждом звуке так

гримасничал, так дергались у него руки, шея, плечи, что видеть все это не было сил, и она отвернулась. Он понял это как признание тщетности его надежд и так потом ловил ее взгляд, так хотел найти в нем надежду. Но что она могла поделать, если ей было страшно думать о его судьбе?

И вот она подошла к нему и стала говорить то, что полагалось говорить в эту минуту, и стала глядеть в его испуганные ждущие глаза, и ей страстно захотелось, чтобы он повиновался ей и чтобы у него все было как надо. И он страстно хотел этого и вдруг поверил в то, чего ждал, и был уже в ее власти. Она почувствовала, как он под ее взглядом качнулся навстречу, но она приказала ему прислониться спиной к стене. Она не отдала этого приказа голосом, нет, она приказала ему взглядом, и ее воля как бы передалась ему через темные и расширенные зрачки его глаз, и он покачился назад, прислонился спиной к стене и остался так стоять. Теперь она делала с ним все, что хотела. Она заставляла его произносить слова, и он произносил их, а ей казалось, что говорил кто-то другой — у него оказался красивый и сильный голос и приятный выговор, похожий на южное произношение.

Так она прошла весь ряд «приговоренных к расстрелу». Устала не меньше, а больше каждого из них, и все же сил и воли хватило до конца, а последняя девушка шестнадцати лет не выдержала ее взгляда, ее внушения и повалилась как подкошенная. Ее положили на стулья, дали пить. Досада и виноватость так и кричали в ее глазах.

Потом никому из них не разрешалось говорить. Они сидели с видом людей, хранящих удивительную тайну. Откройся она сию минуту, впечатление было бы ошеломляющим. Она знала, что так и должно быть, но почти невозможно было определить, кто приобрел что-то после сеанса и кто не приобрел ничего.

Сибиряк поджидал ее на улице. Нина видела, что он хотел с ней заговорить, но говорить после лечения запрещалось сутки. Она погрозила ему пальцем и не успела опомниться, как он схватил ее руку и стал целовать.

Нина освободила свою руку и сказала тихо и как можно спокойнее:

— Никаких эмоций. Живите эти сутки так, будто вокруг вас пустота. Ни на что не реагируйте. Даже если

загорится дом, который приютил вас. Потерять легче, чем приобрести...

И целые сутки волновалась за него. А на другой день он позвонил по телефону.

— Доктор, вы узнаете меня?

Нина узнала, но сказала, что нет.

— Так вы в самом деле меня не узнали?

— Нет,— сказала Нина,— не могу даже придумать, кто это. Вам нравится быть инкогнито?

— Да. Я мечтал всю жизнь. Я хотел позвонить своей любимой девушке, и чтобы она меня не узнала. Как это здорово было бы!

— Вы теперь можете позвонить. И ручаюсь, что она вас не узнает.

— Меня и родная мама не узнает...

Нина повесила трубку, чтобы не расплакаться.

Потом в кабинете Нина вела с ним диалог, он смело отвечал на ее вопросы, и речь его была чистой, и ни один мускул не дрогнул на его лице, и ни одного лишнего движения не сделали его руки и плечи.

С чем это можно сравнить? Сравнить это было не с чем. Разве только с рождением ребенка.

Нина отвернулась от окна.

— Я передумала. Я поеду. Если нужно, я проведу прием, доктор Сыбер?

— Мы приготовили замену, не беспокойтесь.

— Спасибо.

Они знали, какое она примет решение... Разве могло быть какое-то другое? Выходит, что да, могло быть.

Вечером Нина приехала на дачу, чтобы сообщить матери о командировке в Москву, хотя бы еще немного побыть с сыном, приготовить девочкам все, что нужно к началу учебного года. Известие о поездке мать встретила сдержанно: бездомные какие-то, что муж, что жена. Жили бы вместе, а то в разлуках отвыкнете друг от дружки. Бывает и такое...

— Ох, мам, как ты не поймешь, что нам с Гуртовым не удастся жить, как живут другие: утром вместе идут на работу, вечером — вместе возвращаются. Вместе ужины приготовят, чаи рассядутся пить. Нет, он без моря не сможет и я без своего дела тоже не смогу. Ну, хоть режь меня...

... Непутевые...

Аскольд уже спал. Нина посидела возле его кровати,

но мысли о поездке и какая-то непонятная грусть не давали ей успокоиться хотя бы на минуту.

— Ты посмотри, все ли в порядке: пуговицы все ли, воротнички,— сказала она матери и бросила на стол платья, передники, чулки, которые она купила для девочек.— На душе смутно, погуляю.

— Ну вот... Поговорить хотелось...

— Поговорим еще.

— Не уходи далеко, ночь темная.

— Я к Илусам.

...Они сидели на веранде и пили с Мари чай. Нина была задумчива. Вспоминала дни и вечера, когда тут был тот, приезжий... Егор Канунников, человек чем-то близкий ей, может быть своей, как и она, неустроенностью в жизни. Поделиться бы с кем, но кто поймет, вот даже мать перестала ей сочувствовать. И она уже начала было разговор с Мари, начала издали, но тут на тропе раздались быстрые и легкие шаги — Гуртовой.

— Вот ты где, Нина? Здравствуй, Мари!

— Здравствуй! Чаю хотите?

Гуртовой снимает фуражку, кладет ее на ветку елки, которая склоняется над верандой.

— С удовольствием, в таком обществе...— Он ловким движением руки поправляет волосы, проходит к столу.— Весь день на ногах. Никогда так много не двигался. Тороплю всех, сам тороплюсь, зная, что ускоряю расставание. Каково мне?— Он влюбленно глядит на жену, осторожно касается рукой ее плеча.— Знаешь, старуха, в суতোлке мне пришла идея: а не махнуть ли тебе со мной? Хоть раз? Судовым врачом? А?

Нина отставила чашку, удивленно посмотрела на него, будто стараясь понять, трезвый он или пьяный.

— Нет, ты подумай: я серьезно. Весь рейс мы будем вместе. Мы, наша база в море. Постой, не спорь. Конечно, это мальчишество, но когда в другой раз может прийти такая мысль? Знаю, дети. Бабушка посидит, вспомни, сколько ты с ними бываешь, когда дома.

— Зачем тебе я? Возьми любого врача, если у тебя нет. Объяви по радио, и завтра у твоего трапа будет стоять хвост.

— Ты меня не поняла... Ну, пей чай, не хмурься.

Мари поднялась, заторопилась во внутренние комнаты. Уходя, сказала:

— Кажется, Эйнар...

Нина и Гуртовой переглянулись: они не слышали никаких шагов.

— Я завтра уезжаю,— сказала Нина, отставляя чашку.— В Москву...

Гуртовой, взявший чашку, не донес ее до рта, медленно поставил на стол.

— Так... Все-таки...

— Да, все-таки... Я знаю, что оставляю тебя в наши самые дорогие дни, когда ты дома, но я не могу больше.

— А, все это блажь...

Нина быстро встала, готовая ответить самыми резкими словами, но, сдержав себя, отошла к краю веранды и долго молчала, теребя ветку ели, на которой покачивалась морская фуражка Гуртового. Обернувшись, сказала спокойным голосом:

— Не знаю, почему я стала часто вспоминать тот зимний день... Я впервые увидела тебя. Какое было солнце и как блестел лед на заливе! Мы с подружкой стояли и любовались, как плавно разворачивались буера и однокрылыми птицами уходили в море. А мы, как маленькие, хлопали в ладоши, провожая их. И ты обернулся в нашу сторону и сдвинул на лоб очки. Я увидела тебя, и меня окатило жаром. В спортивном костюме небесного цвета ты походил на Юрия Гагарина и улыбался. Я уже после поняла, что улыбки у вас разные.

— У каждого своя улыбка...— Гуртовой достал сигарету и закурил.

— Да, но гагаринская на весь мир одна.— Нина подошла к столу, в задумчивости стала переставлять чашки.— Я считала тот день самым счастливым в моей жизни. Но теперь я вижу, что это был трагический день.

— Нина, что ты?

— Я считала, что он мне дал человека, который делает меня счастливой, но мне снова грозит стать тенью другого. Почему, почему... почему это так? Или это удел слабых? Нет, я не слабая. Или без памяти влюбленных? Но ведь любовь должна поднимать человека, делать его гордым, способным на великое дело.

— Иди ко мне. Ты устала? Или разлюбила меня?

— Перестань! Разве ты не видишь? Нет, ты не разглядишь моих душевных мук. Очень ты большой человек, и очень много от тебя ждут и хотят. Твоя флотилия может прокормить рыбой целую страну. Капитан-директор Гуртовой! Снимки на первых страницах центральных га-

зет. Министр звонит: «Михаил Тарасович, выручи, трещит план, возьми под завязку». Если бы я была верующей, я молилась бы на твою плавбазу, как старушка на собор. Кстати, твой корабль похож именно на собор, огромный, белый, с колокольнями-мачтами. Они вырастают прямо из воды. Он чем-то похож на тебя.

— Спасибо! А ты мне в последнее время напоминаешь айсберг. Что же там, невидимое глазу? Мужчина?

— В твою пошлость я не верю.

— Тогда моделирование психики все тех же твоих заик? Родились же они на мою голову! Разве тебе не достаточно быть рядом со мной? На корабле в штормы, или часы золотого лова, или у министра на приеме? Ну, дай мне руку, как прежде!

Он шагнул к ней, Нина снова отступила на край веранды.

— Нет, ты не способен видеть никого, кроме себя. И если бы мог, ты не говорил бы: «твои психи», «твои заики»... Они были бы и твоими и ты бы не называл их так иронически, оскорбительно. Но я твои слова все равно воспринимаю как похвалу. Да, они мои, как у тебя есть море, корабль, косяки рыбы, ордена, почет, слава. У меня нет ни славы, ни орденов, но есть людская боль. Я должна, я могу помочь больным людям, в этом мое призвание.

— Значит, ты раскаиваешься, что когда-то встретила меня? Если нет, то почему все же не хочешь со мной в рейс?

— Нет, нет! И дома не останусь. Я поеду в Москву.

— Даже если это будет грозить нашей любви?

— Не говори об этом! Я пошла. Мне надо собраться в дорогу.

Поезд уходил вскоре после захода солнца. Красный свет заката еще лежал на море и играл на облаках. Когда поезд отойдет, свет на море погаснет и только в небе, по краю облаков еще будет тлеть краснинка.

На перроне еще не зажглись фонари, и все вокруг казалось серым: и вокзал, и поезд, только что вкатившийся с легким шелестом и постукиванием, и небо, и даже воздух. Невыносимо тягостное состояние послезакатного бессветия.

Таллин промелькнул скоро, быстрее, чем она ожидала. На зданиях, садах, шпилях, флюгерах, на всем, что мелькало перед ее окном, уже появились тона сумерек.

Да, чертовски все осложнилось. Может, потому они и перестают понимать друг друга, не переставая любить, что оба они сильные и ни один из них не может переделать другого?

А может ли быть так, что она одновременно счастлива и несчастна? Счастлива оттого, что знает, что ее любят и что любит она, и несчастна оттого, что расстается с этим счастьем сама, по собственной воле?

И может ли быть она сразу счастливой и несчастной оттого, что оставляет за собой право на себя, на свой, только свой труд, оставляя иллюзорным свое право на все другое?

Говорят, кажется, она это слышала от Егора Канунникова, что разные металлы можно сварить при помощи трения. Металлы — да, но можно ли сварить разные характеры?

Разные характеры? А разве у них с Гуртовым разные характеры? Наоборот, им худо оттого, что у них одинаковые, самостоятельные характеры.

В окно она видела, как уходят из вида последние строения Таллина и перед окном вагона уже замелькал пригород и где-то далеко-далеко опалово сверкнуло море. Все это ушло, и она не знала, когда возвратится.

«Здравствуй, Москва!» — подумала Нина, когда и Таллин, и высокое море, и небо ушли, уплыли назад.

Нина вышла в коридор, встала у открытого окна. Ветер трепал занавеску, она хлестала по рукам, льняная занавеска, вышитая и промереженная руками эстонской умелицы. Нина любила такую тонкую работу, поймала занавеску и подержала ее в руках. На сердце было тепло, как от искреннего подарка друга.

За окном мелькала сумеречная земля — леса и поля, дороги и речки, большие поселения с новыми колхозными постройками и одинокие хутора на опушках рощ.

Милая, грустная Эести, уже вошедшая в ее душу.

«Что же такое, будто расстаюсь со всем этим навсегда?» — подумала Нина.

Как-то два года назад, весной, Егор Канунников, застрявший в Москве, воскресным днем оказался в Парке культуры и отдыха имени Горького. Парк ему не понравился: собственно и парка-то никакого нет, все бессмыс-



ленно забито аттракционами, залито скучным асфальтом. Он совсем уже было собрался податься в гостиницу «Северная», как его привлекли белые крупные буквы на красном: «Финиш». Стояли судейские столики. Трепыхалась на ветру слабо натянутая финишная ленточка. Толпились люди, ждали марафонцев, стартовавших, как узнал Егор, где-то километрах в тридцати от Москвы. Заинтересовался: тут было, пожалуй, единственное в парке осмысленное, а не праздное волнение людей. Волнение нарастало по мере того, как приближалось время финиша известного чемпиона-марафонца. Но вот минуло его лучшее время, минуло и хорошее, а затем и среднее. Чемпион не появился. Зато на аллее показался желтоволосый худенький вихрастый парень, в будущем знаменитый олимпиец. Егор поначалу и не принял его за марафонца, пробежавшего тридцать километров, — до того спокоен и уверен был его бег. Он порвал трепыхавшуюся ленточку, стал описывать круги на маленькой лужайке, наклоняться, растирать себе икры. Сел на деревянную скамью, выпил что-то поданное ему и бросил бумажные стаканчики в урну. И засмеялся неизвестно чему. Наверное, тому, что неожиданно для себя стал чемпионом.

А экс-чемпиона привели под руки. Он то и дело вырывался из рук, пытался бежать, но ноги подкашивались, и он падал. Потом его снова вели, как пьяного. Уже бежали санитары с носилками, врачи с чемоданчиками в руках, а он все еще не оставлял надежды и перед финишем вновь рванулся из рук товарищей и, перешагнув рубеж, рухнул на землю.

— Не рассчитал сил, — сказал сосед Егора, переживавший каждый шаг бегуна, как свой.

Егору вспомнилось это сейчас, когда кончился июль и с ним «шторм Кенигсберга», — явление на их заводе уже почти что неизбежное, как и сам план.

Завод, как бегун, выложивший последние силы, доведенный до финиша под руки, был сейчас в забытьи, напрягаясь, чтобы хоть как-то показать присутствие духа, хоть как-то сохранить достоинство. В цехах стояла половина, если не больше, станков, рабочим дали отгул, склад сырья был пуст, зато готовой продукцией оказалось забитым все, что можно было только забить. Между заводоуправлением и складами сновали осчастливленные наконец-то «толкачи», вот уж подфартило

так подфартило: забирай, что положено, завод сам просит поскорее освобождать склады. Егор, как себя, понимал этих людей, иссидевшихся в Новограде ради какого-то десятка микрометров или индикаторов, которые в чемодане можно увезти.

Егор тогда так и не узнал, зачли ли экс-чемпиону его дистанцию, не дождался конца кросса. А вот заводу план зачли, хотя еще два-три дня в цехах доделывали продукцию, которую вернул ОТК, это считалось в порядке вещей, она ведь была уже предъявлена. Зачли, хотя все эти дни «штурма Кенигсберга» завод вели под руки всем скопом, он шел на последнем дыхании, заплетаясь ногами. Но кто теперь помнит, как это было?

Не помнили и Егоровы ребята, уже вернувшиеся в пагоду. От отгула отказались все, даже слесаренок Яшка, кроме дядюшки Аграфена.

Иван Летов и Эдгар, сдвинув монтажные столы, с утра сидели над ПАКИ, Яшка-слесаренок точил в нижнем цехе диск для нового прибора, это был уже третий вариант, прежние давали большие погрешности, и никто не знал почему. Егор лист за листом в который раз просматривал проект поточной линии для нового цеха мер длины, прикидывал удлинения, сделанные Неустроевым. Он видел, что отказ от алмазных инструментов потребовал установки многих лишних станков, а производительность далеко не достигала проектной.

Егор перекладывал листы, на минуты оттягивая время, когда он должен свернуть их, сунуть под мышку и отправиться к Роману. Но мысли в голову шли совсем другие. То всплывал марафонец, которого вели под руки, то маленький золотистоволосый бегун, ловко бросающий бумажные стаканчики в урну.

Он позвонил директору.

— Ну, так как же мне быть, Роман? Как мне быть с «алмазным вариантом»?

— Черт! — вырвалось у Романа с досадой. — Иди к Неустроеву и договаривайся. Согласится — я подпишу.

Егор повесил трубку. Вот всегда так. Принесешь — подпишет. Все равно что. Нет, пожалуй, это не так. Роман — мужик сам себе на уме. Просто не хочет ссориться ни со мной, ни с Неустроевым. Сами грызьтесь, как хотите. Такие люди умеют со всеми ладить. Они для всех хороши. Но так не бывает.

Свернув листы проекта, Егор вышел из пагоды. Иван

и Эдгар, занятые своим делом, не заметили даже, когда он ушел, Яшка-слесаренок проводил инженера взглядом, в котором было сожаление и в то же время прыгали смешливые искорки. Он хотел пошутить вслед своему начальнику. Яшка ведь неисправимый шутник, но в походке и в сутулости Канунникова была такая обида и сомнение, что у Яшки не повернулся язык.

На дворе было душно. Вяло обвисала листва на тополях. Безветрие. Егор не любил его. В безветрие, он знал, всегда плохо думается. А ему надо было сейчас хорошо подумать, спрограммировать весь разговор с Неустроевым, но что-то мешало этому, и он не мог представить, как будет убеждать Неустроева, чем убеждать и в чем? Он знал Неустроева, сколько вместе работали, но с тех пор как их разделила власть, сам Неустроев, его характер как-то стали ускользать, расплываться. А может, все-таки он зол на Неустроева, и не прошла обида? Ведь ему обещал Роман это место. Он, а не Неустроев, рассматривал бы теперь технологическую линию.

Если Неустроеву доказать выгодность «алмазного варианта»? Но он ведь и сам знает, расчеты видел.

Если убедить его, что алмазы теперь не проблема, в Киеве делают искусственные и дешевые, только наряды выхлопочи... Но ведь и это Неустроев знает. На худой конец, будет заминка, Егор сам съездит, достанет, что надо, не откажется. Съездит, да еще с большим удовольствием...

Может, и это будет неубедительно для Неустроева?

Чтобы попасть в отдел главного технолога, надо было пройти через автоматный цех. Ничего не поделаешь, другого пути нет. В цехе было тихо и пусто. Пол завален стружкой. Там и тут, прямо в проходе, стояли ящики с заготовками.

«Бракованные, — догадался Егор, наклонился к ящику, взял деталь. Серебрянка! Повертел в руках, сунул в карман. — Все равно пойдет в утиль. Серебрянка — и в утиль. Что они делают?»

Нехорошо сдвоило сердце, будто сбилось с шага. Откуда это состояние обманутости? Черт возьми, оно мучило его всю последнюю поездку и вот снова вернулось, как только он увидел этот захламленный цех после штурма. Брак, загубленный металл, простительное отношение к недоделкам, — а-а, заказчики все возьмут. Егор сам видел в ОТК, когда его строгая Варя закрывала глаза на такое, на что раньше никогда не закрыла бы. Люди полирают

свою профессиональную честь, топчут свою любовь к единственному своему делу. Развращаются даже лучшие рабочие, старые мастера, самые требовательные инженеры. И все это из-за штурмов, из-за этих «давай-давай». А кто думает о жесточайших последствиях, которые еще предстоят? Неужто никто не видит, как складывается что-то вроде всеобщей круговой поруки? Главк прощает заводу всю эту ерунду, потому что бессилён обеспечить заводу мало-мальски нормальную работу. Роман прощает цехам, начальники цехов — рабочим. Потребуй с рабочего хорошей, качественной работы, он тебе сразу в лицо: дайте загрузку на каждый день равномерно. А кто и когда это может сделать при нашей заводской беспланивости?

И то, что он верил в это «давай-давай», и в обещанное благополучие, и в свое размахивание деревянной саблей, как сын Славка, — все это сейчас вдруг возмутило его, придало его воле утраченную было напряженность, и он, поднимаясь по выщербленной бетонной лестнице, в пятнах от машинного масла, подумал с ожесточением и о Неустроеве, ставшем для него загадкой, и о Романи, который вынудил его воевать с Неустроевым один на один, далеко не при равных силах. И когда он уже входил в кабинет главного технолога, в тот кабинет, в котором мог бы сидеть сам, он, подогретый ожесточением, горячась, подумал, что неразгаданность Неустроева — это просто его безликость. Безликих людей можно взять на абордаж убедительными цифрами и цитатами. Им чужда логика, они пасуют перед фактом. И подавая руку Неустроеву и глядя в его серые, с маленькими зрачками глаза на бледном в любое время года лице, он уже был почти уверен, что слалит с ним.

Ты разве не штурмовал? — спросил Егор, присаживаясь и бросая на стол Неустроева чертежи. — Почему не отсиживаешь?

Неустроев ответил, будто обвинил в несмысленности:

А ты что, отсиживался в своей пагоде, как в японской?

Не отсиживался.

Ну и я тоже. Проклятое дело. Теперь все дезорганизовано, считай, до половины месяца. Одной настройки...

А почему?

Сам не знаешь? Ездишь, видишь все...

Потом он, повернувшись к Егору, но не глядя на него, спросил:

— Что сердишься на меня? Не сердись, я тут ни при чем. Вот посмотри.— И подал Егору газету.

Канунников взял «Новоградскую правду», развернул. На первой странице бросилась в глаза заметка, набранная крупным шрифтом на две колонки. Начал читать, не подозревая того, что лишается теперь уже неизмеримо большего.

А в заметке было написано:

«Отвечая на призыв передовых предприятий страны, новоградские инструментальщики решили лучше использовать производственные площади. В строящемся новом цехе мер длины по старому проекту намечалось установить десять мелкошлифовальных станков. При этом коэффициент использования производственных площадей был низкий. Передовая творческая мысль нашла резервы там, где их, казалось, и не было. Старый проект был сдан в архив. В цехе устанавливается восемнадцать станков».

Егор как-то странно повертел газету перед собой, помял ее в руке, как бы стараясь убедиться, что она существует.

— Кто это сделал? — руки у Егора задрожали, и он положил газету на стол.

— Да приходил один из газеты. Посидел тут, где ты сидишь, и видишь вот...

— Я не об этом. Кто дал ему сведения?

— Да никто не давал. Просто был разговор...

Егор пристально посмотрел на Неустроева. Тот не поднимал глаз.

— Не узнаю тебя, Неустроев,— наконец проговорил Егор.— Дешево хочешь жить.

Неустроев впервые взглянул на Егора, взглянул прямо, не пряча глаз. Сказал недружелюбно:

— Ты помолчи, Канунников. Привык на все со стороны глядеть, и на свой завод тоже так смотришь. А куда деться? Твои алмазы — журавль в небе, а нам нужно, чтобы было в руках, пусть и синица. Алмазы — кто знает, где они?

— Ага, заговорил своим языком? Я все понял.— Егор поднялся.— Понял, что ты для того и снял «алмазный вариант», чтобы на моду ответить: уплотнить производственные площади. Да дураки это придумали, неужели не

понимаешь? Нет чтобы новую технологию в основу брать, пошли по формальному пути: больше станков на квадратный метр.

Ты насчет дураков осторожнее бы, Егор. Сам знаешь, чья это инициатива.

Глупость-то, глупость-то какая! И почему ты так полупел, Неустроев? Оттого, что не хочешь ни за что отвечать?

— Не оскорбляй меня, Канунников, я тоже могу...

— Ты меня уже оскорбил. В лицо плюнул.

28

За дни отгула Варя перестирала, перештопала, промыла и протерла в доме все, что требовало этого, наконец помогла Егору распилить дрова. Настроение у нее было хорошее, еще бы — закончился месяц, завод закруглил план, в приказе Романа отмечалась особая роль ОТК и Варвары Петровны Канунниковой в этой эпопее. В воскресенье супруги собирались в лагерь, но тут выяснилось, что кончается первый срок и дочь на короткое время должна была вот-вот приехать домой. Значит, поездка отпадала. Это было, пожалуй, кстати: на воскресенье завком наметил выезд на Шумшу, и там можно было интересно провести выходной.

Но еще в пятницу Егора неожиданно вызвали в облисполком. Вернулся он домой мрачный, позвонил Ивану Летову и сообщил, что уезжает в очередной вояж, затем вытащил из чулана чемодан, который было забросил, и вот уже в дорожном плаще сидел за круглым обеденным столом. На столе — листок из тетради, карандаш, с тупого конца обкусанный Славкой.

Надо что-то написать дочери, но Егор не мог приняться за письмо. Он не знал, что написать ей. Просто хотелось разорвать листок, который положила перед ним Варя, сломать карандаш, который она ему подсунула.

Он вспомнил, как его вызвали в облисполком. Первой мыслью было: «продал» Роман. Расхвалил, вот его и приглашают на работу. Что ж, он пошел бы туда и, пожалуй, согласился бы поработать годик, чтобы спасти «алмазный вариант». Была бы у него власть в руках...

Но ему предложили поехать в Чернореченск и привезти сталь. Сталь для его завода, где в последний «штурм Кенигсберга» были выброшены во вторсырье и вложены

в сверхплановые изделия последние запасы металла. Роман, должно, не посмел говорить с Егором. Или стыдно ему? Как бы там ни было, Егор поедет сейчас с командировкой завода и письмом облсполкома, подписанным самим председателем. Что же, неплохая подпорка...

Времени оставалось лишь на то, чтобы забежать на завод за командировочным, деньгами и «шанцевым инструментом». Догадались все это собрать у донны Анны, так что бегать туда-сюда не пришлось. Зато он позволил себе немного побыть в ее обществе. Анна Кирилловна была взволнована, казалось, что-то хотела ему высказать, но так и не решилась. И только когда он встал, она остановила его движением руки:

— Как я надеялась, что вы не придете!

— Анна Кирилловна, что это вы не в унисон с начальством?

— Дорогой Егор Иванович, в кои-то веки я занимала свое мнение, и вы меня оговорили...

Егор прижал руку к груди:

— Донна Анна, извините меня за эту неуклюжесть! Вернусь — договорим. А теперь домой, собраться в дорогу.

...Егор сидел и маялся над тетрадным листком, ни одного слова, с которым он мог бы обратиться к дочери, не было у него в запасе. Все, о чем он без усилий мог думать сейчас, было связано с заводом, с пагодой. Когда Егор вернется, Иван сделает еще один вариант ПАКИ. Может быть, будет еще один, а может, и два варианта, все равно теперь это просто техническая работа. А вот «алмазный вариант»... Сколько вложено в него, и все полетело из-за дурацкой моды. Этот почин с уплотнением оборудования не больше не меньше, как самостоятельность неосведомленных в технологии людей. И вот из-за этой самостоятельности все летит к черту.

В коридоре послышались шаги, Варя привела из садика Славку. А Егор не успел еще написать Ирине ни одного слова. Он сидел и вспоминал зеленую лужайку на берегу Быстрицы, плач иволги и бессовестное добрячество кукушки, отсчитавшей ему еще тридцать два года, корову, неловко берущую траву из рук Иринки. И тут будто жаром обожгло лицо Егора: он вспомнил, как покраснела Иринка, когда встретилась со своим старшим пионервожатым. Даже слезы выступили у нее на глазах. И Егор почувствовал, как горячо стало лицу. Но это не от смущения.

ния, а от стыда. Он должен извиниться перед дочерью, что не приехал в прошлое воскресенье — «штурм Кенигсберга» отменил выходной. А теперь снова долго не увидит ее.

«Дочка моя милая, я всю неделю ждал воскресенья и скучал по тебе,— пришли слова, и он взялся уже за карандаш, но остановил себя:— Не ври, разве ты скучал по дочери? Ты облегчал участь жены в ее ОТК и маялся своим «алмазным вариантом».

И он написал: «Ирина, здравствуй! Я опять не смог к тебе приехать в прошлое воскресенье. Была работа, отгульный день потратил тоже на заводе, надеясь на близкий выходной, а теперь вот уезжаю в Чернореченск. Не сердись на отца. Планида моя часто ко мне сурова. Опять я должен заниматься не своим делом, но отказаться не мог — большое начальство просило выручить его. Это последняя моя поездка, так и договорились с тем высоким начальством»...

Егор остановился, зажал между пальцами карандаш, да так, что тот хрустнул.

«Хлюпик ты, не мог отказаться... Все еще веришь в силу своей деревянной сабли»,— подумал он. Хотел и это написать дочери, но удержался. Написал другое: «Вспоминаю твой лагерь, и корову на лугу, и кукушку. Все, все... Мне у вас там здорово понравилось. Замечательное место, речка и сам лагерь. Наверно, цветов у вас сейчас прорва, я представляю, как ярко полыхает большая клумба у столовки. Всю жизнь люблю цветы, а сам так и не посадил ни одного цветочка. Ты не знаешь, почему человеку приходится делать иной раз вовсе не то, что бы он хотел, жить не так, как ему нравилось бы?»

Он опять остановил себя, обругал: «У дочери-несмышлениша спрашиваешь о том, что сам бы должен знать давно»,— хотел зачеркнуть слова, но тут вбежал уже переодетый и умытый Славка, и Егор лишь приписал: «Пока до свидания, Ирина. Передай привет,— он хотел написать «твоим подругам», но вспомнил того подтянутого и красивого старшего вожатого и написал: «Твоим товарищам». Конечно, дочь ничего в этом не поймет, никакого смысла не уловит, но он-то написал это со смыслом. Какой отец не захотел бы иметь такого жениха для своей дочери?

В дверях показалась Варя, он понял, что пора на вокзал. Он нагнулся за чемоданом, встал. Славка — ох ты,



чуткая душа,— взял его за руку, сказал, как бы утешая:

— Тебе неохота ехать, я знаю. Как ты там живешь совсем, совсем один? Но ведь ты едешь в последний раз?

— В последний,— сказал отец.— Проводишь?

— Провожу. Мама тоже едет. Раздобрилась, правда?

«Ах, Славка, Славка, охламон ты эдакий, до чего ты все понимаешь, слов нет сказать»,— подумал Егор.

— Варя, стой!

Она услышала этот голос и, конечно, сразу узнала его. Лицо полыхнуло огнем, рука крепче сжала потную ручонку Славки, цепляясь за нее, как за соломинку.

«Совсем очумел он, что ли? Мало ему на заводе вести со мной разговоры. Придумал еще на людях».

Варя в сиреновом купальнике, с распущенными волосами — забыла шапочку,— торопилась к реке: Славка канючил, просился купаться, а отпустить его одного боязно. В сумятице, какая творилась на реке, легко не заметить, если мальчонка пойдет на дно. Была бы Иринка, тогда другое дело, но Иринка из лагеря не приехала, в коротком письме матери и отцу писала, что они, трое подруг — шло перечисление имен незнакомых девочек,— придумали не ехать в город, а поработать эти дни в совхозе.

Тотчас оправившись, Варя обругала себя за растерянность, оглянувшись на голос и увидела под кустом белеющую на траве скатерть, расставленную на ней посуду, горку хлеба, колбасы, прихваченные огнем золотистые тушки цыплят. В траве, поблескивая, валялись в беспорядке бутылки.

— Прибавляйся к нам, одной-то скучновато,— проговорил Роман, выходя из-за куста.— Эй, Сойкин, нашему полку прибыло.

С другой стороны полянки показался крутолобый Сойкин, в майке-сеточке из капрона, в светлых брюках и желтых сандалетах.

— А, Варюха! Давай, давай в нашу мужскую компанию. Наши старухи, черт бы их побрал, не любят коллективного отдыха.

Роман набросил на себя белую рубашку, которую нес в руке, стал застегивать пуговицы, вроде стеснялся Вари.

Когда застегнул последнюю, с облегчением взглянул на нее.

— И в самом деле, Варвара, приставай к нам. Мужик-то твой опять укатил.

— Загонял ты его, — сказала Варя, но, увидев приближающегося Сойкина, поправилась: — Загонял ты его, Роман Григорьевич. Света не видит человек.

— Ничего, ничего, Варя... Важное поручение ему дано.

Варя сделала несколько шагов — тянул ее за руку и шныкал Славка, повернулась, бросила:

— ...Я-то знаю, как это делается, не говорите мне. Оступился бы ты от Егора, Роман...

— Пусть чуток поездит, — усмехнулся Роман, — мне да и тебе полегче. Я-то уж знаю, как живет жене изобретателя.

— Много знаешь...

Варя отвернулась и пошла, не оглядываясь. Роман смотрел ей вслед, на голые плечи, на спину, не прикрытую купальником, на стройные ноги, до колен мокрые от росы. Все это было еще молодым, не тронутым годами. «Слепой кутенок, как я это не углядел? Как отдал? — подумал Роман с болью. — Ничего, пусть поездит Егор», — и чувство острое, похожее на ревность, охватило Романа. Но, видя, как все дальше уходила Варя, он спохватился, побежал за ней, потом остановился.

— Варя, на обратном пути не обойди нас. Есть разговор...

Та не оглянулась. Он увидел, как в последний раз мелькнула она меж кустами и смешалась с людьми на берегу. Роман вернулся к импровизированному столу. Сойкин, сидя на корточках, откупорил бутылки. Вокруг них в лесу раздавались голоса, смех, слышалось пенье: отдыхали инструментальщики. Где-то неподалеку баянист пробовал басы; слышалось шлепанье рук о волейбольный мяч. Крики и детский визг доносились с реки. Справа над кромкой берега покачивалась черная труба старого парохода, зафрахтованного заводом ради воскресного дня. Над трубой вился легкий дымок. Роман бросил на траву пиджак, боком прилег на него, дотянулся до вареного яйца, стал лупить, аккуратно складывая скорлупку на скатерть. Сойкин открыл бутылку боржоми, согревшаяся на солнце вода запенилась, полилась из горлышка. Сойкин выругался, закрыл пальцем.

— Налей,— попросил Роман. Отпив, заговорил:— Не знаю, согласишься ли ты, а я бы назначил Варю начальником ОТК. Пивоваров уходит, это я точно вчера узнал в облисполкоме, его берут туда в отдел промышленности. Кроме Вари, не вижу другой фигуры.

Сойкин ввинчивал штопор в пробку. На бутылке поблескивала золотисто-желтая коньячная наклейка.

— Решай как хочешь. У меня лично возражений нет. Разве что мягковата она. Не распустила бы вожжи. Нашему брату только дай потачку.

— Но ведь и нельзя быть таким, как Пивоваров. У человека никакой гибкости.

— Тоже верно,— согласился Сойкин не так чтобы охотно.

Они выпили.

— У меня еще есть задумка,— сказал Роман, помолчав.

— Ну?

— Хочу попробовать уговорить Канунникова на снабжение... Знаешь, сплю и во сне вижу: он вместо этого огорошенного Порошина.

Сойкин даже перестал жевать.

— Говорил с ним?

— Что ты! Я и думаю-то об этом по секрету от всех. Не дай бог сорваться. Хочу приучить его к новой работе, вызвать интерес. Да и вдруг заведется на стороне бабенка, самого потянет.

— Ты что? Семью рушить?

— Ох, Сойкин! Зря, должно быть, зовут тебя: «наш деятель». Почему ты не видишь, как живут люди? Да Егор и Варя давно тяготеют друг другом.

Сойкин нахмурил крутой лоб.

— Знаешь, я хотя и парторг, хотя и «ваш деятель», как ты говоришь, все же в замочные скважины не заглядываю.

— Обиделся! Кто в замочные скважины заглядывает? А души, в души разве не надо заглядывать?

— Насчет Егора я не согласен,— насупился Сойкин.— Это работник другого плана. И я не дам тебе низвести его до уровня толкача. Согласился в прошлый раз, но больше не дам.

— Не дам! Да разве я о толкаче толкую с тобой? Я ж его хочу сделать начальником снабжения. Бог и царь на заводе. Я его, снабженца нашего, в душе выше себя счи-

гал. Перед собой никогда не плюхнулся бы на колени, а перед ним иной раз готов: выручай, выручай, а то к чертям стреляться пойду.

— Эх как драматично! — Сойкин отвернулся.

— Ладно, черт с тобой, если ты не умеешь по-государственному смотреть на вещи. Я оставлю мечты о Канунникове. Но вдруг он согласится?

Сойкин, чуть захмелевший уже, раскатисто засмеялся. А Роман упрямо подумал: «Ничего, я его через Варю, не заметит, как будет делать то, что надо коллективу...»

Они еще подождали Варю немного, еще чуток выпили, плотно пообедали и, свернув скатерть, направились туда, откуда доносились звуки духового оркестра.

С Варей Роман встретился только на пароходе. Она сидела, держа на коленях уснувшего Славку, и лицо ее было красным то ли от свежего загара, то ли от смущения. Подошел, попросил:

— Заходи в каюту, уложишь сына.

### 30

В комнате с тремя койками по стенам, круглым столом на основательных ножках из потемневшего старого дуба и тремя тумбочками, тоже темными от времени, было тесно. Дни и моды не касались ее своими изменчивыми перстами, и потому в ней ничего не менялось, ничего не уходило и ничего не прибавлялось с того самого дня, когда впервые было поставлено и еще пахло свежим деревом, клеем, политурой. Но со временем эти запахи начисто утратились. Их выжил тяжелый дух общежития, где временно коротают ночи командировочные мужчины, не стесняющиеся курить, прятать по тумбочкам недоеденные банки рыбных консервов в томате, селедку, завернутую в листок местной районной газеты, мужчины, которые не моют перед сном ног.

Так выглядела комната в заводском доме приезжих, в которой поселился Егор Канунников. Опять надо было приспособливаться ко всему этому, забывать о себе, своих привычках, своем образе жизни. Условия требовали от него стать среднестатистической единицей, и он стал ею и, должно быть, поэтому так скоро сошелся с двумя парнями — из Пензы и Чистополя, жившими уже порядочное время в Чернореченске. Ребята чуть свет рванули на за-

вод, надеясь, что день начнется с везения, а Егор еще остался дома, если можно было назвать домом эту комнату. Вчера главный инженер назначил ему встречу на двенадцать часов дня, и он не хотел кому бы то ни было мозолить глаза до времени. Нет ничего хуже болтаться без дела. И люди на тебя смотрят как на пустое место, и сам чувствуешь себя так, будто в гости ввалился раньше срока, и хозяева поглядывают на тебя то с замешательством, то со скрытым раздражением.

То ли дело явиться к середине пирушки. Вот тогда ты уж самый милый, самый желанный. Тебе и штрафника поднесут, да не лафитничек, а фужер, и ты отнекиваешься, а сердце тает от общего внимания к тебе.

«Черта с два что получишь, если поспеешь к шапочно-му разбору, — возразил он себе, вспомнив, что он за гость тут. — Будешь канюкой, так и отколетса кое-что, а не будешь, так и уйдешь, с чем приедешь. Раньше говорили: «Несолоно хлебавши», а ныне скажут: «Уйдешь, кофе не отпив». Новое время — новые присказки, а смысл — один черт...»

Егора раздражало, что так бездарно начинался день. Пропадают лучшие утренние часы, и он не видел, чем их занять. Бродить по городу? Он знал его вдоль и поперек. Жметса к заводу булыжными улицами, темными от копоти и пыли домами. Построенный на болотине — и сейчас кое-где деревянные тротуары на высоких сваях — город в жаркие дни задыхается от черной пыли — болотная торфяная грязь, высохнув, делалась тонким ползучим порошком, который увязывался за легким ветерком, веревочкой вился за велосипедистами, тучей валил за автомобилем. Город далеко отстал от своих сверстников и соседей — то и дело велись разговоры о закрытии завода, и строительство Чернореченска сдерживалось.

И только пруд, старый пруд не был подвержен ни времени, ни политике развития индустрии, ни вкусам или безвкусице проходящих и уходящих малых и больших руководителей. Пруд, как море...

Как море!

«Почему так больно отзывается в душе всякая мысль о море? — подумал Егор, выходя на крыльцо. — Море, море... Единственное, что все еще не подвластно человеку на земле. Даже космос отступает, а море все так же скрытно, как и было».

Егор вышел из дома (из дома!), поднялся на плотину,

и вдруг перед ним открылась удивительная картина: два неба, одно над ним — голубовато-дымчатое, скорее опаловое, другое под ним — такое же голубовато-дымчатое, скорее опаловое, только без матовости того, верхнего неба, а с мокрым блеском безмятежно тихой воды: будто это нижнее небо было прикрыто стеклом, которое чуть-чуть мерцало.

«Здравствуй, море!»

«Восторженные люди чаще всего глупы, как пробка, и пусты, как выпитая бутылка,— остановил Егор себя, осудив свою нелепую восторженность. Но в душе остался бедредающий след.— А может, наоборот: восторженность оттого, что душа богата?»

Ни дуновение ветра, ни след лодки, ни капли, падающие с весла, ни игривый стрекозиный таран не возмущали поверхности пруда, не рябили даже. Вода казалась неживой, ненастоящей. Как далеко ей было до морской, вечно встревоженной воды, которая утром золотится под мягкими лучами солнца, днем голубеет, отсвечивая глубину небес, вечером гонит к берегу струящийся красный свет, ночью штормит, стараясь разбить, разрушить тоскующе-одинокую лунную дорогу.

Гальки на берегу не было. Вместо нее зеленел мартеновский шлак, принесенный сюда не водой, а людьми. Рядом с ним зеленела трава, и берег казался малахитовой каемкой громадного зеркала.

А там, на Раннамыйза, берег был крутой, изрытый, ошетилившийся изъеденными ветром, солнцем и водой гранитными глыбами, а в оврагах никогда не просыхала от росы трава. Там шум моря гулял по верхушкам сосен, где-то кричала иволга, а на берегу лежала женщина с острова Бали, которую он увидел тогда и больше уж никогда не увидит.

«Нина,— обратился он к воде, хотя эта тихая вода никогда не могла быть и никогда не будет Ниной. Нина.— это скорее всего то самое море, которое так скрытно и открыто, встревоженно, постоянно и переменчиво в то же время.— Почему прекрасное удается встретить в жизни всего раз? Ты не знаешь, Нина?— обратился он к воде, хотя та вовсе не собиралась быть Ниной.— Я хотел бы еще раз встретить тебя, но нам все-таки лучше не встречаться. Так я думаю и так, очевидно, будет. Таким, как я, редко везет. Им перепадают жалкие крохи счастья. А ты — это очень много».

Было неправдоподобно тихо и благостно. Перед ним лежал немой пруд. И лес позади него тоже немел от боязни нарушить тишину. На той стороне дымил немой завод и его двойник — завод, стоящий на трубах в воде, — тоже.

«Нина не могла бы в этой тишине. Она ей противопоказана. И мне тоже, — подумал Егор. — Я перестану думать. Тишина лишает человека внешних раздражителей. Я даже не готовлюсь к встрече с главным инженером. А что к ней готовиться? Может, он помнит меня? Когда-то даже беседы вели на самые высокие темы. Спасибо ему, что он не принимал меня за толкача. А хитер — на десяти пегих не объедешь».

Как бывший фронтовой разведчик, Егор мог бы заподозрить в этой тишине скрытые каверзы, но случается, и разведчики теряют нюх, как собака после горячей пищи, вот тогда разведчикам не остается ничего делать, как самим вести бой.

Это уже для разведчика — последнее дело.

Он шел на завод не берегом, а через город — любопытство все-таки взяло верх, а может быть, и привычка знать обстановку. За год кое-что двинулось вперед, — отметил Егор. Асфальтовые улицы и тротуары, новые каменные дома. Значит, завод снова в чести и его будущему ничто не угрожает?

В коридоре заводоуправления Канунников встретил своих соседей — чистопольца и пензяка. Вид у обоих был мрачный — у смуглого, чернявого чистопольца угрюмились темные глаза, у белокурого пензяка в голубых глазах растерянность, спина сутулится.

— Невезение? — спросил Егор сразу у обоих.

— Большое невезение, — сказал чистополец, а пензяк, болезненно сглотнув, сказал:

— Но, признаюсь, я даже рад этому. Надоело.

Он вдруг уставился на Егора обозленными побелевшими глазами, будто впервые видел его, и заговорил, не скрывая злости:

— А вы что бодритесь? И вырядились, как на парад? «Уполномоченный»... Один черт толкач, как и все мы тут, и нечего выпендриваться.

— Что-то я не пойму? — Егор пожал плечами. — Или вы не в духе, или я разучился понимать, что такое мужская порядочность?

— Объедала, как и мы...

— Ну, ну, поосторожней!— Егор шагнул к пензяку, но чистополец, преградив ему путь, подал газету:

— Почитайте лучше, чем ссориться...

— «Объедалы»... И называли-то как! По-всякому нас кликали, а так еще никто не кликал.

Канунников выхватил из рук чистопольца газету, и глаза его сразу схватили крупно напечатанное слово «Объедалы» и побежали по строчкам. Рядом ворчал пензяк:

— Психопат и чистоплюй. А может, идейный, сознательный толкач.

Егор понимал, что «психопат и чистоплюй» — это о нем, но не мог оторваться от газеты.

«Вечером они толпятся у гостиничного порога. Просят, требуют, вымаливают койку. Нет — спят в фойе на диване, назло бедным администраторшам... Утром осаждают буфет, съедают все подряд: молоко, сметану, колбасу. После них словно Мамай прошел. Кто они? Зачем приехали? Почему неделями бьют баклуши по городам и заводам?!» — Егор с жадностью читал интервью с доверчивыми толкачами, которые, очевидно, надеялись на помощь прессы, а их вон как обхаживали. Крепеж, прокат, трубы, запасные части к тракторам, фильтры, насосы, ферросплавы, — почти все, что производил этот уральский город, откуда писал корреспондент, значилось в этом своеобразном обвинительном интервью. — Но только кого оно обвиняло?

«В Сибири людей донимает гнус, — заканчивалась корреспонденция, — это действительно гнусная штука. Люди придумали защиту от него — накомарники. А объедалы, осаждающие гостиницы и не дающие возможности работать заводским руководителям, местным и центральным властям, куда хуже. От них не спасает никакой накомарник.

Пора запретить проживание в гостиницах объедалам. Пора закрыть перед ними шлагдаумы заводууправлений и хозяйственных организаций».

«Объедалы»... «Гнус»... «Накомарники»...

Сразу не доходило до сознания все то, что обозначали эти слова. Да и невозможно было поверить. И Егор в самом деле не поверил, повертел газету в руках, отыскивая название и дату выхода: «Новости», самый свежий номер. Все было правдой: и название газеты, все больше входящей в моду, и дата, и все-таки он не поверил в то, что было напечатано.



— Товарищ Канунников, вас ждет главный инженер, — услышал он голос секретаря, все той же молчаливой женщины, что была и раньше, но лишь постаревшей на один год.

А он стоял с газетой в руке, забыв о предстоящем разговоре и о том, зачем он сюда приехал. И только тогда, когда он вошел в знакомый кабинет, ничуть не изменившийся, и увидел главного инженера Рубанова, постаревшего, кажется, даже чуть-чуть больше, чем на год, Егор вдруг понял, что все те слова, начиная с заголовка «Объедалы», приписаны и ему, Канунникову, который выступает сейчас ни в какой другой роли, а именно в роли толкача, правда прикрытого авторитетом исполкома, стушевался, хотел сделать еще один шаг навстречу хозяину, но главный инженер опередил, подал руку, и его выпуклые глаза на крупном лице не выразили ничего, кроме усталости.

— Ну-с, — сказал он старомодно, — всегда рад своим друзьям. Как мы в тот раз любопытно поспорили! Помню, что поспорили, а о чем, убейте — не вспомню.

«Не читал», — подумал Егор и сказал:

— Убивать вас? — он все еще чувствовал себя до крайности неловко и выгадывал время, чтобы успокоиться. — Вы еще потребуетесь живой, — так что...

— Люблю откровенность! — засмеялся главный инженер.

— Что поделать? Все мы в чем-то эгоисты. А уж чтобы вас не убивать, я напому, о чем мы спорили.

— Да.

— Действительно ли одаренной скрипачкой была бельгийская королева Елизавета или это блажь.

Рубанов глухо засмеялся:

— И у нас на это было время?

— Кажется, не было.

— Всегда так... Вспоминаешь вчерашнее и думаешь, что оно было разумнее, Егор Иванович, хотя это и не так.

— Спасибо, помните...

— Как же, как же. У вас такое все складное: Егор, да еще Иванович, да еще Канунников. Мне нравится, неплохо придумали ваши родители.

Они прошли к столу. Рубанов, не садясь, продолжал:

— Ну-с, мне полномочия ваши известны, с письмом я ознакомился. Только не пойму: они же знают, что ничего, что они просят, у нас нет и не будет в ближайшее

время: ни марки «ХГ», мы ее не освоили, ни «У12А». Мы всю ее отправили Новоградскому машиностроительному.

— Зачем она им?— удивился Егор, зная, что мастеровцам не нужны инструментальные стали.

— Как зачем? Мы же им поставляем. Другие марки, правда. Но их не было, пришлось отдать вашу. Помните решение обкома об их почине? Они же обещали к Октябрьской годовщине дать годовой план.

Егор читал решение, знал о почине, но ему и в голову не могло прийти, что это ударит по их заводу, по нему самому. Обсуждали на партсобрании, добрые слова говорили, даже стыдно было, почему сами до этого не дошли, немножко славы никому еще не мешало.

«Слава, слава... Но зачем они гонят свои железнодорожные краны, у которых умения-то всего уголь грузить. А кому нужно, если паровозы сняты с вооружения?» И он сказал об этом Рубанову. В ответ услышал глухой смехок и что-то вроде анекдота о том, что где-то на Украине обнаружили завод, делающий краники для паровозов. Делает и знать не знает, что паровозы уже не выпускаются. И ведь исчезали куда-то краники бесследно.

— Курьез,— сказал Егор.

— Курьез — да,— подтвердил Рубанов,— но ведь и курьезы не рождаются на голом месте.

«Интересно!— подумал Егор.— Мыслит мужик».

А Рубанов продолжал, уже сидя на своем месте за столом и усадив в кресло Егора:

— Я понимаю ваши трудности, Егор Иванович, и обиду на статью. Правда, все в ней поставлено с ног на голову. Горит крыша, а воду льют на пол. Но...— Он выставил руку ладонью вперед,— но я не принимаю вас за того, о ком там написано. Будем говорить, как инженеры. Значит, вам нужна сталь марки «ХГ»? Марганцево-хромистая. Кто раньше вам ее поставлял? «Электро-сталь»? Придется туда обратиться, а мы не сможем дать. Насчет углеродистой подождите, может, и сварим в эту неделю. Понимаете, у нас большая партия «УЗ». Технология обкатана, люди принаровились, печи настроены. А тут из-за одной плавки перестраиваться. Но мы все-таки это отбросим: надо, значит, надо, мы были обязаны вам поставить эту марку, ничего не напишешь. Однако сталевар, который мог бы сварить такую сталь, болсен. Молодые? Да, есть у нас талантливые ребята. Боюсь, что никто из них не попадет в анализ.

— Так что же делать?

Рубанов тихо, как бы про себя, засмеялся:

— Принять в этом участие, как в прошлый раз.

— Что ж, я готов... Только тогда пришлось иметь дело с молодыми,— Егор задумался,— а сейчас?

— У нас есть один старикан... Военной поры мастер, Виловатов Филипп Прокопович. Ему за восемьдесят. Если он захочет, вы уедете со сталью.

— Я понял. Начальник мартеновского тот же?

— Да, ваш знакомый.

— Спасибо...

Егор вышел из заводоуправления. Перед ним дымил трубами, громыхал прокатными станами, полыхал заревами созревшего в мартеновских печах металла завод. Тысячи людей делали свое огневое дело, делали день и ночь. На десятках, а может, сотнях таких же, а то и во много раз больших заводах люди тоже плавил и прокатывали металл, но его все равно не хватало.

«Черт же возьми,— подумал Егор, злясь,— и я вот должен, бросив свое дело, за кого-то работать, за того, кто не умеет свести концы с концами, должен бегать, собирать бригаду сталеваров, которые смогли бы сварить именно эту, только эту сталь. Бросить, бросить все, как тот пензяк».

### 31

Иван и Эдгар сидели, склонившись над ПАКИ. Иван включал прибор, вмонтированный в столик, мотор начинал недовольно гудеть, повизгивая, будто жаловался на бесполезную работу. С прибором получались какие-то странности: при проверке одного и того же индикатора он давал разные показания. Раз за разом Иван нажимал на пуск, на бумажной ленте точками обозначались графики отклонений, различные по форме и амплитуде.

— Ты какую-нибудь закономерность видишь?— Иван повернулся к Эдгару, и на лице его, по-детски открытом, отразилось недоумение. Хохолок светлых волос упал, как побитый петушинный гребень. В прищуре глаз его чувствовалось внутреннее смятение.

— Закономерность?— Эдгар как-то странно мотнул головой, точно освобождаясь от петли на шее.— Закономерность можно вывести из нормального поведения, тут черт те что...

— Закономерность должна быть. Видишь, он дает погрешности только после длительной работы. Тебе это о чем-нибудь говорит?

Эдгар оглянулся на цех, пальцем поманил Яшку-слесаренка. Яшка с радостью сорвался с места, должно быть надоело парню корпеть у монтажного стола. Подбежал, бедово глядя на Эдгара светлыми ясными глазами, подбоченясь, пропел:

Паки, паки,  
Серые собаки.  
Кто скажет,  
Кто улыбнется,  
Тот и съест...

Иван прищурился, улыбаясь. Но Эдгар сидел с неподвижным лицом и плотно сжатыми губами, как человек, вступивший в заговор молчания.

— Иван Георгиевич, извольте распорядиться, когда доставить вам собак...— продолжал молоть слесаренок.

— Яшка, твоя голова, по моему разумению, излишне вентилируется,— заметил Эдгар,— может быть, кое-где поставить заглушки? Хотя бы тут,— и Эдгар пальцем сделал кружок в воздухе вокруг Яшкиного рта.

— Присядь,— попросил Иван. Яшка послушно присел к столу, стал серьезен.— А что, если центровка фальшивит?— спросил Иван.— Отсюда и вся эта чепуха...

— Нет,— твердо сказал Яшка,— центровка — нет. Электроника — да.

— Что? Электроника?— Эдгар мгновенно повернулся вместе со стулом, будто стул под ним был вращающийся, как у пианиста.

— Да. При барахливой центровке погрешности были бы сразу, а не через сто операций. А что, не так?— Яшка победителем взглянул на вдруг оживившееся лицо Эдгара — и в самом деле вместо всегдашней серьезности на темном лице Эдгара проступило что-то похожее на улыбку. Странно было Яшке видеть это, и он отодвинулся даже, признав улыбку за крайнее Эдгарово возмущение. Но Эдгар провел ладонью по жестким Яшкиным волосам, постучал пальцем по лбу.

— Варит!— только и сказал он.— Проверим еще раз схему. А ну, катать отсюда!— И он спихнул Яшку со стула. Яшка взмахнул руками, но удержался, не упал, побежал к своему столу, напевая:

И уже серьезно добавил:

— А собаки-то, Эдгар Васильевич, товарищ По, зна-чит, твои.

— Ну?— Иван вопросительно уставился на Эдгара.

— Что ну?— Эдгар сразу как-то поскучнел.

— Проверишь?

— Проверить-то проверю, но я ручаюсь за приставку.

— За что же тогда похвалил Яшку?

— Умеет выкручиваться.

Иван покачал головой, как бы говоря: взрослый ты, Эдгар, а не лучше Яшки.

Попросил позвать дядюшку Аграфена, тот точил в нижнем цехе. Как всегда озабоченный чем-то, Аграфен поднялся наверх. Весь вид его: широкое лицо с выражением сосредоточенности, глаза, которые часто останавливаются на одной точке и как бы прикипают к ней,— все говорило о его занятости.

— Агафон Савельевич,— сказал ему Иван,— сейчас Эдгар размонтирует ПАКИ, ты возьми диск и хорошенько посмотри. Боже упаси оцарапать или уронить. Понял? Нас интересует точность центровки диска: видишь, на нем закреплены концевые меры длины. И нет ли забоинок на плитках.

Аграфен в искреннем недоумении уставился на Летова.

— Иван,— сказал он с проникновенной просительностью в голосе,— освободи меня от этого. Завяз я со своей панелькой. Сам знаешь, как она нужна.

— Знаю. И панельку знаю, и как она нужна, тоже.— Иван, хитровато щуря глаза, в упор смотрел на Аграфена. Он видел его насквозь — поскорее сдать приспособление, получить законное вознаграждение. Ах, Аграфен, ничего-то нет у тебя за душой, кроме корысти. Аграфен стоял перед ним ошетинившись, и это вызывало у Ивана неприязнь к нему.— Знаешь что, дядюшка, у нас тут не артель «кто во что горазд».

— Иван, ты всегда несправедлив ко мне. Вот Егор Иванович... Мы понимаем друг друга. Он никогда не отстранил бы меня от панельки.

— Агафон Савельевич, я же тебя не отстраняю. Но кто, кроме тебя, может найти у Яшки ошибку?

— Ах, Иван, Иван, нет в тебе жалости.

Они размонтировали прибор, Аграфен, все еще не смилившийся с тем, что его оторвали от панельки, завернул диск в бархатный лоскут и отправился в свой чуток. Он устроил для себя что-то вроде кабины, отгородившись от соседей — не переносил, когда ему мешали. Эдгар занялся своей приставкой, а Иван засел за расчеты, отодвинув в сторону бумаги, которые так и останутся тут ждать возвращения Канунникова.

В цехе пилили, сверлили, слышалось осторожное постукивание молотка. Под ногами подрагивал пол — кто-то точил в нижнем цехе: наверно, Яшка пробует еще один диск. Иван не умел охватить работу всех и каждого в их небольшой лаборатории, как умел это делать Егор, но он знал, что ребята не нуждаются в понукании, хотя в общем-то не мешало бы знать, кто чем занят. Иван собирался это дело наладить, но слишком уж захватывало его то, что было на монтажном столе, личном рабочем месте. А Егор легко успевал, умел делать все.

А если бы все время он тратил на лабораторию? Если бы давали ему это время? И почему он соглашается? А я вот не потрачу ни одного своего часа ни на что другое. Когда-то я дал себе эту клятву...

И он вспомнил. Это было в родной танковой части, вручал ему полковник грамоту за активную рационализаторскую работу на ремонте машин. Как слова присяги, чувствуя холодок в груди, Иван повторил тогда слова, сказанные полковником:

— Так точно, товарищ полковник, ни одного дня без творчества.

— Чтобы это было твоей жизнью, товарищ Летов.

— Так точно, товарищ полковник, это будет моей жизнью.

Он был тогда еще совсем мальчишкой, сержант Иван Летов, но сколько было уверенности у него в том, что он проживет жизнь так, как захочет.

Ну, а разве он не так живет?

Егор Канунников поднялся по железной лестнице с натертыми до блеска широкими рубчатými ступенями на рабочую площадку мартеновской печи, самой маленькой на заводе, которая потому и оказалась живучей после многих стремительных реконструкций, что, как никакая

другая, годилась для маловесных плавок. А они были не столь уж редкими.

Неловкость, которую Егор еще недавно испытывал перед сталеварами, прошла, потому что он почувствовал, что не просто торчит тут, у мартена, а участвует в нем — в немыслимо трудной и немыслимо нужной плавке, и это поставило его в ряд с людьми, чьи лица золотились от света стали, чьи движения были завидно спокойны и уверенны, чьи губы были сомкнуты не из-за спесивой гордости, а из-за молчаливой деловитости. Было в повадках сталеваров что-то первобытно-открытое и в то же время извечно мудрое, сходное с колдовством, почитанием божества, хотя сами сталевары об этом не могли думать, да и Егор не мог принять это всерьез. Он прошел через площадку. Жар охватил его тотчас, как только он встал рядом со стариком-сталеваром, маленьким, худым, будто высушенным тут у мартена за долгие годы работы. Он был безбород и безбров, глаза его тонули в морщинах, но поблескивали остро и требовательно, а лицо казалось румяным и чем-то неуловимо и обидно точно напоминало чуть поджаренный блин, только что снятый со сковородки.

«Рад старик,— подумал Егор, проникаясь теплым чувством к сталевару, который не стал ломаться, когда его попросили выручить инструментальный завод. И к себе у Егора на миг вспыхнуло подобное же чувство: не кто-нибудь, а он уговорил старика, о котором так много писали в газетах в те уже давние военные годы, и вытащил его в трудную минуту из небытия.

— Ну, как она там, Филипп Прокопович?— спросил Егор старика, стараясь и самим вопросом и тоном показать интерес любознательного человека. Старик взглянул на него с недовольством и вместо ответа юрко бросился к печи. Он стал заглядывать в нее, в какие-то невидимые Егору дальние углы, белый блеск металла слепил Егору глаза, жар жег щеки, было удручающе душно. И обидное обращение с ним старика опалило лицо, теперь уже изнутри. Старик вернулся к нему, но на его вопрос отвечать не стал, то ли забыл о нем, то ли счел его праздным, а заговорил сокрушенно:

— Не улавливаю, отвык. Кажись, век ее не видывал. Какая оказия!

Он опять побежал к печи, за что-то отчитал парня, стоящего у завалочного окна, набросился на другого, что

лопатой забрасывал в огонь известняк. Но парни, Егор хорошо это видел, воспринимали шумливость старика не больше как вздорность, им-то какое было дело до его прежней славы и прежнего колдовства. Это были другие люди, приученные к другой работе, знающие сталь не по оттенкам цвета ее поверхности и не по искре, а по ее химическому составу и кристаллизации, и они, конечно, уж никогда не поймут старика и не будут колдовать у печи так, как когда-то колдовал он и пытается колдовать сейчас, если сталеварение не ринется вспять и люди заново не начнут открывать законы рождения металла.

И чем дольше шла плавка, тем разлад между сталеваром и его подручными казался Егору все более заметным, а потом и непоправимым. И он ругал себя за то, что не додумал, не сообразил, что не всегда в сочетании старого и нового можно найти свежее качество. Получалось, что они исключали, а не дополняли друг друга, эти представители двух эпох металлургии. Но что, что теперь можно поделаться? Рубанов упреждал его: у старика далеко не ангельский характер, да и методы работы не под стать нынешним. Но Егор, вспомнив громкие успехи старика в прошлые времена, поверил в него и в свою звезду. И вот что из этого вышло.

Ясно, что Рубанов больше не позволит валандаться, выставит с завода.

Вот тебе и музыкальные способности бельгийской королевы... Вот тебе и таллинские флюгеры... Вот тебе Егор Канунников и его пагода.

Он наблюдал, как кипела в печи сталь, как струилось под сводом слоистое красно-белое пламя, как обтирал пот с лица войлочной шляпой вконец изругавшийся старик, как неторопливо и важно делали свое дело молодые сталевары — всех их Егор ненавидел сейчас, — и он едва удерживал себя от того, чтобы не сорваться с места и не удрать куда глаза глядят.

Печь была маленькая, с одним завалочным окном, и когда Егор, отвернувшись было, вновь оглянулся на нее, все это — и каменная кладка в крепкой стальной арматуре, и открытое окно с вихрями огня и клокотанием стали, и солнечной силы жар — до ужаса напомнили ему то, что с ним случилось на болотистом дефиле в Белоруссии, что было так давно и что теперь уже казалось неправдоподобным, будто его и не было вовсе. Тогда



его разведчики проглядели немецкий взвод, пришлось самому прикрывать полк. Тогда Егора и ранило в бок. И он отшатнулся в суеверном страхе, а когда взял себя в руки, то подумал, что тут, пожалуй, пострашнее.

«Я бессилен что-либо сделать,— еще подумал он,— ничем здесь не прикроешь амбразуру, даже жизнью, если она тебе окончательно опротивела. Твоя жизнь тут вспыхнет факелом, и после прокатки отметят в структуре металла инородные включения. И никто не подумает, что это зола твоих костей. А может, и не обнаружат,— может, все это сойдет вместе со шлаком и напоследок захватит с собой излишки фосфора или чего там еще можно захватить. Ведь кости-то мои состоят из известии...»

И когда он убедился, что окончательно бессилён изменить что-либо в ходе плавки, вдруг почувствовал необыкновенную ясность в мыслях, как бывало у него, когда он долго и безуспешно бился над открытием решения какой-то технической задачи, а открытие не приходило. Но тут вдруг являлась необыкновенная ясность: и решение-то оказывалось до обиды простое, и лежало оно совсем рядом.

«Уйти, уйти»,— подумал он. Другого решения не подсказала столь дорогая ему ясность. И он поначалу удивился такому выходу из положения и бесплодности своего редкого состояния, которое можно было сравнить с озарением, с божьим провидением, если бы, конечно, он верил в бога. Но он не верил в бога и потому считал, что состояние открытия — это состояние высшей мобилизованности и знаний, и опыта, и могучих усилий. Это высшее состояние духа, как бы разряд тока высокого напряжения, где замыкались на конкретной цели данное Егору природой и приобретенное им за годы жизненной и инженерной учебы. И всегда вспышка эта завершалась высшим результатом. Сейчас она не дала ничего, кроме пассивного «уйти».

«Неужто это и есть самое высшее, что я сделаю сейчас?» — подумал он, еще раз расстроено оглядываясь на печь.

Егор не знал, что как только он ушел с завалочной площадки, спустился вниз по шихтовой эстакаде, заспешил к выходу, перепрыгивая через рельсы, старый сталевар Филипп Прокопович снял шляпу, вытер ею лоб, и безбровое и безбородое, безобразное в своей старческой нелепости лицо его озарилось чем-то похожим на улыбку.

ку: с первых до последних дней его жизни у мартена он не любил и никогда не полюбит соглядатаев. Он считал и будет считать, что не работающий и думающий, что он работает, не менее жалок, чем нищий, и не менее вреден, чем тот, кто берет чужое. И хотя у старика ничего не изменилось в отношениях с молодыми сталеварами — он работал на глазок, «на опыт», они все время сверяли плавку с приборами, но в странную эту бригаду пришло молчаливое согласие, когда никто друг другу не мешает, но каждый делает по-своему. Иной раз это тоже приносит успех...

Егор спешил к проходной, и никакое другое чувство, кроме досады, не владело им. Досада, что он ошибся, и теперь столь громкая его поездка окажется просто-напросто пшиком, и Роман посмеется над ним. И если он хотел раз и навсегда покончить со всем этим, то под занавес должен был бы сделать что-то из ряда вон выходящее. Этим могла быть сталь, которую здесь не плавил бы, если бы он не вмешался, сталь, без которой он не мог вернуться в Новоград.

Он вышел из проходной, но забыл оглянуться на завод, как делал это всегда по привычке разведчика, и направился через площадь, белую от солнца, пыли и выгоревшего асфальта.

Пензяк уехал, в Доме приезжих маялся бездельем чернявый чистополец. Он обрадовался Егору, полез в карман за картами.

Егор отмахнулся, достал из чемодана бутылку спирта. Он берег ее, чтобы отпраздновать со сталеварами рождение новой стали, но было видно, что обмывка не потребуется. Неприятно лишь то, что приходилось пить со случайным собутыльником, а Егор никогда не опускался до этого. Он легче отдавал свои пол-литра, чем делил их с тем, с кем не хотел. А тут нигуда не денешься. Неприятен был и сам чистополец своей безликостью, и тем, как притих, приняв приглашение, и как глядел на спирт, будто на седьмое чудо света.

— Давай,— махнул Егор рукой,— что есть закусить. Сохранил, чтобы выпить за здоровье, а пришлось пить за упокой.

Чистополец проворно достал банку консервов, одним ловким движением вырезал донышко — резко запахло

одесскими бычками в томате. Этот запах всегда вызывал у Егора спазмы в желудке, как перед рвотой. И чтобы заглушить неприятное ощущение, он налил спирт в стакан и, не разведя и не чокнувшись — за упокой не чокаются, — выпил. Раза два громко и глубоко вздохнул и почувствовал необыкновенно приятную теплоту, охватившую его всего с ног до головы.

Через полчаса он уже сидел в обнимку с чистопольцем и неверным и все же приятным тенорком пел грустно:

Потеряла я колечко,  
Потеряла я любовь,  
Ой да любовь...

Чистополец не знал песни и лишь раскрывал беззвучно рот, пока не улавливал слово, а уловив, успевал лишь подхватить хрипловатым басом его окончание.

За окном темнел пруд, не отражая ни неба, ни берегов, ни города. И он уже не вызывал у Егора никаких воспоминаний. Жаль, что проворонил единственный до Новогграда поезд, укатил бы сегодня же ко всем чертям собачьим.

Мрачные раздумья одолевали его, хотя он старался и не поддаваться им. Что он приобрел и что потерял в этих поездках? Всегда привозил сталь, и это было приятно ему самому, не говоря уже о том, что завод обеспечивался работой. Но он «проездил» должность главного технолога... Проездил «алмазный вариант»... И с семьей что-то не то. Не оглох же он душой, чтобы не чувствовать этого! И тут еще этот чистополец с одесскими бычками, от которых Егора всегда поташнивало.

И только свое, родное не изменило ему: автоматический прибор. Хоть и без него, но он родится, родится! А если бы его не было, что бы еще оставалось у Егора?

### 33

Егор проснулся: дежурная стояла над ним и трясла за плечо. Чистопольца уже не было в комнате.

— Главный инженер просил вас позвонить, — сказала она и вышла.

Вспомнил вчерашнее, поморщился, как от зубной боли: дошел, достукался... Бежал, что называется, с поля боя, собутыльничал с пошлым человеком... Докатился!

Егор умылся, надел свой неизменный в командировках костюм стального цвета, скроенный из ткани, которая не мялась, вышел в прихожую, чтобы позвонить. Дежурная смотрела на него во все глаза: только что видела заспанным, с опухшими после веселья веками, и вот уже стоял перед ней подтянутый, аккуратный мужчина, приятный своей обходительностью.

Рубанов спросил лишь об одном: будет ли он ждать, когда прокатают сталь?

«Сталь? Катать? Что он издевается надо мной!» — первое, о чем подумал Егор, услышав вопрос главного инженера. Он не мог поверить, что плавка удалась.

— Какая калибровка? — не отвечая, спросил Егор, зная, что ответ главного инженера положит конец всем его сомнениям — или пан, или пропал.

Рубанов назвал калибровку, Егор сразу представил, что это такое — четверть металла пойдет в стружку, и то, что он получит сполна по наряду, обернется против него и его завода: считай, что эту четверть они не получали или не получают. Кто ее компенсирует?

— Не могу согласиться, — сказал Канунников и убедился окончательно, что чудо все-таки совершилось, поскольку главный инженер стал говорить о прокатке как о практическом деле: на заводе нет других валков, и потому нужной калибровки они инструментальщикам дать не могут. Странно, все это знают, но не учитывают при разработке планов снабжения.

— Не могу согласиться, — повторил Егор скорее для того, чтобы еще раз убедиться, что разговор идет всерьез и что сталь получилась, чем для того, чтобы выторговать нужную калибровку: раз нет валков, он же не дурак, чтобы не понять этого.

Рубанов уже с нетерпением сказал:

— Решайте: если нужно то, что мы можем дать, будем катать сегодня в ночь. Ради вас уговорил директора на перевалку мелкосортного стана. Хотя заказ у нас идет очень выгодный, и мы бы за ночь накатали уйму, а теперь провозимся с вашим микрозаказом.

— Ладно, — согласился Егор, окончательно поверив в удачу, — утром я смогу отправить?

— Да, — сказал главный инженер. — Утром — да. А сегодня приходите ко мне на чашку чая.

Егор, признав приглашение чуточку странным, все же не мог отказаться. Но тут же оправдал главного инже-

нера: они старые знакомые, и он, Егор Канунников, к тому же «человек из области»...

И все, что было вчера: его бег из цеха, спирт, одесские бычки в томате и чистополец с его повадками настоящего толкача — все это показалось сейчас Егору наговором, и он почувствовал себя счастливым. Кто над кем посмеялся: газета над ним или он над газетой? Могла бы родиться сталь, которая так нужна заводу, без приезда его, Егора Канунникова? Нет, не могла бы. И кто еще посмеет его судить и обзывать обьсдалой?

И пока он шел на переговорный пункт, чтобы вызвать Новоград и рассказать Роману об удаче, он уже верил твердо, что не зря приехал сюда, не зря ест хлеб. Но тут явилась новая вина: марганцево-хромистую сталь все же он не достал и кто сумеет ее достать и когда? Да и кто сможет ее достать скорее, чем он? И когда вызвал Романа, Егор был уже убежден в том, что должен поехать на подмосковный завод «Электросталь», что должен «выбить» в Москве новые наряды.

Роман не мог скрыть радости, выслушав Егора, и тотчас принял решение: Егору незачем заезжать в Новоград, а лучше самолетом прямо в Москву. Командировочные документы, деньги и все' другое он получит на почте, до востребования, как всегда. Может быть, «все другое», то есть «шанцевый инструмент», чуть-чуть запоздает, не посылать же курьера со спиртом?

Егор вышел из кабины, постоял, задумавшись. Что-то не нравилось ему в том, что с ним происходило, но остановить себя он уже не мог и чтобы окончательно утвердиться в правильности своего поведения и очистить душу от сомнений, снова заказал Новоград, на этот раз Ивана Летова. И когда он услышал знакомый глуховатый голос друга и сподвижника, сердце его сдавило, как бывает от внезапной радости или от совершенной ошибки, которую ты только что увидел, и сразу представилась ему пагода, работающие люди, каждый из которых много, ох как много стоил, он-то, Егор, знал это. И его на миг захватило чувство утраты.

— Ну, ты скоро там закончишь дела?— услышал он голос Ивана.

— Скоро,— сообщил Егор.— В ночь прокатают сталь, и я ее утром отправлю. Знаешь, Иван, победа пришла так неожиданно, что я еще не совсем верю в нее.

Иван помолчал дольше, чем надо, и сказал суше, чем говорил всегда:

— Чем больше у тебя таких побед, Егор, тем хуже для тебя и для нас всех.

«Иван всегда был несколько прямолинеен», — подумал Егор, но спорить сейчас было бесполезно, и он перевел разговор на другую тему, спросив, как поживает ПАКИ.

— Трудно с ним, — сообщил Иван, — большие погрешности, и ничего не можем поделать.

— Закономерности? — тотчас спросил Егор и сразу же вошел в дело, как он это умел.

— Погрешности появляются при длительной работе.

— Где у тебя мотор?

Но Иван уже все понял: мотор он поставил под одним кожухом с измерительными контактами и со всем механизмом. Мотор при длительной работе нагревается, передает тепло, вот и погрешности.

— Перенесу мотор вниз, — сказал Иван. — Ну, так ждать тебя?

— Иван, — в голосе Егора послышалась виноватость, — я еще должен съездить в Москву. Здесь ничего не вышло с марганцево-хромистой сталью.

— Как ты не поймешь?.. — услышал он слова Ивана, но их разъединили.

Так нелепо и закончился разговор. Егор раскаивался: уж лучше бы не звонить. Виноват он в чем, что ли?

И весь день этот разговор не выходил из головы, хотя Егор все больше укреплялся в мысли, что ведет себя правильно и что и вторую часть взятой на себя задачи — достать металл на «Электростали» — ему пристало выполнить так же, как и первую. И сделает он это для завода, и для себя, и для Ивана тоже. Что бы они там, на заводе, делали без него? Егор вроде бы успокоился. Но когда вечером поднимался на горку над прудом, где стоял кирпичный, четырьмя окнами к воде дом главного инженера, вновь ощутил неприятный осадок, бередивший душу. Постоял на крылечке, раздумывая: позвонить или вернуться в свой (свой!) Дом приезжих? Встреча с Рубановым была ни к чему. Какой может быть разговор за чашкой чая, если из головы не идет глупое молчание Ивана в трубку и его слова, которые тот не сказал, а вы-

резал на металле алмазным инструментом: «Чем больше у тебя таких побед, тем хуже...»

Экий мудрец из Сарагоссы...

Но Егор все же позвонил.

— А я думал, вы уже ту-ту!— сказал Рубанов, открыв дверь.

— Разве «Ту» у вас садятся? Вот не знал...

И они оба засмеялись. Непринужденность встречи пришла сама собой.

Дома — в темно-серой блузе, широких черных домашних брюках и шлепанцах — Рубанов выглядел стариком, он устало горбился, большие навывкате глаза его были полны грусти, какая ни с того ни с сего накатывается на человека такого вот возраста, когда он, хотя бы на время, остается без дела.

— Недоверчивый вы человек, Егор Иванович. Отправили бы завтра вашу сталь.— Рубанов шел впереди Егора, шаркая шлепанцами по голому, золотистому от охры полу — ковров и дорожек в доме, должно быть, не признавали.

— Привычка, знаете,— сказал Егор.— Отправить да еще вслед поглядеть.

— Удостовериться, что не ошибся?

— Да, все сделал как надо!

Егор прошел вслед за Рубановым в боковую комнату, из окон которой на две стороны виднелся пруд с тусклыми отблесками зари на тихой воде. У круглого стола, покрытого льняной скатертью с северным красным орнаментом, стояли два гнутых легких стула. Две чашки на столе были тонкого фарфора и большие.

«В этом доме любят чай»,— догадался Егор, увидев на низкой подставке белый самовар с черным шнуром электрического провода.

— Прошу, Егор Иванович!— Рубанов показал на стул, а сам поднял самовар и поставил на середину стола.— Моя Анна Васильевна гостит у дочери в Нижнем Тагиле. Один, как видите.

Он грузновато сел, стул под ним скрипнул.

— Для начала рыба. Сам готовил, не знаю, что и получилось. Сазан. Свой, из-под окна,— и он кивнул на окна, за которыми оловянно белел пруд, погасивший последние краски заката.

После вчерашних бычков в томате сазан был пищей

богов: нежен, хорошо пропитан соусом, приятно пахнет, только кости — сколько же их в нем! — все время заставляли быть настороже.

Они ели, обмениваясь незначительными фразами, а то и молчали, выплевывая на тарелки кости, и Егор никак не мог взять в толк, зачем главный инженер пригласил его к себе. Уж не такие они друзья, да и сдружила-то их бельгийская королева, и ничто больше. Письмо об-исполкома тоже не в счет — мало ли людей ездит с такими письмами. А может, наскучило одному да и рад каждому новому человеку?

«Ясно, все дело в этом», — с определенностью подумал Егор и перестал доискиваться причины, и все для него стало обычным и уже не таило за собой глубокого смысла. Ему хотелось, правда, выяснить, как в прошлую ночь свершилось чудо и он, Егор Канунников, оказался не в хвастунах, а в героях, но начать разговор ему казалось неловким, и он молчал об этом.

Они пили чай и, не открываясь особенно друг другу — Рубанов по природе был осторожным человеком, да и жизнь научила, а Канунников, чтобы не выглядеть глупым: откровенность не у места — разве не признак глупости? — и все же касались того, что их волновало. Обоим не по душе были приступы бахвальства, которые охватывали то одну, то другую столичную газету. Это тянуло людей к шумихе, лишало деловитости. В спешке не успевали оглядываться, считать удачу и потери, научно их анализировать. Для Егора, наблюдающего все это своими глазами, не было тут откровения, но то, что Рубанов говорил об этом, было для него интересным.

— Вы давеча взяли меня в штыки — не та калибровка, — говорил Рубанов, отпивая чай и не выказывая, как всегда, ни нетерпения, ни волнения, — а у нас по ГОСТу другой и нет. Да и невыгодна нам мелкосортица. Так нам планируют, так учет ведут и так деньги рабочему платят. Читал в журнале: мы вот-вот достигнем высшей производительности труда в прокате металла. Но мы гоним тонны, а не сортамент, а потом около половины наших тонн нам же возвращают машиностроители, но уже в виде стружки.

— Ну почему никто не восстанет против этого? Видят же!

— А знаете, упадет производительность труда в металлургии, если сделаешь по-вашему.

— Разве машиностроители не восполнят?



— Но то машиностроители... Это же другая отрасль.

— Но не держава.

— В том-то и дело.

«Черт те что», — подумал Егор, и вдруг мысли его стали ясными-ясными, как бывало у него всегда, когда он близко подходил к открытию: в Москве, в Госплане, где придется «пробивать» переадресовку нарядов, он и выложит все это. Будет наступать, а не просить, выводить на чистую воду всю эту плановую бесплановость, а не тыкать в нос нарядами, за которыми нет состояния.

— Капитализм глуп погоней за барышами, — сказал спокойно Рубанов, но Егор видел, что внутренне он напряжен и взволнован. — Социализм во сто крат умнее его, умнее целесообразностью затрат и разумностью планов и задач. Какую неслыханную отдачу получали бы мы, будь у нас все построено на научной основе. Партия сейчас этого от нас и требует.

Рубанов допил чай, по-деревенски опрокинул чашку вверх донышком, но застыдился вдруг и поставил ее в прежнее положение.

— Ваши слова насчет высоких обязательств новоградцев заставили меня думать все эти дни. А ведь верно: зачем? В научно построенном хозяйстве?

— Да какое там научном? — не удержался Егор, хотя не в его правилах было поддакивание. — Вот у нас, в машиностроении. Нашлись умники, объявили поход: больше оборудования на квадратный метр цеха. Новейшую технологию побоку, лишь бы моде угодить.

Рубанов промолчал, взял чашку, поставил под краник самовара, чуть повернул. Кипяток потек витой струйкой, будто кто ее нарочно скручивал. Он глядел на струйку, о чем-то думая. Молча подлил чаю, взял в рот кусок сахара.

— Не хотите ли вы еще? — обратился он к Егору, будто только сейчас его заметил за столом.

— Пожалуй, — согласился Егор, хотя чаю ему уже не хотелось, он надеялся лишь, что главный инженер раздобьется и еще пофилософствует. Сам бог послал Егору этот вечер, умного старикана. Но Рубанов, кажется вне связи со всем, о чем они говорили, бросил:

— Чем крепче научная основа, тем меньше аппарат. Это противоречие надо видеть и не давать ему разрастись. Иначе аппарат станет врагом науки, и врагом номер один. — Но связь с прежним разговором была, Рубанов

говорил дальше:— Вот и соревнование... Вроде бы отметить можно, коль теперь все учитывается, счетные машины есть. Но в соревновании проявляется характер нашего общества, новые привычки человека.

— Значит?

— Значит, соревнование в нынешних условиях — это инициатива масс, их творчество, помноженное на счетную машину. Инициатива масс, основанная на научных данных.

— Что ж, такое соревнование принимаю,— согласился Егор.— Если бы оно еще и требовало ответственности за производство.

— Поясните...

— Деятельность людей, как работающих, так и руководящих, мерить эффективностью их труда, отдачей. И ничего при этом не брать во внимание, кроме научной доказательности.

Рубанов задумался, проговорил:

— Да, это первое спасение от безответственности.

Он допил чашку, не постеснялся на этот раз поставить ее кверху донышком и вытер полотенцем худую стариковскую шею. Егор не спеша допил чай и тоже поставил чашку вверх донышком. Оба рассмеялись, как и при встрече, будто и не было между ними проведенного вместе вечера, выпитого самовара, разговоров.

Прощаясь, Егор не удержался, спросил, что ж все-таки произошло в цехе в ту ночь? Зачем было ему скрывать, что его роль в рождении стали мизерная, а может, ее и нет вовсе? И он, смеясь над собой, рассказал о последней бутылке спирта, об одесских бычках и охочем на выпивку чистопольце. Хозяин чуть повеселел лицом, но не рассмеялся даже, а лишь притаил в глазах вдруг родившуюся усмешку, пожал плечами, сказал:

— Что вы, все шло нормально! Только вам, привыкшему к точному производству, наше показалось не столь точным и привлекательным. Да и старик излишне шептун,— закончил Рубанов.

А Егор подумал о том, что он просто влез в чужое дело...

Самолет прилетел в Быково в полдень.

Егор добрался до Москвы, сел в метро и вышел на площади Дзержинского, хотя до Главного почтамта ближе всего от другой станции.

Он шел по улице Кирова, которую любил и которая о многом напоминала. Вот двухэтажный за стеклом магазин. Еще недавно здесь он покупал распашонки для Славки, магазин назывался «Детский мир», и все в нем можно было купить. Новый «Детский мир» он не любил из-за толчеи. Здесь, в тогдашнем «Детском мире», толчеи никогда не было.

Теперь и подавно ее нет: тут торговали книгами, и магазин назывался «Книжный мир».

«Что ж,— подумал Егор,— книги и дети чем-то сродни друг другу. А чем? Тем, что продолжают жизнь поколений».

Потом он проходил мимо магазина «Фарфор» и немножко постоял, прежде чем перейти переулок. Когда Егор отвлекся от улицы, посмотрел на витрину и вспомнил, что как-то покупал здесь чашку. На ней старомодной вязью сделали надпись, и он подарил чашку Ирине, когда ей исполнилось десять лет.

Чашку он давно не видел, должно быть, разбили. Или Иринка хранит ее как редкую память?

При воспоминании о дочери ему стало нехорошо: чувство обманутости, которое в последние дни вроде бы позабыло дорогу в его сердце, вдруг сделало его несчастным — он ведь не помог дочери и теперь не знает, когда поможет и чем.

«Ирина, должно быть, уже вернулась из лагеря и не застала меня дома,— подумал он.— Все продолжается, как и было. А как иначе?»

Он прошел мимо закутка, где продавали ружья и рыболовные снасти. Магазин назывался «Охота». Да, ему всю жизнь хотелось купить ружье. Он непременно заходил в этот закуток, чтобы поглядеть на ружья и хотя бы вот так утолить свою давнюю мечту. Но сейчас он не зашел, а только взглянул на витрину, которую наискосок перечеркивала одноствольная тулка (тоже ружье. А что?), а внизу, на подоконнике, стоял котелок на задымленной треноге и рядом чучело лисы с обшарпанным мехом: в зубах зверя такое же обшарпанное чучело чирка.

На углу открыли ресторан. Названия у него еще не значилось. Но Егор видел однажды, как ночью из него ловко выставляли пьяных. Уже традиция!

А вот и магазин рубашек. Когда-то здесь он купил ковбойку. Хороший магазин, тоже без толкучки. В ма-

леньких магазинах толкучки не бывает. Тут еще могут сложиться интимные отношения между продавцом и покупателем. (Интимные... Чего захотел. Хотя бы просто человеческие!) А в больших — нет. Большие магазины — это уже поток, индустрия. Покупатель и продавец исчезают. Только товар и деньги.

Он посмотрел на другую сторону улицы. Там тоже было много таких мест, которые он любил. Ну, хотя бы магазины инструментов, электроприборов. Инструменты хотелось поддержать в руках. А светильники... Он мечтал купить красивую люстру и привезти ее домой. Но когда были люстры, не было денег. В других случаях не было люстр.

«Зайду на обратном пути», — подумал он. И все-таки он не удержался и перешел улицу, когда увидел здание, раскрашенное наподобие банки китайского чая. У здания был особенный рисунок окон, крыши, черепичные красные карнизы и непривычные пропорции, и оно все-таки было тут своим, на этой улице, где каждое здание не походило на соседа и тем не менее уживалось с ним. Он вошел. В магазине крепко пахло только что смолотым кофе. Раскраска стен, потолка, особенность люстр, блеск фольги на полках — все казалось излишне ярким.

Егор, ничего не купив, вышел. Надо бы еще заглянуть в Бобров переулок, но он уже торопился на почтамт. Когда документы и деньги в кармане и есть шансы на гостиницу, человек чувствует себя в Москве как дома. А там, на почтамте, в окошечке до востребования под буквой «к» все это должно ожидать его. Все, кроме гостиницы. А может, и гостиница. Все зависит от того, какие пришлют документы.

Бобров переулок он любил. В часы ожидания междугородного телефона он, бывало, тут любовался зданиями, рисунком стен, отделкой балконов, черной железной башенкой на одном из домов, такой красивой, что никак не удержишься, чтобы не назвать ажурной. Хотя это слово истрепали, и оно уже почти ничего не выражает.

А тут оно еще что-то выражало. Башенка была и в самом деле красивой.

На почтамте все было так, как он думал: было новое командировочное удостоверение, деньги, посылка, должно быть, со спиртом. Но были и неожиданности: путевка

на Выставку достижений народного хозяйства, значит, гостиница ему обеспечена, пусть и далековато, но все же... Вот и письмо от Романа и письмо от Вари. Да еще чья-то открыточка. Он притулился к стойке и разорвал письмо от жены.

«Роман мне сказал, что ты проедешь в Москву и не заглянешь домой.

Иринке купи ленты, красные и голубые. И если до сентября не приедешь, пошли в письме.

Славке надо ботинки, но я поищу здесь. Ему нужно примерить, за лето вырос тоже».

И все...

Что ж, сам он приучил ее к скупости чувств.

Он разорвал конверт Романова письма и прочел:

«Посылаю тебе документы, чтобы легче было существовать в Москве. Удостоверение выписал на начальника снабжения. Должность вакантная, Порошин ушел на пенсию, а без тебя все равно решать я не могу. Так что не волнуйся. Да и Летову хотелось доплатить за его старания»...

Егор скомкал письмо, не читая дальше. Перевернул открыточку, исписанную незнакомой рукой, стал читать. «Егор Иванович! Я послала Вам в Новоград телеграмму. Дочь Вы могли бы привезти в Москву, я работаю здесь с группой, подобранной для доктора Казимирского. Но он заболел и не приехал. На всякий случай оставляю эту открытку. Вы меня можете найти в гостинице «Пекин» в номере... Н. Аст.»

Нина Астафьева... Он как бы услышал ее глубокий, низкий голос, и от этого было приятно ему. Раннаыйза, море... Как далеко это и как неправдоподобно.

Егор вышел из почтамта и свернул не к центру, а к метро, к станции «Кировская». До вечера надо было устроиться в гостинице. Нет, пожалуй, сперва позвонить и попросить в Госплане приема, а потом уж все остальное. Он позвонил. Прием ему назначили через два дня, но он упросил, чтобы приняли завтра.

— В конце дня,— сказал заместитель начальника отдела.

И все: и ленты Ирины, и «алмазный вариант», и открытка от Астафьевой — все отошло и стало маленьким, незначительным: его примут завтра...

Егор стал готовиться к встрече. Вечер, проведенный за чаепитием у Рубанова, здорово помог ему. И когда на

другой день он поднимался по лестнице на второй этаж, был уверен в успехе дела — так много было в памяти фактов неверного планирования, и они были так убедительны, что любой мало-мальски думающий человек с ходу устранил бы недоразумение, из-за которого заводу приходится страдать.

Вовк Никандр Остапович к концу дня не выглядел утомленным: в серых глазах его была живость, щеки розовели, хотя и чуть обрюзгли — годы все-таки шагнули, должно быть, далеко за пятьдесят. Он сдержанно, но достаточно приветливо встретил Егора, записал его фамилию, имя и отчество и приготовился слушать. Егора все это воодушевило и обнадежило, и он пустился излагать свою программу научного планирования, какую построил после встречи с Рубановым. Он знал, программа была неотразимой, ее нельзя провести в один, два года, но один разговор о ней, он верил, наверняка откроет ему двери к любым поправкам в нарядах, и завод получит свое — металл с «Электростали».

Егор говорил о планировании проката в тоннах, а не в сортаментах, о чем дискутировали с Рубановым, говорил о том, как планируют заготовки леса, а не учитывают, что зима будет бесснежная и срубленный лес обсохнет на берегу и погибнет. Он говорил о планировании лова рыбы — больше, больше, а перерабатывающих мощностей не хватает, и рыба потом гниет на берегу. Но план выполнен, и улов вошел во всесоюзную сводку. Говорил о многом другом, что за годы накопилось в его памяти. Вовк внимательно слушал его, не перебивая. Ему вроде бы даже интересно было слушать Егора. Егор сгоряча рассказал и о судьбе его «алмазного варианта». А ведь мы ратуем за новую технику и технологию и планируем их внедрение. Вовк вдруг заинтересовался рассказом Егора и попросил прислать материалы. «Только чтобы все было документировано», — предупредил он. Егор не знал еще тогда, что Никандр Остапович готовил материалы для важного документа и что документ тот, будучи обнародованным, вернет к жизни и «алмазный вариант» и посмеется над теми, кто похоронил его. Говорят, не бывает худа без добра и добра без худа. Но когда Егор закончил и сказал о наряде на чернореченскую сталь, которой нет в помине и не будет, и стал просить металл с «Элек-

трости», Вовк потерял к нему интерес, глаза его потускнели, щеки обвисли и весь он посуровел и постарел.

— Говорили вы все правильно,— сказал он, возвращаясь к наряду.— А исправить это никто не может: стали нет. На сегодняшний день свободной стали нет ни грамма. Вся распределена.

— А как же быть?

— Получить то, что вам дали. Мы, по совести говоря, и знать ничего не знаем: наряд равняется натуре. Понятно? Или вы никогда не работали в снабжении?

Он не работал! Скажет же человек...

Этот нелепый вопрос Вовка, точно удар наотмашь, выбил Канунникова из седла, и он не нашел ничего лучшего, как вскрикнуть в бессилии:

— Что же мне делать? Заводу что делать?

— Заводу работать, а вам возвращаться домой. Читали в газете статью? Надеюсь, да?

Егор вышел в коридор и сел на подоконник. Идти никуда не хотелось и не думалось ни о чем. День кончался. По коридору спешили к выходу работники. «Пожалуй, точнее, служащие»,— подумал Егор, слезая с подоконника. И тут он увидел Вовка. Тот шел озабоченный — видно, не радовали предстоящие домашние встречи. Увидел Егора, не прошел мимо, остановился.

— Значит, научная система планирования? Кто бы знал, как это сделать, молодой человек.— Он повернулся, сделал несколько шагов, но вновь остановился.

— Попробуйте побывать в Московском областном Совете. Может быть, что и выменяете.

И заторопился по коридору.

«Выменяете! Установка ясная».

— Жаль, что все легко дается только во сне...

— А что тебе сегодня снилось?

Иван не успел ответить — полные пригоршни набралось воды из крана, и он, фыркая от удовольствия, выплеснул ее в лицо. Вода прохладная, и ему приятно. Жена стояла рядом и ждала, пока он перестанет фыркать.

«И умывается он с удовольствием,— подумала она,— как и все, что делает...»

Он снова подставил пригоршни под кран и, пользуясь

секундой свободного времени, повернулся к жене и объяснил:

— Да ПАКИ приснился. Чудно. Работает, как часы...

— А что, разве с ним не получается?

Воды опять набралось полные пригоршни, вот она уже льется через край, и, как бы жалея ее расходовать попусту, Иван повернулся к раковине и плеснул себе на шею, на грудь. Теперь он не фыркал, а кричал. По сторонам летели брызги. Но Женечка не сделала ему замечания насчет брызг и лишь отошла в сторонку. Пусть, стоит ли из-за них лишать человека удовольствия, с утра отбирать у него надежду на радость. Ведь от удовольствия, которое вызвали в человеке хорошие побуждения, всего один шаг до радости.

Так думала Женечка, стоя неподалеку от умывающегося мужа, и наблюдала все это с таким интересом, будто видела в первый раз. И этот по-детски подстриженный высоко затылок, и тонкую, вовсе не мужскую шею, и спину с очень подвижными лопатками, и веснушки на плечах — все это тысячу раз знакомое и тысячу раз се, но все равно каждое утро новое. А как он нагибается над раковиной. Длинный, худой — вроде переламывается надвое. Можно бы над этим посмеяться, но она не смеется, и лишь в ее черных узкого разреза глазах, как у настоящей коренной сибирячки, вспыхивала озорная веселость. С этой озорной веселостью в глазах она и ушла на кухню, пора было засыпать кофе.

«Я отношусь к нему, как к ребенку, — подумала она. — Даже к девочкам бываю строже, чем к нему. Чудно... И почему мне все кажется, что он без меня не прожил бы и дня? Ведь он не слабый, и самостоятельный, и думающий. В сущности я ничем никогда ему не помогала в его деле, да и помочь не могу, а вот чувствую, что он без меня пропадет».

Вода в кофейнике уже бурлила, и Женя засыпала бурый, горько пахнущий порошок. Удивительно, как меняется запах кофе после заварки.

Тотчас всплыла грязновато-белая пена, и Женечка сняла с плиты кофейник. Пока Иван одевается, кофе отстоит и чуть остынет. И вспомнила, как они отвыкли от чая: она — густого, со сливками и без сахара: по-сибирски, он — от горячего, плиточного, вприкуску: по-вятски. Тому и другому нравилось свое, и, не желая отстаивать его в ущерб другому и не предпочитая одно



другому, они решили перейти на кофе. Как он не нравился обоим поначалу — горький, с ужасающим запахом сгоревших зерен, которым не утолишь жажды, а только обостришь ее. Но оба мирились с этим нерусским напитком. Не будет же каждый из них заваривать свой чай? А девочки который предпочтут? Теперь же они не могли обойтись без кофе по-женевски. Конечно, никто в мире еще не знает, что это такое, но такой кофе существовал. Его готовила Женя. Она добавляла в кофе сухих ягод лимонника, отчего напиток приобретал чуточку иной запах и чуточку иной вкус. А по-женевски — это потому, что никак не могли образовать слово от имени Женя. Ну, как, подумайте, его образуете?

Иван вошел на кухню. Женечка собирала завтрак. Оглянулась на мужа: как ему идет эта серая шерстяная рубашка! В ней он кажется поплотнее, покрепче. Светлые волосы и серая рубашка — отлично. У Ивана — природный вкус. Но она не задержала на нем взгляда, а продолжала заниматься своим делом. Теперь он глядел на нее, следил за ее движениями. Ее крепенькая фигура в халате из венгерского жатого ситца с красными цветочками по голубому полю казалась сегодня изящнее. Все в ней было ладно, правильно, что иначе и не придумаешь. А когда Иван хотя бы мельком бросал взгляд на ее диковато топорщившиеся груди и ложбинку на спине или хотя бы вспоминал о них, ему всегда в таких случаях хотелось ее. Были, должно быть, на свете женщины красивее, складнее Женечки, он это допускал, но другой такой не было, Иван это знал с убеждением навечно влюбленного человека.

Они сели завтракать вместе. Дети еще спали. Августовское утро было уже по-осеннему туманно и глухо. На дворе под окнами кухни кто-то выбивал ковры — звуки ударов были короткие, вязкие, без эха.

— Так что с ПАКИ? — спросила Женечка. Она почти всегда и почти все знала о его работе. Вчера пришла поздно, просидела на читательской конференции, и ей не терпелось знать, что с его изобретением, тем более что он заговорил о нем. И всегда его железные детища на то время, пока они рождаются, делаются членами их семьи. А когда уходят в производство, как бы обретают самостоятельную жизнь и переезжают на другую квартиру, с другой пропиской.

— А, — засмеялся он, и светлый детский хохолок на

его макушке задрожал,— приснилось же такое... Приехал из Москвы Егор и в чемодане привез наш прибор. И серебряные медали.

— Вот это да!— обрадовалась Женечка, как правде.

— До медалей, как до неба...— вздохнул Иван, покончив с капустой, которую Женя здорово умела готовить -- с морковью, луком и сахаром. Взял нож, чтобы разрезать кусок отварного мяса.

— Егор — вот кого я сейчас ненавижу, как самого последнего сукина сына.— Иван непривычно загорячился.— Егор обкрадывает себя и нас.

— Что ты, Ваня, за глаза-то...

— Вернется, и в глаза скажу.— Иван притушил гнев.— Вчера, слышишь, звонит Роман и просит разобраться в бумагах, которых накопилось полон стол. А на черта мне эти бумаги? Он обращает внимание на одну очень важную: о том, чтобы себестоимость еще поурезать. А я ему: приедет Егор, посмотрит. А Роман: ты его зарплату получаешь, так не жди, а делай.

Иван, потянувшийся было за чашкой кофе, на полпути остановил руку.

Она пододвинула ему кофе.

— Пей! Но в бумагах-то ты сможешь разобраться и без него? Как бы он поступил с той бумагой о себестоимости?

— Собрал бы нас, сказал бы: есть задание, надо пошуровать, где и что можно урезать. И вот пошли бы наши научные выкладки на стол директору, а потом в министерство, а потом в Госплан.

— А ты как бы сделал?

Иван выпил кофе, заглянул на дно чашечки, там ничего не оставалось, кроме нескольких черных крупинок.

— Мы вчера толковали. Хотя я и отказался, а бумагу ты все-таки разыскал.— И вздохнул сокрушенно:— Эх, Женечка, была бы ты инженером, ну хотя бы техником, я все бы тебе объяснил.

— Объясняй, пойму.

— Видишь, какая штука. Надо, чтобы наши измерительные инструменты в производстве обходились дешевле. А как можно это сделать? Меньше тратить металла, времени, труда. Значит, конструкцию придумать такую, чтобы металл лишний не шел, чтобы станки безупречно и быстро работали и чтобы люди были хорошо обучены своему делу. А если ни того, ни другого, ни третьего нет

в наличности, тогда как? За счет чего снижать? За счет ухудшения изделия.

— За счет качества?

— Поняла!— обрадовался Иван.— За счет его или за счет рабочей зарплаты. Вот такая механика. Посмотрели мы вчера с Эдгаром наш угломер и чуть в голос оба не взревели. До чего мы его доурезали, что людям стыдно показать. Не покупают у нас его за границей.

— Плохой, что ли?

— Да нет, хорош, точен. Но мы, помню, сами сняли хромировку — дешевле, штриховка слабая — дешевле, а как читать? Футляр деревянный, еще военного образца. Опять же дешевле. Ну, разве можно тут что-то еще урезать?

Иван взглянул на часы — пора идти на завод. Вышел из кухни, стал одеваться.

— Знаешь, Эдгар показал мне шведский журнал. Там напечатано, как одна заграничная фирма скупает наш микрометр, хромирует некоторые части, делает новый футляр и продает втридорога.

Он оделся, достал сигарету, побрякал спичками в руке, чтобы выйти за дверь и сразу же закурить, но задержался еще на секунду, сказал:

— Теперь понимаешь, почему я не хочу впутываться в это дохлое дело?

— Значит, кто-то сделает так, как надо Роману?— спросила Женя.

— Пусть делает. Я не пойду против своей совести.

— А ты уже идешь против нее. Ну, ладно, не опаздывай. Роман тебя может вызвать рано. Лучше тебе быть на месте. И в готовности.

— Что мне готовиться? Вот право, ты у меня не хуже Романа: тот тоже, как попадет ему в руки рычаг фрикциона, силой не вырвешь.— В лексиконе Ивана все еще оставались танкистские словечки, и сейчас Женечка заметила его «фрикцион», спросила:

— Ладно, Ивашка, я забыла, что такое фрикцион. Это, кажется...

— У танка есть такая штука. Вроде руля, только односторонняя.

— Ну, иди, иди. Я тебе книгу принесу, прочитаешься. Вчера получили, не успела сделать инвентарную запись.

Иван закрыл за собой дверь, прикурил сигарету. Неприятно было держать в губах промокший и измочален-

ный мундштук. Он выбросил сигарету, закурил новую, взглянул на часы под обшлагом серой рубахи. Да, опаздывать не стоило бы. Роман мог его вызвать с утра пораньше.

«Что это Женя говорила насчет совести? Значит, идти ва-банк? Ах да Женечка! Только против Романа идти — головы недосчитаешься. Всего-навсего головы. А может, легче обойдется — места. Места моего у меня никто на этом свете не отберет, а Егорово мне ни к чему. Так что терять нечего...»

Иван вышел со двора. Пешком идти уже не было времени, и мотоцикл не стоило вытаскивать в такой туман. И он прыгнул в подошедший битком набитый троллейбус. Правая сторона его прямо-таки тащилась по земле.

«Да,— подумал он все о том же,— иного выбора нет. И податься некуда: будешь делать так, как велит Роман,— против своей совести пойдешь. Захочешь выйти из игры — тоже против совести, и опять своей же. Женя это правильно подметила».

«Ни черта не убедить Романа,— подумал он, протискиваясь к выходу.— Нужна карта технического уровня, а где материал, чтобы составить ее? Вчера Эдгар показал жалкие крохи информации. Где взять данные швейцарской фирмы «Эталон», английской «Матрик»? Ну, «Карла Цейса» можно найти, немецкие товарищи что-то нам присылали. А шведской «Иогансона»? А японской «Пикока»? Вот бы засесть на недельку в патентную библиотеку, было бы дело... Впрочем... Впрочем, Егору напишу в Москву, пусть пороемся в патентах».

Досадно, что не занимались этим раньше. Куда смотрел он, Иван? Уперся носом в свой монтажный стол и дальше его ничего не видел... А Егор? Хорош, ничего не скажешь. Вместо того чтобы каждый год дешевку благословлять, надобно выходить на мировые стандарты. Что мы, лапотные, что ли? Сами себя с мирового рынка вытесняем».

Вход в светелку — так Егор прозвал кафе на самом верхнем этаже столичной гостиницы — удивил Егора своей нескладностью: крутая темная лестница вверх, и без всякого перехода небольшой, но очень высокий зал

с расписанным под сельхозвыставку куполом. Егора до того поразило сходство светелки с выставочным павильоном, что он минуту старался понять, где он. Зелено-красно-золотистые картины на стенах напоминали о земле, об изобилии, о языческих праздниках.

Нина спиной к выходу сидела за столиком у самой эстрады. Егор узнал ее по темно-медным жестким даже на взгляд волосам, на этот раз уложенным красиво, должно быть, равнодушной рукой мастера. Вечернее темное платье открывало шею и узкий треугольник спины. И как это все было предательски близко и недостижимо в то же время.

Можно было еще уйти, повернуться и спуститься по нескладной лестнице в темный колодец, и закрутиться штопором до самой земли, и забыть обо всем: и о море на закате солнца, и о запахе земляники и водорослей. И о шуме ночного дождя в листьях каштанов. И о старых флюгерах в старом городе. И о женщине, которая вышла из воды и обессиленная упала на берег. Нет, все это безвозвратно ушло и не нужно ему. Зачем? Но у него была дочь, которая нуждалась в помощи вот этой женщины, действительно необыкновенной.

Когда он молча остановился у ее столика, Нина не сразу взглянула на него, а когда взглянула, то не удивилась, не обрадовалась, не выразила равнодушия даже. Она просто осталась печальной, какой он и застал ее, и печаль эта была такой глубокой и такой всеохватывающей, что из нее трудно было выйти без большого усилия. За столиком вместе с ней сидели две девушки с челками, будто на подбор, и парень с узким лицом:

«Здорово, что она убрала челку», — отметил Егор. Скользнул взглядом по столику, заваленному грязной посудой, должно быть, молодежь тут засиделась, потом окинул зал, увидел, как в углу у окна поднимались парни, и, не спросив ее, пойдет ли она с ним, поспешил, чтобы занять место. «Первое дело зафрахтовать транспорт», — подумал он в обычной своей манере. Он даже забыл отметить, когда к нему возвратилась уверенность, желание действовать и обычная для него манера мыслить. Но раз он их обрел вновь, значит, вернулся к жизни. Ну, что ж, это так и должно быть. Разведчик не позволяет, чтобы ему повторяли приказания. «Но кто же мне приказал, черт возьми?» — спросил он себя. Он просто забыл, что всю жизнь что-то для кого-то делал, и по-

требность найти приличное место для Нины была лишь чисто механическим движением. Егор поднял руку, Нина увидела и встала из-за стола. Он смотрел, как она шла к нему: чуть нагнувшись, как будто трудно поднималась в гору или сильно устала, и это ее движение между столиками чем-то напоминало ее выход из моря на берег на далекой от Москвы Раннамыйза. Пока она шла, Егор чуть подвинул к окну стол так, что два других места стали неудобными, и он надеялся, что их никто не займет.

Когда она подошла, он с неумелой галантностью поставил ей стул, сказал:

— Здравствуйте, тере...

— Тере!— ответила она и улыбнулась, будто милой шутке или тайному паролю.

— Почему-то я верила, что вы в Москве. Я, бывало, ждала. Временами чувствовала одиночество. Получили мою телеграмму? Привезли дочь?

— Нет, я узнал, что вы здесь, из открытки. Дочь не привез.

— Жаль, я бы ее обследовала, а может, и полечила.

Она опять задумалась, уйдя в себя, и сделалась одинокой.

А он подумал: «Человек одинок в несчастье, а в счастье не чувствует одиночества. Какое же у нее несчастье?» Хотел спросить, что случилось, но не спросил.

Пока официантка, рослая девушка в накрахмаленном кокошнике, убирала грязную посуду, они сидели и молчали. Странно, что ни он, ни она не тяготились этим. Нине казалось, что, когда сидишь вот так и молчишь, гораздо меньше чувствуешь одиночество, чем в шумной компании, где все так же знакомы друг другу, как и далеки. А этот парень... «Ну почему она считает его парнем? Ничего себе парень... Вон сколько седины».

Егору было хорошо оттого, что он нашел ее и что ему от нее ничего не надо. Разве только то, что она есть. И он тоже с удовольствием молчал и не торопил неповоротливую официантку. Он был не один, и этого было ему достаточно, чтобы не чувствовать себя последним человеком на земле.

Наконец посуда была убрана, официантка подала карточку и ушла, и они опять остались вдвоем и некоторое время не замечали этого. Егор смотрел на ее лицо, печальное лицо оставленной или забытой женщины, на ее вы-

пуклый лоб, кажущийся непривычно большим, потому что он не был прикрыт челкой. Ее серые глаза, вечером они были значительно темнее, глядели поверх столиков, но он знал, что не видели ничего, потому что были обращены внутрь ее, и вся она ушла в себя, и, казалось, ничего для нее не существовало, кроме ее самой.

«Как это она так умеет уходить в себя? Страшно от этого или радостно? Да уж, видно, немного радости», — подумал он и спросил:

— Будем есть или так посидим?

Она повернулась к нему, и взгляд ее возвратился из неизвестного ему мира, и в нем мелькнуло что-то вроде скрытого удивления.

— Есть, есть, конечно! — проговорила она обрадованно и подумала, что с Егором, она это заметила еще в Таллине, чувствуешь себя просто, по-земному. Вот спросил обычное: «Будем есть?» — и все вернулось сразу. А то она витала черт знает в каких эмпиреях. Она отказалась взглянуть в карточку, попросила:

— Мне рыбу с польским соусом. Да, сперва помидоры, натуральные. Масло и кофе.

Нина снова засмеялась, на этот раз непринужденно. То не видимое никому и в то же время не проникаемое ни для кого, что еще минуту назад отделяло ее от всех, и от Егора тоже, стало отодвигаться, и в душу Нины проскокил лучик, светлый лучик ожидания.

Подошла официантка и на некоторое время разлучила их. Егор заказывал ужин, нет-нет да и поглядывал на Нину и с испугом улавливал, как менялось ее лицо, каким красивым оно делалось. Он не знал, так до конца и не узнает потом, как это у него на глазах за короткое время могло так преобразиться ее лицо: незаметными сделались выпуклости ее скул, а лоб не давил, не доминировал на лице, а как бы освещал его. Нина не замечала его взгляда. Она смотрела, как официантка что-то писала в своем блокноте, и думала о том, что хорошо бы сегодня забыть все на свете: и то, что ей надо возвращаться в Таллинн, — а может, лучше уехать в Таганрог, куда уехала мать после ее ссоры с Гуртовым? — и то ужасное, оскорбительное, что произошло сегодня на ее сеансе. Присутствовала специалист из министерства — хмурая некрасивая женщина, от которой больные прямо-таки шарахались, почему-то боясь ее. Во время сеанса она встала и демонстративно вышла из зала, бросив на ходу:

«Шарлатанство!» Нина старалась показать, что не заметила, не слышала этого, но попробуй это сделать, если сеанс и без того требовал от нее всех ее душевных сил. От всего этого ей хотелось уйти, но уйти не в себя, когда обиды делаются во сто крат обиднее, потери — во сто крат непоправимее, а уйти на люди, когда не чувствуешь себя одинокой и обреченной на съедение самоанализу.

Официантка ушла.

Егор сидел и наблюдал за Ниной и догадывался, что она борется с собой, но почему борется, открыть ему было недоступно. Нина оставалась для него человеком загадочным, сложным, полным противоречий и вопросов без ответов, на что он и сам был такой мастак.

Егор не мешал ей, не старался растормошить, вернуть из ее мира в его мир, в мир всех. Ему было интересно наблюдать ее, видеть, как меняется выражение ее лица, то вспыхивает, то затухает свет в ее глазах. И он опять не замечал, что они молчат, ведь молчание это было естественным в их отношениях, когда они ничего не хотели друг от друга и в то же время уже не могли обходиться один без другого.

Нина тряхнула головой, как бы освобождаясь от того, что мешало ей входить в этот человеческий мир, жесткая ее челка упала на лоб и совершенно переменила ее. Перед Егором теперь сидела девчонка, чуть легкомысленная, отчаянная и очень близкая.

— А у вас тут коммерсантские дела? — спросила она, окончательно возвращаясь в один с ним мир. — Было интересно? Интересны новые знакомства?

Ему не хотелось жаловаться ей. Не мужчина он, что ли? И он ответил уклончиво:

— Не люблю работать в Москве. Самые простые вещи здесь усложняются до невыносимых проблем.

И почувствовал, как его недоверие к ней сразу же отдалило их друг от друга, и вдруг ясно увидел, каким скучным будет их ужин, а разговоры пустыми и незначительными. Ее чувствительность к слову поразила его. С ней можно было говорить только откровенно или не говорить совсем.

И он спросил:

— Вам бывало приятно, когда мужчина плакался на вашем плече?

Она ответила не задумываясь:

— Плакался — нет, доверялся — приятно.



— Так вот... я доверяюсь...— Егор замолчал, как бы остерегаясь в выборе тона.— В первый раз за многие годы я потерпел фиаско. Полнейшее. Стыдно признаться, что не хватает мужества позвонить и сказать: я пас. Не достал и не достану сталь, которая так нужна. И это в такое время, в такое время...— Он хотел рассказать ей о статье в газете и о том, как он признал делом своей чести доказать, что не зря ест свой хлеб, но подумал — ей будет скучно все это слушать — и воздержался.

Нина увидела его замешательство и спросила:

— В какое же время?

И ему все же пришлось рассказать о статье. Объядалы! Обидно. И спросил:

— Не читали?

Она засмеялась, проговорив:

— Я ж не коммерсант, таких статей не читаю.— Она посерьезнела.— У меня похуже. Вы ведь можете принимать на свой счет, а можете и плюнуть. Верно? А меня обхамил сегодня коллега. И надо же: при пациентах. Едва удержала в руках себя и своих больных.

— Как это было?

— Ушла с моего сеанса, да еще пробормотала: «Шарлатанство». Невежды! Но что бы они ни делали, я не отступлюсь. Это цель моей жизни. Ради нее я готова лишиться даже счастья, если мне его попытаются дать в обмен.— После молчания уже тихо проговорила:— Вот как складывается обстановка. Хоть бросай Таллин и переезжай в Харьков, к доктору Казимирскому. Кто я, что я без своего дела?

И доверительно сообщила ему:

— Я ведь от мужа удрала. Так ждала его, а получила телеграмму из Москвы — не удержалась, поехала. Думаю, что это прелюдия к разрыву, если уже не разрыв.

— Это — серьезно?

— Да.

Они долго молчали, переживая это каждый по-своему.

Официантка принесла бутылку «Российского», графинчик водки, селедку и помидоры, и Егор и Нина снова оживились.

Егор разлил. Рюмочки были маленькие, зеленого стекла, и вид у водки, надо прямо сказать, был злой.

— Не сдаваться!— сказал Егор.

— Не сдаваться!— приняла Нина. Они выпили, и Нина наколола вилкой ломтик селедки, положила в рот.

— Что ни говори, а помогает в горе и радости,— засмеялся Егор.

— В радости? Это от бедности натуры,— заметила она.— Есть другое, чем человек может отметить радость.

— Например?

— Например, песней...

Потеряла я колечко,  
Потеряла я любовь...

Она улыбнулась.

Егор опустил рюмку, которую держал в руке, намереваясь выпить за Нину, от удивления брови его раздвинулись, отошли от переносицы — до того неожиданным было это: он слышал от Нины свою любимую песню.

— Вы ее знаете?

— Я слышала, как вы пели с Илусом. Костерок между двух огромных валунов.— Она задумалась.— Туманное море. И где-то за ним...— она хотела сказать: «Где-то за ним Гуртовой»... Но не сказала. На душе стало неуютно, как в ту ночь, когда она так и не связалась с Гуртовым, видела костерок на берегу и слышала Егорову песню.

— Люблю эту песню,— сказал Егор.— Ничего в ней вроде и нет, но, черт возьми, как она тревожит душу.

— Мне тоже показалось тогда... Вы несчастливы в любви?

Он не ждал этого вопроса, да и никогда сам себе не задавал его. Просто он еще не думал: счастлив он в любви или нет? А что такое счастье любви?

— А что такое счастье любви?— спросил он, не ответив на ее вопрос.— Семья? Дом? Стол? Постель? Счастье забытья?

«А кто это знает?» — подумала она и сказала:

— Это, наверно, то, что делает человека самим собой, дает ему полную свободу проявить все, чем богата душа.

— Это оптимальный вариант любви,— заметил Егор.

— Что значит оптимальный?

— Ну, лучший, что ли.

— Лучший... Как хорошо, если бы был только один, ваш, Егор Иванович, оптимальный.

Она задумалась... Она думала о своем варианте любви. Была любовь к Астафьеву. Оптимальный это был вариант или нет? Должно быть, нет, раз он не принес счастья.

А к Гуртовому? Что это — тоже не оптимальный? И выругалась про себя: «Черт, придумал же это Егор: «оптимальный вариант любви». Звучит дико, но правда и то, что за этим есть смысл...» Оптимальный вариант любви... Значит, дающий тебе как можно больше в духовном плане?

Егор тоже думал. Он еще не ответил на вопрос Нины, а не отвечать ей было нельзя. Он это знал. А что он ответит насчет своего варианта любви? Он знал, что любовь есть. Но какая? Может быть, любовь сердца переродилась уже в бытовую любовь? Вот именно: крыша, семья, стол, кровать? И что он требует от своей любви? Или он ничего от нее не требует?

Они опять молчали, не замечая молчания. Каждому казалось, что они ведут между собой выяснение, что такое этот чертов оптимальный вариант. Официантка подала горячее: Нине рыбу с польским соусом, Егору — шашлык по-карски, ужасно пахнувший горелым мясом. Но Нине это понравилось, и она попросила кусочек, прежде чем прожевать, обсосала его и похвалила:

— Остро. Люблю, но боюсь потолстеть.

Егор засмеялся, подумав, что она просто женщина, как и все, только на горе себе слишком умна и привередлива.

Они принялись за горячее, на этот раз болтая о пустяках, но Егор мучился: не ответил ей. Боится сказать то, что есть у него с Варей на самом деле? А может, не знает, что это такое? Он окрестил «это» одним словом: «отвыкли». Но можно ли отвыкнуть, любя?

Обо всем на свете он думал — о том, что касалось его и не касалось, а об этом вот, что было связано с его жизнью, с его любовью, он не думал.

Помня о своем вопросе и как будто зная, что он мучается, ища ответа, Нина, откинув со лба челку и став строже, сказала:

— Кажется, еще Данте выразился: любовь движет солнцем и другими светилами. Он несколько преувеличил, мы теперь это знаем. Но силу любви он не преувеличил. И для меня, знающей, что движет солнцем и другими светилами, любовь не перестала казаться могучей.

Челка снова упала на ее лоб и снова сделала ее девчонкой.

— Да, Егор Иванович... Как верно, что человек приходит на землю, чтобы сделать что-то свое. Свое для всех. А как мало ему отпущено на это, срок жизни так краток. И хотя у него впереди бесконечность бессмертия, но все

же своя короткая жизнь ему дороже в миллион миллион раз...

Егор понял, к чему она ведет мысль — жизнь коротка и должна состоять из одного сгустка целенаправленного действия, значит, и любовь у него должна быть наподобие Дантовой.

— Нет, у меня нет такой любви,— сказал он.

— Я всю жизнь хочу такой любви,— призналась она.

— ...И я всю жизнь не знал, что она есть,— закончил Егор свою мысль.

### 37

Егор не хотел этого, не думал о нем, но оно пришло. Он долго не мог уснуть в своем номере гостиницы «Алтай». Двое соседей его давно и сладко спали, утомленные Москвой, ее суетной жизнью, Егор же думал о Нине. Нельзя сказать, что он думал только о ней, но о чем бы ни думал, мысли его возвращались к ней, хотел он этого или не хотел. Ничего ведь не случилось ни с ним, ни с ней, что могло бы как-то сблизить их. И он и она, наверно, далеки были от желания легких любовных походов. Нет, тут было совсем не это, совсем другое. Ее увлеченность тем, чем она жила, ее боль были понятны ему и сделались его увлеченностью и его болью. И счастье ее и несчастья стали его счастьем и его несчастьями. Он хотел видеть ее, говорить с ней, и не когда-то, а сейчас, не дожидаясь далекого утра. Он в один момент даже начал собираться, чтобы поехать к ней, но благоразумие все же удержало его.

И когда он после этого задремал, утро прикатилось быстро.

И вот они шли по улице Пушкинской, чтобы потом повернуть на Кировскую, привычную дорогу Егора на почтамт.

Небо было чистое, голубое, солнце грело еще тепло, но воздух был уже по-осеннему прохладен.

Нина — в черном строгом костюме, белой блузке с большой брошью на груди — что-то эстонское, кажется, рыбаки. На черной чеканке серебра, точно солнечные блики на море, желтые капли янтаря. Волосы ее, снова ушедшие от вчерашней покорности, упрямо топорщились, меднились на солнце и чем-то до болезненной грусти напоминали Егору первую золотую листву осени, уже про-

мелькнувшую на липах улицы Горького, по которой они недавно шли.

На Егоре был все тот же костюм стального цвета, только сегодня он отливал голубизной, и Егор выглядел в нем неожиданно элегантно и чуть-чуть торжественно, и Нина то и дело любовалась им, удивлялась его непонятной простоте и открытости, его характеру. Он ничем не связывал ее, ничем не сдерживал. И то, чего ему хотелось, хотелось и ей, и то, чего хотела она, того хотел и он. Ей надо было пойти в ювелирный магазин на улице Горького, и ему было интересно сходить с ней. И хотя они ничего не купили, все равно было приятно — оба вспоминали таллинский магазин сувениров и таллинские флюгеры. Он сказал, что ему надо на свою явочную квартиру, на почтамт. Там он получит все, чем должен жить в последующие дни, что делать. А после они поедут на Выставку достижений народного хозяйства, сегодня как раз им повезло — день инструментальщика. А потом он проводит ее в Таллин, а сам вызовет Романа и доложит ему о невыполненном задании. Егор позвонит ему вечером домой. Должно быть, он уже переехал из своего Заболотья. Пусть день поработает спокойно и не портит людям нервы. За ночь переболеет Егоровой неудачей, утром что-нибудь придумает. Роман мастак придумывать.

Так, как всегда точно и строго, был расписан день у Егора, и он рассказывал сейчас Нине об этом, когда они по Пушечной поднимались к Дзержинке.

— Не любите вы Романа, Егор Иванович...

— Почему же не люблю?— Егор и об этом никогда не говорил ей, да и про себя не думал, пожалуй.

— Лишаете человека спокойной ночи.

— Ну, беспокойная ночь будет у одного. А то десяток людей были бы без сна, если бы я позвонил днем,— сказал он и, вспоминая что-то, добавил:— Да, я его не то чтобы не люблю. Просто, как вспомню сейчас о нем, все во мне настаораживается, и как только увижу его, настоужу тоже. Сам не знаю почему.

— Значит, он неискренен с вами. Сподличал где-то. Это вы чувствуете.

— Не думаю... А что он мог мне сделать? По службе? Да, он не сдержал однажды слово, не назначил меня главным технологом, я не обижаюсь. Не нужна мне эта должность.

— Нет, нет... Еще не прошла у вас обида.

Они вышли на улицу Кирова.

— Чем она вам нравится?— спросила Нина, когда они вошли в узкую и тесную горловину улицы.

— Всем. Каждым домом. Как таллинский Вышгород. Это чувство еще осталось и у нас, русских, хотя нас порядочно отучили от него. Эта улица — русская.

— Тесная. Дом к дому.

— Здесь была самая дорогая земля,— пояснил Егор.— По этой улице Петр Первый ездил в Измайлово. Вот и строились тут кто побогаче. И земля, понятно, стояла копеечку. Смотрите, даже для деревьев, хотя бы одного, места не оставили.

— Это точно, что Петр здесь ездил?

— Ну конечно, Нина Сергеевна.

Нина взглянула на улицу, и улица показалась ей совсем иной. Мчится по ней царская карета. Впереди и позади конники. Цокают копыта по каменной мостовой.

А Егор говорит:

— Вот то место называлось Подбором. После тут построили Рязанское посольство. А там была Тайная канцелярия, где пытали, допрашивали. Самого Пугачева даже. Радищева. Декабристов. Тут орудовал один мастер своего страшного дела...

— Этим мне вовсе не мила улица,— сказала Нина. Ей вдруг показалось, что Егор пытается навязать что-то свое, чего она не хочет.

— Нет, не этим...— Егор вдруг засмеялся.— Говорят, с тем «мастером» случилась смешная история. Обычно он сажал жертву в кресло, допрашивал, а когда не получал того, что требовал, нажимал педаль, и кресло опускалось в подвал, где человек попадал в руки палачей. Однажды молодые «следователи» проходили у него что-то вроде обучения. Он немало хвастался перед ними своим изобретением, даже сам сел и попросил нажать. Ну и попал в руки палачей. Пока разобрались — кто, на нем уже живого места не было.

Нина засмеялась:

— Ну хоть чем-то отомстили гаду...

— На этой улице есть дом, в котором Верстовский написал «Аскольдову могилу», и дом, где Грибоедов создал «Горе от ума»...

— Вот как...— Нина вдруг вспомнила сына. Аскольд. Может, не в Таллин ехать ей, а в Таганрог? Как соскучилась по сыну. «Ну и характер у мамы,— подумала она.—

Собралась, махнула рукой — все тут. И что все-таки произошло между ней и Гуртовым?»

А Егор говорил:

— По этой улице пошла первая конка. Улица первой в Москве увидела электрические фонари. А рядом есть Бобров переулок. Мы туда заглянем, если не возражаете... Там есть такие дома, что хочется перед ними стать на колени.

Егор замолчал и вдруг:

— Вон, в переулке дом... В нем жил поэт Веневитинов, и там Пушкин читал «Бориса Годунова».

— Да, для одной улицы — немало, — сказала Нина. — И вы ее не зря любите. — И у нее уже не было чувства, что он навязывает ей что-то свое. Ей уже приятно было идти по этой улице, камни которой видели так много. И то, что привлекало в ней Егора, привлекало и ее.

Но все еще упрямясь, не желая сдаваться, она проговорила:

— А мы что оставим после себя?

Егор взглянул на нее сбоку: да, не подумаешь, если увидишь в первый раз, что ее могут занимать такие мысли. Но он-то знал ее постоянное беспокойство, неженскую неудовлетворенность собой. Он считал, что женщины куда лучше мужчин умеют приспособливаться к условиям жизни, им почти недоступно углубление в самих себя, самоанализ, и, уж конечно, они равнодушны к далекому будущему. Если женщина выходила из этого его правила, Егор считал, что она мыслит по-мужски, и отказывал ей в женственности. В Нине мужской способ мышления уживался с ее чисто женской натурой и девической чистотой и открытостью. И это волновало, вызывало к ней любопытство, влекло. Он шел к ней не от моментально возникшего чувства, хотя оно, наверное, и осталось в нем с того самого мига, когда он увидел ее выходящей из воды. Он шел к ней от ума, от трезвой оценки ее, и подходил все ближе и ближе. Он скрывал это не только от нее, но и от самого себя. А может, и не скрывал, потому что скрывать было нечего. Но сейчас, когда он взглянул на нее сбоку, сердце его странным образом ворохнулось, будто изменило свое обычное положение, в котором оно пребывало многие годы, и необъяснимая тоска сжала его. И пока они шли до почтамта, пока он стоял и ждал очереди на право остаться один на один с окошечком почты до востребования, это состояние не покидало его. Он смотрел на Нину, и ему

казалось, что она понимает его, и ей от этого страшно, и она непривычно молчит.

Ему подали одно письмо, никакой другой почты не было. Значит, его ждали домой, уверенные в том, что он все сделал как надо, и ему остается только одно — вернуться.

Письмо было от Ивана. Егор разорвал конверт, прочитал:

«Спешная к тебе просьба: выкрой время и сбегай в патентную библиотеку и составь техническую карту для начала на угломеры шведские, швейцарские, немецкие (ГДР) и японские. Требуется это позарез. Роман дал задание «отрегулировать» себестоимость на новый год, а ты знаешь, есть ли что «регулировать». Мы с Эдгаром, как ты когда-то, ставим вопрос о выходе на мировые стандарты, а информации у нас, сам знаешь, пока что маловато».

Он хотел выбросить письмо — до чего легковесным показалось ему то, о чем писал Иван. Но, подумав, сунул письмо в карман. Нина увидела, каким расстроенным стало лицо Егора. Странно, что это задевало ее, огорчало. Ей не хотелось, чтобы он расстраивался. И что могло его расстроить? Письмо от начальства? Егор не такой, чтобы попусту расстраиваться. Письмо от жены? И тут она подумала, что он женат, что принадлежит другой. Чепуха, кому человек может принадлежать? Он принадлежит самому себе, если он сильный, своему делу и Родине. И никому больше. Глупо, чтобы человек принадлежал другому. Рабов нет. А если есть рабские души, то это совсем другое. Это уже не от человека. Слабый человек одинаково рабски поклоняется богу и сильному человеку. Но Егор не слабый. И она тоже. И постыдно было бы им принадлежать кому-то.

— Ну, что вы так загрустили? — спросил он, заметив, как изменилось ее лицо.

— Ужасно ненавижу себя за это... — проговорила она.

— За что? — искренне удивился он. Ему хотелось взять ее за руку и погладить.

— Что на уме, то и на лице...

— Это бывает только у людей, бесконечно честных и искренних.

— А есть еще не бесконечно честные и искренние? — ей уже было лучше, и она ни о чем не думала.

— Есть, есть, — засмеялся он.

Она не могла не спросить его о письме. Еще минуту



пазад она посчитала бы бестактным свое любопытство.

— А-а,— протянул недовольно он.— Письмо от Ивана, моего заместителя. Самостоятельный человек, творец — дай бог, мыслящий. А пишет о какой-то ерунде, над которой и думать не надо.

— В чем же он оказался слаб, этот мыслящий ваш Иван?

Они вышли из почтамта, некоторое время шли молча по направлению к станции метро «Кировская». Он вспомнил о ее вопросе.

— В чем Иван оказался слабым? Есть у нас такое понятие: себестоимость изделий. На вашем языке это примерно означает: как поскорее, с меньшим ущербом и затратами вылечить человека. У вас результат иной раз противоречит субъективному фактору — состоянию больного. У нас тоже субъективному — желанию рабочего с меньшими усилиями получить ту же зарплату. В разрешении противоречия всегда кто-то должен страдать. А Иван хочет, чтобы страдающих не было.

Нина тронула его за руку — они стояли на углу и мешали людям — и спросила:

— Почему мы стоим?

— Да,— спохватился он,— я хотел спросить насчет остальной части нашего плана: поедем мы на выставку?

— Поедем,— ответила она, заметив, как он обрадовался ее словам. Видать, очень хотелось ему на выставку, или уж очень надо было.

Они пропустили трамвай и перешли через рельсы.

На площади перед станцией метро торговали цветами, арбузами, пирожками. Егор остановился у цветов, но Нина легонько потянула его за руку.

Когда эскалатор понес их вниз, она притронулась к его руке и сказала:

— А Иван-то у вас не дурак, как я его понимаю. Правильно думает.

На выставке по-осеннему пахло мокрой землей и гнилом первых опавших листьев. Краснели яблоки среди густой еще листвы, цыганскими глазами блестели гроздья «изабеллы». Журчали фонтаны, и струи их разбивали светлую голубизну неба, отраженную в бассейнах.

Егор и Нина ходили из одного павильона в другой,

пробивались к каким-то стендам, но обоим казалось, что делали они вовсе не то, что должны были делать. А что они должны делать, тоже оба не знали.

— Давайте уйдем отсюда,— попросила она.— Вам нравятся все эти железяки, а я хочу под чистое небо.

И вот они идут берегом пруда. Вода была чистая: видно, как почти у самого дна стояли косяки нагулявших вес карасей.

Они вышли на просторную поляну, почти правильной круглой формы, в центре которой с вызывающей яркостью цвели розы — будто в ожидании скорого умирания они хотели еще раз напомнить миру о своей красоте.

Егор подошел к розам, вынул из кармана складной нож, срезал два красных, едва раскрывшихся цветка.

— Егор!

— Это вам, ворованные цветы не самые худшие. Розы тем более.

Она взяла их, понюхала.

На краю поляны пряталась беседка. Она со всех сторон была оплетена виноградом. Листья наполовину сдались осени, покраснели, но это сделало их еще прекраснее. Нина и Егор вошли. Зеленовато-красный сумрак как бы разрешал им все и запрещал, подобно светофору, по ошибке включенному сразу на все ячейки,— это уравнивало ощущения. Стоял столик, плетеный диван и несколько плетеных кресел. Удивительно, как все тут уцелело. Должно быть, отдаленность лужайки от людного центра сберегла беседке ее цельность и чистоту. Люди, бывающие на выставке, всегда спешат: приезжие — в магазины, горожане — к своим телевизорам.

— Посидим?— спросил Егор.

— Посидим...

— Нина...

— Что, Егор Иванович?— она спросила спокойно, но Егор заметил, как быстро она повернула к нему голову.

— Вы в прошлый раз говорили... Как это у вас так: счастлива, когда несчастна, несчастна, когда счастлива?

— Что же тут такого, Егор Иванович? Жизнь. Если она не серая, в ней обязательно масса противоречий.

— Это слишком общо, признайтесь. Все-таки...

Он увидел, как солнечные пятна скользнули по ее лицу.

— Я сама себя сделала такой...

— Это связано с Астафьевым и Гуртовым? Извините...

— Ничего, Егор Иванович, мы ведь вроде друзьями делаемся, и я верю вам. С Астафьевым — да, а вот с Гуртовым... Не знаю еще.— Она замолчала, поднялась со скрипучего стула, подошла к виноградным лианам, стала перебирать их, как струны.— Астафьев был хороший человек и муж хороший, слишком хороший, пожалуй. Прокурор области, а сердце, как у доктора-педиатра, доброе. Любил меня так, что забывал, что он человек. Все что угодно мог для меня сделать. Однажды уговорил, чтобы я сидела дома, воспитывала девочек и ни в коем случае не думала о работе. Ему стыдно было, что я работаю. Руководитель! А я ведь врач, да еще по своей специальности в том сибирском городе единственный. Понимаете, как сразу опустело поле боя, когда я сбежала из действующей армии? День ото дня я все сильнее чувствовала себя отступницей...

— Вы тут перехватили, Нина Сергеевна, не спорьте. Вы же воспитывали детей.

— Да, воспитывала, это верно. Но понимаете, Егор Иванович,— она повернулась и вплотную подошла к нему, он встал.— Понимаете, как это тяжело — отступничество? Мне стало казаться, что я хожу по краю полынни. Она мне даже приснилась однажды. Вода темная, бездонная, а края у полынни ледяные, белые, скользкие. Если на них устоял, то еще ничего. А если поскользнулся? Это ужасно — черная вода...

— Ну, вот... Не думал, что вы так поддаетесь самоуничтожению.

— Эх, дорогой Егор Иванович... Когда чувствуешь, как пустеешь душой, это страшно. Нельзя изменять себе никогда, ни ради любого, самого заманчивого. Да, и все-таки я вернулась в действующую армию. За три года катастрофически отстала, отупела... Что ж, пойдемте отсюда.

Они вышли из беседки и снова направились все тем же берегом пруда, только в другую сторону.

— Мне его жалко, Астафьева. Приезжает чуть ли не каждый год выдаться с девочками. Да... Упросила его отпустить меня в педагогический институт. Для моей работы оказалось мало быть врачом. И вот я окончила дефектологическое отделение в Ленинграде. Тогда и пришел Гуртовой. Мы встретились с ним в клубе буеристов. Оба увлеклись тогда. Так я все время и живу: счастлива и несчастна. Ладно, не будем об этом.

«Она и сейчас счастлива и несчастна,— подумал Егор, проникаясь к ней нежным чувством старшего.— А насчет полыньи — это она излишне. Ранима и чувствительна, а ведь сильная вроде...»

— Не будем,— прервал он затянувшееся молчание,— где обедаем, позвольте узнать? В светелке?

— Нет, здесь, если не возражаете. У вас ведь сегодня праздник: День инструментальщика?.. Как это мы забыли?

— Ну, День — это еще не праздник. Просто они устраивают встречи в павильоне, немножко шумят. Много шуметь не приходится, у нас для этого нет оснований.

— Зайдемте в павильон. Посмотрим, что вы делаете. Мне это будет приятно.

— А мне — вдвойне. Делаем мы хорошие инструменты, но могли бы делать и получше. Их всегда не хватает, вот все и сходит с рук. Эх, были бы мы хозяевами...

— Об этом и писал Иван?

— Да. Мой заместитель.

Егор подумал об Иване, вспомнил его письмо... В нем что-то есть такое, что Егор из-за горячности не смог тогда уловить, но это «что-то» было укором ему. А может, и не укором, просто он еще не успел как следует осмыслить. И вот Нина говорит: «Иван-то у вас не дурак». Откуда ей знать, каков он, Иван, если сам Егор сколько лет работает рядом с ним и то не может до конца понять его, раскрыть его силу?

— Вас что-то расстроило?— спросила она, заметив, как изменилось его лицо.

— Нет, вовсе нет. Я просто подумал, что я не всегда понимаю Ивана. Иной раз ему завидую. Это плохо?

— Почему же? Если он этого стоит...

— Он этого стоит.

— Я так и знала.

— Откуда?

— Ну, я же психолог.

— Вот мы и дошли,— сказал Егор и взглянул на две розы, которые она держала в руке. Они походили на два раскаленных докрасна кусочка антрацита, только цвет их был куда нежнее — огонь никогда не давал такой мягкости, какая присуща живой природе.

Они вошли в павильон, добрались до стендов, где были выставлены разнообразнейшие измерительные приборы — от кронциркуля до электронных датчиков.

— Посмотрим — наши? — спросил он с робостью в голосе и подумал, что Нина невероятно быстро и естественно вступила в сферу его интересов и теперь смотрела на изделия его завода с нескрываемым любопытством. А он снова, как будто извиняясь, проговорил: — Неказисты они у нас вроде и невыразительны, но если бы их вдруг не стало, остановилось бы все производство. Нет, я не шучу.

Но зря он так волновался, она хотя и не все понимала, но верила ему и старалась понять. И Егор, осмелев, стал брать инструмент за инструментом, рассказывая, как их делают, показывал в действии и для чего они нужны. Нина старалась понять, ей это казалось очень и очень важным, но она нет-нет да и ловила себя на том, что не слушает его, а наблюдает, как он говорит. А говорил он увлеченно, с теплотой, даже нежностью в голосе, как будто в руках его были не холодные металлические предметы, а живые существа, которые близки ему, как и он, тепловкровны, и этим ему родственны. Они не сразу заметили, что вокруг них уже толпится народ, что Егора принимают за экскурсовода, стараются поближе протиснуться к нему. Нина вовсе не хотела обращать его внимание на собравшихся вокруг людей, ей хотелось, чтобы их было как можно больше, чтобы все слушали его. Она еще не знала его таким вдохновенным, таким отрешенным от себя ради им рожденных железных существ. Это было удивительное перевоплощение человека, нет, не перевоплощение, а нахождение самого себя, раскрытие души, сердца, если душа и сердце — это не одно и то же, хотя Нина считала их тождественными. Люди слушали его, как будто это был волшебник и всех их заговорил, заморозил. Как можно заморозить людей этими железяками, которые не шли ни в какое сравнение с мудрыми инструментами медиков, понятными и близкими для Нины? Но эти темные, вовсе не блестящие, как скальпели и пинцеты, а черные и недостаточно отделанные инструменты вдруг, после слов Егора, стали казаться ей верхом совершенства, верхом точности, и она, как и все, а может и больше, и наверняка больше, чем все, увлеклась речью Егора. Для них он был просто экскурсовод, хотя в действительности не был им, а для нее это был человек, вдруг по-новому раскрывшийся.

Он взял в руки микрометр и попросил ее наклонить голову.

— Я измеряю толщину вашего волоса, — сказал он. —

Одну минуту. Пятьдесят два микрона. Вы, мадам, женщина упрямая, сильного характера,— сказал он шутливо. К нему потянулись мальчишки, совали головы, просили измерить волос.

«Он — поэт,— думала она,— он — музыкант, он — все, что есть самое творческое в этом мире, если может обо всем этом так рассказывать. И как он не понимает себя, не знает своих возможностей? Это же его стихия. Глупо было бы сказать, что он тут как рыба в воде. Рыба живет в той среде, какая ей определена, а он сам делает себе среду. На то он и человек».

Нина стала следить за теми, кто был рядом с ней и слушал его. И вдруг среди увлеченных и заинтересованных она увидела лицо одержимого человека с расширенными глазами безумца и округленностью черт посредственности. Он не столько смотрел на Егора и слушал его, сколько пожирал взглядом инструменты в его руках.

И когда Егор то ли устал, то ли остыл, Нина взяла его за руку, вывела из толпы и показала на странного человека. Оказывается, Егор тоже заметил его.

— Разрешите мне с ним поговорить,— попросил он, и она, удивившись его предупредительности, только кивнула и отошла в сторону.

Он еще не знал, что в эту минуту с ней случилось то, что случилось с ним вчера. Но и она сама еще не знала об этом.

— Фанатик? — спросила она, когда Егор вернулся после беседы с тем человеком.

— А-а,— протянул он чуть-чуть устало.— Наш брат, горемыка... Но он, кажется, поможет мне и на этот раз вернуться со щитом, а не на щите.

И он, смеясь, рассказал, что горемыка приехал из Харькова, с крупного завода за измерительными инструментами. Инструментов ему не дают, а вернуться без них ему не позволяет совесть.

— Я пообещал инструменты, если они дадут мне сталь. Он побежал звонить. И мне тоже придется звонить Роману, да пораньше.

— Значит, вы поедете в Харьков?

— Возможно,— сказал он и вспомнил, что в Харькове живет и работает ее учитель доктор Казимирский.— Вот бы здорово нам вместе туда,— выразил он свое желание и увидел, как она погрустнела. Да, хорошо бы... Но как все теперь неясно, как все в ее жизни сдвинулось с места

и полетело куда-то, а куда, она и сама не знала. Она могла бы взять отпуск и поехать в Харьков. Целый месяц работы в кабинете Казимирского — как давно она мечтает об этом, мечтает и строит планы. И на этот раз, кажется, им сбыться тоже не суждено.

Они пообедали шашлыками, приготовленными на жаровнях тут же под открытым небом. Нина сдирала с шампуров обгорелое мясо, клала в рот, радовалась:

— Сроду не было такого аппетита, Егор Иванович.

— Вы получили все, что надо?— спросила Нина, когда они вышли на малолюдный перрон Рижского вокзала, пожалуй, самого приятного тихой размеренной жизнью вокзала Москвы.

— Все получу сегодня. Проводница в нашем фирменном поезде доставит мне чемодан всякой всячины.

— И завтра вы будете в Харькове?

— Да...

— Так зайдите к доктору Казимирскому. Договоритесь о дочери.

— Я ее привезу к вам, в Таллин.

— Спасибо. Я сделаю все, что могу.

Он видел, как она взволнована, и оттого, что не хотела показать своего волнения, все в ней напряглось. Она не знала, что ждет ее в Таллине — писем от мужа так и не было, она и не надеялась на них, и в то же время было грустно расставаться с Егором Ивановичем. Совсем недавно были они чужими людьми, странный случай свел их на Раннамайза, и вот теперь грустно расставаться.

— Будьте здоровы, Нина Сергеевна! Мой поклон Таллину, и его флюгерам, и Старому Тоомасу.

— Будь здоров, Егор Иванович!— Он заметил, что она первый раз сказала ему «ты».— Я целую тебя. Мне было с тобой приятно и легко.

Она поцеловала его в щеку.

— Нина...— Голос его был глух от волнения.

— Не надо, Егорушка... не надо. Мы ведь так трезвы и рассудочны, что должны, обязательно должны, знать, что можем и что не можем уже делать. Должны!

— Должны!— повторил он как заклинание.

Из открытых дверей вагона, медленно тронувшегося с места, Нина два раза махнула ему рукой в черной перчатке.

Прежде чем войти в квартиру, Нина постояла перед дверью. В ней боролись противоречивые чувства. Хотелось скорее войти в эту дверь, хотелось скорее узнать, дома ли Гуртовой или он снова ушел в плавание. Хотелось, чтобы он ушел, и в то же время хотелось его увидеть. Сейчас она не думала, что у них все кончилось, она должна еще выяснить, кончилось ли.

Ей было легко в Москве, когда она не чувствовала от него зависимости, не бегала каждый день на телефон, не ждала писем. Нет, письма она все же ждала, особенно до ссоры Гуртового с ее матерью и отъезда матери в Таганрог с Аскольдом.

«Черт возьми, опять я теряю себя. Что за магическая сила у этого человека?— подумала она.— Есть ли еще на свете такие люди?»

А Егор?

И тут ей стало тепло и спокойно, будто степным ветром пахнуло в лицо.

Она отошла к окну, взглянула на улицу. Зеленоватый свет лампы прямо перед ее окном как бы превращал улицу в дно моря, просвеченного дневным ярким солнцем. Море... Раннаыйза... Костерок на берегу и песня... Все это пронеслось перед ней, и она вдруг спросила себя, не тогда ли именно все началось у нее с Егором, но не ответила себе.

«Егорушка, Человек мой!»

Да, Человек! Потому что она с ним чувствовала себя человеком. С ним не надо ломать себя, не надо жалеть об утратах чего-то дорогого в себе. С ним чувствовала себя такой, какая она есть. Но почему она не видела их будущего? Как бы хотелось ей представить, что она идет к нему, но представить не могла.

В квартире царил тот же порядок, какой она оставила. Значит, все это время муж жил на базе? Может, он не придет и сегодня? Она поставила чемодан и села на краешек дивана, будто в чужом доме. Что ж, она ведь предполагала, что может это случиться, тогда почему же ей так грустно? Тяжко начинать все сызнова, и надо ли начинать? И чего она еще ищет? Гуртовой любил ее. Значит, от добра добра?

Нина встала — надо сообразить ужин. В холодильнике она нашла все, что обычно заготавливалось у них для семьи, даже свежее молоко. Значит, Гуртовой еще в Таллине. На сердце стало тепло, как это бывало раньше.



Но тут она увидела письма от девочек из лагеря — письма были нераспечатанными. И опять все встало на свое место — и вчуже люди не могут, не должны быть равнодушными друг к другу, а тут... Но чего она ждет? Разве он может стать другим?

И хотя она боялась встречи с Гуртовым, боялась еще раз оказаться перед ним слабовольным, никчемным существом, все же пустая квартира, ужин в одиночестве были невыносимы, и от нахлынувшей тоски хотелось плакать. Ложась спать, она решила утром ехать в лагерь и привезти дочек. Потом вернуть мать и отправиться в Харьков, в отпуск. Выдержать во что бы то ни стало, отстоять свое кровное... Перед кем отстоять? Перво-наперво перед собой. Человек прежде всего сам распоряжается своей судьбой, а потом уже все остальные. Раб обстоятельств — это слабый человек.

— Старуха, здравствуй, ты не представляешь, как мне ужасно было без тебя и как я тебя ждал!

Она открыла глаза и не во сне, а наяву увидела склоненное к ней лицо Гуртового. Он был выбрит, свеж, одет со всегдашней аккуратностью. Неужели он приехал вчера и не разбудил ее? А сегодня ждал, когда она проснется? Как на него не похоже... Она глядела на мужа, не произнося ни слова, чувствуя, как что-то сдвинулось в душе при виде его, как все то, о чем она думала вчера, что намеревалась делать, все летело куда-то в пропасть.

— Понимаешь, встал утром, и захотелось домой. Бросил все и примчался...

Нет, конечно же, нет... Как она могла подумать, что он стал другим?

А он, пробежав по пуговицам кителя с такой же быстротой, как баянист по пуговкам басов, распахнув полы, сел на кровать.

— Я так соскучился, старуха! Никогда и никуда больше не пущу тебя.

— Уйди, я оденусь.

— Боже, я совсем чужим стал для тебя! Слушай, может, ты пойдешь все же со мной в рейс?

— Ну, уйди, дай одеться...

— Ладно, ухожу.

Нет, он все такой же. Как будто не было той ссоры перед отъездом, не было объяснений, не было этих дней разлуки, которые давали возможность подумать, но он

ни о чем не подумал. И она по-прежнему только игрушка в его руках, утеха. Но он любит! Как же это может быть: любя человека, в то же время давить, мять его?

— Ты не отвыкла от меня?— спросил он из-за двери.

— Нет,—ответила она, думая о своем,— я от тебя не отвыкла. Поначалу я ждала писем...

— Иди ко мне, иди... Письма? Я не люблю их писать, знаешь, а радио у тебя не было. Ну, иди!

— Ладно, сейчас,—ответила она, снимая с вешалки свое красное платье и оглядывая его, как бы вспоминая все, что было с ним связано. Платье с тех пор отвиселось, хотя она его и не гладила. Она взяла легкий, как пушинка, фибровый чемодан, уложила в него красное платье, потом взяла серое, надела. Скомкав, бросила в чемодан рубашку с кружевами и еще, что было необходимо. Замок громко щелкнул, она вздрогнула.

— Ну, что ты копаешься там?— услышала она его нетерпеливый голос и услышала за спиной скрип двери — он, должно быть, вошел.

— Ты не знаешь, где зонтик?

— Зонтик? Какой зонтик?— Он увидел ее готовую не к встрече, а одетую, с чемоданом у ног, но еще ни о чем не догадался:— Ты с ума сошла!

— Помнишь, зонтик, что ты спас тогда на корабле? Он мне нужен.

Он понял все и подавленный присел на кровать.

— Ты нашла другого? — спросил он, чувствуя неловкость.

— Не опошляй. Я нашла себя.

— Любишь ты говорить туманно!

— Не будем пререкаться. Когда ты уходишь в рейс?

— Через неделю. Значит, ты не пойдешь со мной?

Она не ответила. Было странно, что он мог еще спрашивать ее об этом.

Ей повезло: в гостинице дежурила как раз та женщина, у которой она одалживала зонтик в дождливый, но радостный день. Как давно это было! И рухнуло все сразу, будто вовсе и не было.

Через полчаса она уже раздевалась в той самой комнате, в которой когда-то жил Егор Капушиков, в доме на улице Лидии Койдулы, за каштанами.

За окном было тихо и сумрачно. С каштанов слышны

но падали листья — первые жертвы наступающей осени.

Ей казалось, что она одна осталась в огромном мире и мир этот захлестывает ее.

Второй вечер Роман Григорьевич не уезжал в Заболотье. Жене, упрекнувшей его в том, что он отбился от дома, сказал: «Какой дом, если конец месяца и «штурм Кенигсберга»?» Римма Семеновна знала, что это такое, и на время этого «штурма» вернулась в город: «Умрет с голоду...» Да и дочери пора готовиться к занятиям. К тому же что-то скучная она была все это лето. Неужто оттого, что не отпустила ее на колхозные работы вместе со всеми студентами? Какой отдых в грязи да в пыли? То ли дело тихое Заболотье, чистая вода озера, свежие ветры с реки.

Раньше Роман и в «штурмы» наезжал в Заболотье, — не спать же у себя в кабинете на заводе, — и на этот раз ничто особенно его не привязывало к городу. Но в Заболотье он поехать не мог. Всякая ночь, проведенная теперь там, угнетала его. Его мучили непонятные раскаяния, совесть корбила, как береста на огне, и всякий раз теперь тянуло бродить по Заболотью в поисках того дома. Был ли он? Или он придумал его? Нет, был, нет, не придумал. Он и сейчас содрогался от ощущения захладевших рук, бесчувственных, ни на что не отвечающих губ Вари. И как он жил многие годы в Заболотье, не вспоминая этого? И почему это все пришло сейчас? Может, все эти годы он шел к ней? Может, жалость к ней, желание сделать для нее что-то доброе было вовсе не жалостью, а совсем другим чувством?

Когда был на работе, он чувствовал себя нормальным человеком, кроме дела, ничто не терзало его. Разве только тогда, когда Варя приходила к нему по делу, он вспоминал все заново. А как он рад был, когда после назначения начальником ОТК Варя расцвела, по-инному стала одеваться, и он понял, что она нужна ему. Может, это и сдвинуло в его душе улежавшийся груз привычек, остатки живых еще чувств, человеческих страстей. Как обманываются люди, когда думают, что спокойная жизнь дана им до конца дней. Кто знает, велик ли нужен камешек, чтобы сдвинуть с места лавину?

Роман вел вече, а сам все оглядывался на телефон, ждал звонка из Москвы. Через два часа туда прибудет поезд, в котором проводница первого вагона, частенько помогавшая заводу в доставке в Москву и обратно небольших партий грузов, везет чемодан с нужными Егору инструментами и пакет с новым командировочным удостоверением. Вернее, даже с двумя. Одно — от завода, для денежных расчетов, другое — от горкома партии — для гостиницы и других служебных дел на месте. По нему Егор Канунников числился внештатным инструктором и направлялся для изучения опыта партийной работы с творческими организациями инженеров и рабочих.

Директор сидел боком к собравшимся в его кабинете командирам производства, так было лучше следить за телефоном, хотя следить вовсе и не надо было, ведь он не увидит светового сигнала, а услышит привычный резкий звонок междугородной. И все-таки он сидел боком, а когда поворачивался лицом, то взгляд его натывался на угол, на старую кафельную печь, неразобранную за ненужностью только из-за красивой облицовки. Там, на излюбленном месте Егора, сидела Варя Канунникова. В последнее время она на планерках молчала, будто воды в рот набрала. Роман сперва не понимал почему, и только со временем вдруг открыл, что его командиры ни слова не говорили об отделе технического контроля. Вроде его не было на заводе или он уже записался в святые и не делает никаких ошибок. Конечно, она еще молодой работник, что вполне нормально. Но Роман был не настолько прост, чтобы принимать это за чистую монету. Да к тому же он отлично знал всех своих работников, знал, что иные из них ни с чем не посчитаются, лишь бы брякнуть языком.

Но что же это было, если не чистая монета?

Телефон звонил несколько раз, но это была не междугородная. Роман брал трубку и кратко бросал: «Вече». Он некоторое время сидел лицом к размещившимся вдоль большого стола и по стенам управленцам, но вскоре незаметно для себя снова поворачивался боком. Вече кончилось, люди стали расходиться, Роман остановил Варю. Она с недоумением и враждебностью взглянула на него, но, не сказав ни слова, прошла чуть вперед и села на стул не у стола, а у стены. Роман отметил, что на это место по неписаному закону садятся люди, которые приходят к нему с повинной, и подумал, что Варя, обычно садясь на этот стул, невольно раз за разом попадает в неловкость.

«Не знает об этом», — подумал он. И сообщил:  
— Егор сейчас позвонит. Может, что передать?

Она вскинула на него глаза, и на какой-то миг в них вспыхнула прежняя доверчивость. Но вот веки дрогнули, и доверчивость исчезла.

«Что он задумал против меня? И против Егора? — подумала она. — Мстит Егору за непослушание? Или мне за что-то мстит? За что мне-то?»

Она стала бояться Романа. Было страшно, что она зависела от него, и Егор зависел, и Славка, и Иринка. Раньше она этого не замечала, а теперь, когда она, по его милости, стала такой большой начальницей, может, того и не заслуживая, поняла, как зависит от него. А еще недавно она верила ему. Еще недавно соглашалась уговорить Егора стать снабженцем. Он и так снабженец, что еще от него надо?

Они сидели и молчали: Варя, склонив голову и отвернувшись, Роман, по обычаю, сжав виски ладонями, читал документы, телеграммы. Прочитав все, взял ручку, на каждой бумажке написал то единственное, что может написать он, единственный человек на заводе. Но тут раздался долгий и сильный телефонный звонок, и Роман, хотя и ждал его, вздрогнул всем телом и поспешно схватил трубку.

— Егор, это ты, здравствуй! — сказал директор. — Слушай, у тебя мало времени. У проводницы нашего поезда в первом вагоне все, что тебе надо. Из Харькова позвони сразу. Понял? Так вот...

Он кивнул Варе, чтобы подошла к столу, и когда она подошла, подал ей трубку и сам торопливо зашагал из кабинета.

Варя приложила трубку к уху и услышала голос Егора: он убеждал телефонистку, что у него осталась еще одна минута.

— Егор, — сказала она торопливо, — здравствуй! Как ты там?

— Обычно... — ответил кратко, как будто ему нечего было больше сказать.

— Скоро приедешь?

— Не знаю, — ответил он, — как управлюсь в Харькове.

Потом стал спрашивать он. Он спросил о Славке, об Иринке, она ответила, что с детьми все в порядке. Он что-то еще хотел спросить, но успел сказать лишь: «Как...»

Минута, должно быть, кончилась, и телефонистка на этот раз не хотела вступать в дискуссию. Варя какое-то время еще держала трубку возле уха, но, кроме шума и треска и чьих-то едва уловимых голосов, ничего не было слышно. Голоса эти шли как будто из-под земли, и она суеверно бросила трубку.

Она не слышала, когда в кабинет вошел Роман, повернулась, чтобы идти, и встретила с ним. И слезы, которые стояли в ее глазах, вдруг высохли, и она бросилась из кабинета, не слыша его приглашения остаться. Но если бы она даже слышала, она не осталась бы. Мучительный стыд не давал ей поднять глаза на людей.

Егор даже не спросил, как она живет. Или, может, не успел спросить? А разве это не все равно?

Она вошла в свою конторку и попыталась тут взять себя в руки: стол был завален нарядами, актами, образцами инструментов, требующих ее личного внимания, и необходимость действовать смягчила остроту ее переживания. Стала читать первую бумагу. И она, эта бумага, снова напомнила ей обо всем. Забракованные актом инструменты были хорошего качества, их послали Егору, чтобы в обмен на них он достал сталь и обеспечил завод работой. Чей это стиль? Романа, который вечно хитрит, или это нелепый и, по сути, отсталой системы планирования, дающий так много осечек? Ну почему, почему это может существовать? А что, если бы она не согласилась на этот подлог? Завод остался бы без металла. Но разве она была бы в этом виновата? Разве Егор был бы в этом виноват?

Варя подписала акт и отложила в сторону. И опять мысли ее были о Егоре. С тех пор как Роман стал проявлять к ней особое расположение и все чаще заглядывал к ней в ОТК, она все с большей остротой стала думать о Егоре, об их отношениях. Она еще не знала, что теряет его, но чутьем, присущим только женщинам, улавливала необратимые изменения в их отношениях. И тут вдруг обнаружила, что почти не помнила ни его привычек, ни его пристрастий.

«Да, он любил овсяный кисель со сметаной, — вдруг вспомнила она. — Но это было в те годы, после войны. А теперь кто вспоминает о киселе? Смешно...»

Варя отложила бумаги — ничего не понимала в них, потому что каждая тайла в себе запинку, напоминала о Егоре, Романа, о ней самой. Взясась за образцы, их надо было выверить. Теперь уж не только по опыту работы она

считалась единственной точномеркой на заводе, но и по должности. А что из этого важнее? Но и с образцами не получалось. Измерения, сколько бы она ни повторяла их, давали различные результаты. Опять Егор, Роман и она сама... Если не сосредоточиться, ничего толкового не выйдет. Но сосредоточиться Варя не могла.

Она закрыла свою каморку и вышла в цеха. Везде работали люди, склонившись над маленькими, кажущимися игрушечными станками, над верстаками и столами. Варя здоровалась, брала в руки изделия или заготовки, говорила какие-то слова, а думала о своем. Второй раз она не даст Роману обмануть ее. Она не верила ему, ни единому его слову. Приходили мысли о том, что Роман, может быть, не только из-за интересов завода месяцами держит Егора на стороне. Может быть, тут примешивалось и личное. Почему она раньше не подумала об этом? А история с ее выдвижением и попытки выдвинуть Егора, не таила ли она какой-то хитрости?

«При чем тут Роман? — возразила она себе. — Не я ли виновата в том, что хотела получить эту должность?»

Роман был раздражен. Могла же Варя вести себя по-другому... Ну, хотя бы из чувства благодарности. Не каждого человека он мог одаривать такими должностями, надо бы об этом помнить и быть хотя бы чуть-чуть поучтивее. Вместе с раздражением Роман переживал и другое чувство — мучительное желание вернуть себе эту женщину. Он не думал о том, что руководило им, — настоящее ли чувство, выросшее из долголетней жалости к ней и желания чем-то помочь, или это было всего-навсего мужское упрямство, обида своевольного начальника, порой лишаящая рассудка даже умных людей. Кроме всего, он был уверен, что все эти годы Варя оставалась равнодушной к нему, и это подгоняло его и обещало в конце концов успех.

И все-таки, как бы он ни был сейчас зол на Варю, он не мог худо подумать о ней. Злость обернулась вдруг против Егора. Сколько дней болтался в Москве, и не то чтобы достать металл, но и не сделал самой простой прикидки себестоимости угломера. А впереди такая же работа по другим изделиям и... Уж не пропадал ли он на самом деле на выставке? Людям ведь дай только документ, чтобы прикрыться. Но то людям. Егор же... Разве можно о нем подумать так?

«Что ж, — решил Роман, берясь за телефонную труб-

ку.— Обойдемся и без Егора. Поговорю с Летовым».

И он позвонил в техническую лабораторию. Иван попросил отсрочки — не хотелось бросать работу, настраивались сегодня отладить ПАКИ, а на следующей неделе сдать его на испытания в измерительную лабораторию.

— Ну, Иван,— сказал директор,— тебя никто не по-  
нуждает самого слесарить. У тебя людей полный штат,  
заставляй работать. Ты же начальник.

Было слышно в трубке, как Иван вздохнул. После  
молчания директор услышал его спокойные слова:

— Роман Григорьевич, можно откровенно?

— Давай, давай! — поторопил его Роман и подумал,  
почему все-таки люди спрашивают у него разрешения го-  
ворить откровенно? А если не спрашивают, значит, не-  
откровенны? Кто же их приучил к этому?

— Ладно, зайду. Не телефонный разговор,— сказал  
Иван.

Зашел он только через полчаса, когда Роман уже ки-  
пел от нетерпения, но все же держал себя в руках. Этот  
странный человек, а что Иван был странный, Роман убеж-  
дался все больше, в чем-то незримом и неуловимом за-  
ставлял подтягиваться, все время держать себя насторо-  
же, не делать промахов. На вид бесхитростный и откры-  
тый, Иван в то же время был себе на уме и, казалось,  
знал наперед намерения собеседника. У него не было  
двух мнений, это делало его несколько ограниченным, но  
в то же время и сильным.

— Ну, что, Иван, опять будем дискутировать, началь-  
ник ты или нет? — спросил директор без обиняков.

— Да нет,— ответил Иван, приглаживая рукой вихор  
на макушке и глядя на директора ясными миролюбивы-  
ми глазами.— Мы с Женечкой решили. И окончательно.  
Зачем мне эта должность? Да и не умею я.

— Обидно слышать от мужчины: «с Женечкой!» Буд-  
то своего ума у вас нет.

— Я сказал «с Женечкой решили», а не «Женечка ре-  
шила»,— возразил Иван все так же миролюбиво, разве  
только с небольшим нажимом и досадой в голосе, как буд-  
то втолковывал непонятливому человеку самые простые  
истины.

— Ну, хорошо, хорошо,— примирительно сказал Ро-  
ман. Летов его раздражал, но ссориться было не ко вре-  
мени, и он стерпел и тон его и его независимость.— Я уж



не говорю о том, что мы коммунисты и партии виднее, кого куда поставить.

— А кто спрашивал у партии, куда лучше поставить меня?— спросил Иван таким тоном и с таким миролюбием и доброжелательностью к собеседнику, что любого это могло взорвать. Но Роман на этот раз удержался: с Иваном давать волю чувствам и обидам не приходилось, и он настойчиво повторил:

— Я об этом не говорю... Но у людей принято добром отвечать на добро, Иван. Ты мне уж сделай, пожалуйста, расчеты по угломеру. Егор не сумел, а теперь вот отбыл из Москвы в Харьков, и сколько там пробудет — кто знает. А у нас через две недели партийное собрание. Я делаю доклад о резервах себестоимости, ты ведь знаешь. А у меня нет никаких научных данных.

Иван молчал, не показывая волнения, не пытаясь возражать. Но Роман видел, как миролюбивое выражение сходило с его лица. Ответил же он все тем же тоном:

— Роман Григорьевич, вы хотите научных данных?

— Конечно, Иван!

— Но какая же тут наука, если вы требуете от нас того, что желательно вам? Это ведь не наука, а подыгрывание. Если говорить о науке, то надо подождать техническую карту, и у нас будет возможность сравнить наши изделия с подобными.

— Иван,— остановил его директор,— мы так никогда ни к чему не придем. Если хотите знать мое настроение... Я очень обижен на вас. В личном плане. Доверяю вам, двигаю, другие бы век добром вспоминали, а вы?

Иван молчал дольше обычного, потом поднялся, считая, что разговор окончен, и, уже стоя, сказал:

— Вы, Роман Григорьевич, плохо думаете о людях. В ваших отношениях с ними — дух торгашества: я — тебе, ты — мне. Это меня беспокоит, Роман Григорьевич. Как можно говорить об объективности данных, если вы от меня требуете «добро за добро», хотя «добро» тут, по моему, сомнительно пахнет. Подыгрывать не могу, даже за добро.

Слово «подыгрывать» опять покорило директора, но он и на этот раз сдержался. Куда денешься, если сам выпустил людей. «Дух торгашества»... «Подыгрывать». Он сдержался, испортить отношения с Иваном, значит, прийти на партийное собрание с голыми руками. Дать задание

техническому отделу? Там тоже — упрямы. Пока не трогашь — молчат, и это все же лучше, чем если бы они заговорили. И тут Роман снова пожалел, что нет под рукой Егора. Исполнительный человек, понимающий тебя с полуслова.

Иван сел, его большие руки, как-то не идущие к его подтянутости, мальчишеской стройности, суховатости его фигуры и юношески открытому умному лицу, то сжимались в кулаки, то разжимались. Казалось, он сдавливал в ладонях упрямую пружину, но рука уставала ее держать и разгибала пальцы.

— Не думаю, чтобы Сойкин дал именно такое мне задание,— сказал Иван, несколько озабоченный.— Партбюро могло бы рассмотреть разные аспекты вопроса. Скажем, мой, ваш и еще чей-то.

— Ну, почему вы все спорите? Почему не принимаете на веру? — Роман почувствовал, что теряет выдержку, и одернул себя: «Не горячись...»

Иван неожиданно для директора вдруг как-то странно оживился, замкнутость сошла с его лица, оно стало, как прежде, миролюбивым и наивным чуть-чуть. И вот он уже улыбался, говоря:

— На днях мне Женечка книгу принесла...

При слове «Женечка» густые брови Романа недовольно прыгнули на лоб, но Иван не заметил этого, да он и не смотрел на директора, он разглядывал свои руки, которые перестали сжиматься и разжиматься.

— ...Я даже поначалу отругал ее: зачем мне высокую философию? Некогда читать, да и не пригодится. А вот пригодилась... Да, там, Роман Григорьевич, есть такие слова насчет человека, поразительно верные. Человек оторвал свой взор от земли, посмотрел в небо. У него появилась способность мыслить. Все больше накапливался запас наблюдений. Он стал удивляться, мучиться. Он уже не мог и не должен принимать все готовым, раз данным. Привык все ставить под сомнение, проверять...

— Иван, что ты говоришь? Все ставить под сомнение?

— Да, а что? Человек не шел бы вперед, если бы он не ставил рядом с сегодняшним что-то завтрашнее, лучшее. Вот я как понимаю те слова насчет сомнения.

— Ну, ладно! — остановил его Роман Григорьевич.— Ладно, так конца не будет нашей софистике.

— Это не софистика,— спокойно возразил Иван.

— Хорошо, пусть так. Но, Иван, встань на мое место. У меня на заводе более тысячи работников, и если я с каждым буду так вот дискутировать? Когда же я буду работать?

Иван встал, высокий и суховато подтянутый, белый ви-хор качнулся на самой его макушке.

— Мы ведь работали, Роман Григорьевич... Работа у нас, в мастерской, да и у вас, должно быть, больше вот такая, чем ручная,— все выяснять,— сказал Иван и остановил себя, обнаружив, что во всем возражает директору. И сказал:— Что ж, расчеты сделаю. Но заранее говорю, Роман Григорьевич, расчеты будут двойные. Одни, как вы хотите, а другие — научные, которые будут на пользу.

— Выходит, мои расчеты — не на пользу?

— Думаю, что нет.

— Значит, я делаю это во вред государству?

— Это уж вы сами сумеете оценить...

Иван попросил разрешения уйти и ушел. Директор не взглянул, как он выходил из кабинета. Он сидел, расставив локти на столе и зажав ладонями виски.

В Харькове было по-летнему тепло и солнечно. Листва каштанов и лип вокруг памятника Тарасу Шевченко еще не устала и не грозила желтизной осени. Еще пламенно горели оранжеволистые канны на высоких, как курганы, клумбах. Еще таили в молодых, нераскрывшихся бутонах сокровенную сказку природы розы. Но над обширным городом в обширном небе уже чувствовалась осенняя пустыньность.

Егор не помнил, чтобы такое когда-то случалось с ним — он глядел на все не только своими глазами, но и глазами Нины, будто она всюду была с ним, видела то, что видел он, но взгляд ее отличался от его взгляда на вещи и лишь иногда совпадал. Ему сразу же понравился памятник великому Кобзарю — глыба гранита, сросшаяся с землей. Егор долго стоял против него в первый же день по приезде в Харьков. Он спешил на остановку троллейбуса, чтобы поехать на завод, но увидел сквозь кроны деревьев массивную гранитную глыбу Кобзаря и прошел к нему.

Как умру, похороните  
На Украине милой...—

мысленно произнес он стихи Шевченко по-русски. Но тут же вспомнил, как Нина читала по-украински: у нее была редкая способность усваивать чужую речь:

Як умру, то поховайте  
Мене на могилі..

«Да, памятник мог бы быть поэтической. Большой, тонкий поэт», — сказала бы Нина, и Егор в чем-то согласился бы с ней.

И она еще бы сказала: «Не люблю канны. Слишком громоздки. Слишком много всего». Но ему канны нравились своей мощью, и он все-таки признал бы, что Нина лучше его увидела сущность цветов. А розы ей понравились бы. Она ничего бы не сказала про них, лишь остановилась бы, наклонилась, коснулась рукой, чуткой, как у любого медика, и почувствовала бы на ладони холодноватую нежность лепестков. Он, не двигаясь, проделал бы за ней то же самое и понял бы, что роза такое же совершенное создание природы, как самый точный и потому самый красивый инструмент.

Когда в автобусе он проезжал мимо сквера с фонтаном среди плакучих ив, он вспомнил голубое небо, отраженное в бассейне на выставке в Москве, и вдруг мысленно увидел Нину рядом с собой, и она сказала ему, что любит держать в руках длинные ветки плакучих ив. Они мягкие, как косы женщины. Егору это понравилось, хотя показалось чуть выпревшим, и ветки показались холодными оттого, что они живые, и еще от водяных брызг фонтана. Холодных волос он представить не мог, и потому не согласился бы с ней до конца.

И Нина не сердилась на него за то, что не соглашается с ней, ведь он вовсе не хочет, чтобы она так же смотрела на все, как и он. Через нее он видел окружающее не односторонним, а как бы более сложным, не в одном, а в двух ракурсах. И ему было хорошо, что Нина с ним, что они вовсе не расстались в Москве. Он приехал на завод, и Нина была с ним. Когда он был в цехах, где на сборочных стендах стояли машины в три этажа высотой, он глядел на них и своими глазами и глазами Нины. «Сроду не видела таких машин», — сказала бы она, — разве только морские суда». А он сказал бы на это, скрывая нежность в голосе: «Какие у вашего брата машины, — и добавил бы, чтобы она не подумала, что он хвастается: — Да и у нас тоже». Он еще бы подумал о той громадной массе

металла, который идет на эту машину, на сколько же хватило бы этого для его завода. Что поделывать, если он до мозга костей, как издавна говорят, человек практичный.

Егор везде брал с собой Нину, даже на склад, где поругался с кладовщиками, хотя Нина его всячески уговаривала не ругаться. Но он не мог, потому что ребята хотели содрать с него двойные деньги за упаковку. Он ведь уже уплатил за нее, какого черта им еще надо? Если они делают все хорошо, разве он постоит из-за бутылки спирта? Из-за бутылки он не постоит, но лишних денег ему ведь никто не дает.

Да, он везде брал с собой Нину, только не взял ее с собой в партком. Не потому, что она беспартийная, а потому, что его командировочное удостоверение требовало от него лжи, а он не хотел врать даже ради своего завода, своего дела. В парткоме он чувствовал себя прескверно, полагая, что ребята все про него знают. Но они и духом не ведали, и принимали его всерьез, а его и на самом деле интересовало, как партийные организации цехов руководили техническим творчеством инженеров и рабочих. Ему хотелось, чтобы Нина видела, как они увлеченно беседовали: те рассказывали ему с интересом, а он с интересом слушал. Правда, Нина то и дело приходила, пока он беседовал, но он старался казаться очень увлеченным или на самом деле был сильно увлечен, и она исчезала, оставляя у него в сердце болезненное ощущение, подобное тому, какое бывает, когда ты высоко взлетаешь на качелях. Он потом расскажет Нине о разговоре в парткоме, разговор был не просто интересным, а и поучительным. Егор узнал много нового и не пожалел, что зашел. Да и ребята, как выяснилось, принимали его за того, кем он числился по удостоверению. Но все равно ему не хотелось, чтобы Нина была с ним.

И тут он вспомнил о докторе Казимирском, и о наказе Нины навестить его, и о дочери.

«И не стала бы Нина с тобой таскаться по заводам, жалкий комар-толкунец, возомнивший себя коммерсантом». И когда он так поставил себя на место, Нина отошла от него и занялась своим делом. Ему хотелось взглянуть, чем она занимается у доктора Казимирского, но он мог представить Нину в любой роли, кроме ее собственной. Он просто не знал, что это такое и как это бывает. И хотя с первых встреч их на Раннамыйза и в Таллине многое

изменилось, они теперь любили друг друга, что-то все-таки мешало ему представить Нину в роли доктора.

Через шумную площадь Тевелева, мимо ветхих окраинных домиков, мимо старинных каменных лабазов трамвай привез Егора Канунникова на остановку, названную «Поликлиника». Он тут и вышел. Остановка была посреди небольшой площади, иссеченной трамвайными рельсами. Тут был трехсторонний перекресток, трамваи шли один за другим, и площадь ни минуты не пустовала. Справа и слева тянулись улицы с рядами одноэтажных и двухэтажных старых домиков. Никаких признаков зданий, хоть чем-то напоминающих поликлинику, Егор увидеть не мог. И только тогда, когда во всех трех направлениях, в ту и другую сторону прошли трамваи, Егору неожиданно открылось на той стороне площади белое двухэтажное здание с легкими колоннами у подъезда, широким парадным крыльцом и окнами, вытянутыми в ширину — типичная постройка ранних послевоенных лет, когда еще не было упрощенчества в архитектуре и зодчие мыслили хотя несколько и старомодно, но не отрывались от того, зачем и для чего они строили.

«А теперь дома строят на кальке, — подумал Егор, переходя площадь. — Архитектор всякий раз решает свой очередной этюд, похожий на кроссворд. Ушла мысль, традиции национальной культуры, осталась только память для отгадок».

И, подходя к широкой лестнице, кое-где выщербленной, — зимой, должно быть, скалывали лед, — Егор еще подумал: «Говорят, стиль — это способ мышления. Какой, к черту, теперь стиль... Как бы только поаккуратнее собезьянничать...»

Он мог думать о чем угодно и как угодно, остановить его было некому, вот он и разошелся. Нина не поехала с ним сюда. Он все еще не мог ее представить на этой дороге, в этой поликлинике, хотя, по ее рассказам, она проходила здесь практику у доктора Казимирского.

Доктора... Нина рассказывала, что он и письма к жене подписывает так: «Доктор Казимирский». «Что ж, простим ему эту слабость», — подумал Егор, входя в круглый вестибюль поликлиники, густо уставленный кадками с пальмами, похожий на зимний сад.

И тут Нина пришла к нему. Ей, должно быть, нравился этот сад. Она спускалась сюда из зала сеансов, усталая и озабоченная. Он представил ее стоящей вот у того окна спиной к пальмам. А за окном заснеженная, изрезанная рельсами площадь. Почему площадь представилась именно заснеженной? «Какой же зимний сад без снега? — тотчас оправдался он. И тут же заметил:— Ну, и ловок ты сегодня, сукин сын...»

Нина говорила ему, что надо подняться на второй этаж, по коридору повернуть налево. Когда станут попадаться кабинеты без табличек на дверях, это и есть отделение доктора Казимирского. Оно ведь почти что нелегальное, так что лучше без вывесок.

В коридоре толпился народ. И хотя людей было много, стояла непривычная даже для этих учреждений тишина. Егор чутьем разведчика сразу ее уловил и понял: люди ждали чуда. А он в чудо не верил, и снова непонимание всего этого спугнуло в нем хороший настрой и к Казимирскому, и ко всему, что с ним связано.

Егор спросил у юноши с тонким, застенчивым лицом и серыми печально-ожидаящими глазами, где можно увидеть доктора Адама Адамовича Казимирского, но юноша странно дернул шеей в ответ, а рядом с ним сидящая полная женщина опередила его и сообщила, что доктора Казимирского все еще нет — болен и очередной сеанс поведет доктор Никошенко. Это, конечно, не то, что доктор Казимирский, но все же докторша Никошенко — одна из лучших его учениц.

«А Нина самая лучшая», — подумал он.

— У вас сын или дочь? — спросила участливо женщина.

— Дочь и сын, — ответил Егор, сперва не поняв вопроса, а когда понял, поправился:— Дочь.

И вспомнил Ирину. Как разучился он думать о детях... Что это с ним такое стало?

А женщина, заметив, как он поскущел лицом, понимающе спросила:

— Поди, невеста?

— Да нет еще. Но все равно... А вы откуда? Местная?

— Что вы! Из Хабаровска. Три года ждали.

«Из Хабаровска... Вот ведь!»

— Ваш уже проходил лечение?

— Нет, сейчас будут готовить. Завтра — сеанс. Жаль, доктор Казимирский... Да ничего. Говорят, и докторша...

Она успокаивала себя, хотела верить докторше, но верила все-таки только доктору Казимирскому.

Она не договаривала фразы, что выдавало ее сильное волнение, и то и дело поглядывала на соседнюю дверь. Когда дверь открылась, Егор увидел небольшой полукруглый зал с широкими окнами на выгнутой стене, заставленный рядами стульев, как в кинотеатре.

«Это и есть зал сеансов», — догадался он и, входя в него, успел еще подумать, что здесь бывала Нина. Но представить ее в этом зале ему все-таки не удалось. Просто он не знал, что бы она тут могла делать. Он сел на самый задний ряд и стал ждать. Люди расселись, места почти все оказались занятыми. Стояла тишина, тишина напряженного ожидания. Ничто другое, кроме тишины, не может выразить состояние человека, ожидающего и верящего. А тут все ждали и всем хотелось верить. Да, хотелось... А это чуть ли не равнозначно вере.

Шум и оживление наступили лишь тогда, когда в зал вошли две женщины в белых халатах. Одна маленькая в туфлях на высоком каблуке и с высокой прической, но все равно маленькая. Она села к столу и положила на край стопку тетрадок, должно быть, истории болезней. Другая, точно для контраста, была высокой и грузной, в туфлях весьма большого размера и на низком, широком каблуке. Серые от седины волосы ее были уложены на прямой пробор.

Больных выстроили по стене. В большинстве это были подростки, но среди них оказалось и несколько взрослых. Взрослые стояли, сложив руки за спину и откинув назад голову, подростки же, наоборот, опустив руки и, все, как один, нагнув голову, но у всех был одинаковый вид людей, ожидающих приговора. Врач Никошенко приглашала больных по одному к своему столу, беседовала с ними. Егор слышал, как трудно все говорили, как стыдились своего недуга, мучились им. И когда очередь дошла до девочек, стоящих на правом фланге, Егор не заметил, как инстинктивно подался вперед и все в нем напряглось. На месте каждой из них могла быть его Ирина, его дочь, в несчастье которой до сих пор он все же не проник до конца, не привез ее сюда, а ведь люди прилетели вон из какого далека, ждали годами вызова. Он сидел и казнился муками проходивших перед ним девочек, и все остальное отошло куда-то, и он сам, и Нина, и задание, с которым он приехал сюда; перед ним были только эти изуродован-



ные наследственностью, природой и условиями жизни девочки.

Почему он, считающий себя не последним среди людей и считающийся ими не последним, умеющий негласно судить любого и каждого за их поступки и работу, думающий о больших и малых проблемах человечества, почему он не заболел болезнью дочери, хотя болеет всеми болезнями мира? Не болеть болезнями ближнего, значит, не болеть ничем другим? Может быть, эта истина не относится к нему?

Он следил за всем, что происходило в зале, как сквозь триплекс, зажатый в узкую смотровую щель танка. Видимость ограничена, но зато перед тобой то, что тебе надо видеть и чего бояться. Он видел лица больных, среди них ему виделось и лицо Ирины, и почти все они были растеряны перед тем неизвестным и пугающим, что ожидало их. Он видел докторшу Никошенко, ее решительное и уверенное лицо, ее глаза, в которых не было ни искорки сомнений или разочарований, они смотрели твердо, как будто она уже знала наперед: то, что должно быть,— будет. Она была убеждена, что она верит в себя, верит в метод доктора Казимирского, и, стоя под огнем взглядов и мнений, она делает свое дело и будет его делать, если даже у нее отберут этот зал и объявят ее знахаркой.

И только сейчас, глядя, как работает докторша Никошенко, Егор увидел на ее месте Нину. Теперь он знал, как бы она вела себя в этом зале, что делала бы, и понял, что жизнь ее без этого зала сеансов, без больных, стоящих по стенке, без их настороженных и растерянных глаз, верящих и неверящих, но полных желания верить, что жизнь ее без всего этого — не жизнь, а пустая трата дней.

«Я думал, что мы одним миром мазаны, одними радостями обрадованы, одними печальями опечалены,— подумал он.— Как бы не так... Она увидела свою полянку, я ее не увидел вовремя». И тут он подумал о временном, преходящем значении всего того, что он делает, и о том бесконечно прекрасном и вечном, что делает доктор Казимирский, докторша Никошенко и без чего не может жить Нина. А всего-то навсего они делают то, для чего предназначены, к чему подготовлены, во что верят, что готовы защищать до последнего своего дыхания. Они взяли чистый лист бумаги и стали на нем писать свое. Егор знает, как это волнующе, как прекрасно и неповторимо.

«А я стал копиркой, которая никогда ничего не откры-

вает, а только передает, только размножает чужое»,— подумал он, выбираясь из зала, когда объявили перерыв.

— Вы не уходите,— остановила его женщина из Хабаровска. Сын на голову выше ее, с бледным лицом и страдальческими глазами, стоял с ней рядом.— Сейчас будут снимать запрет молчания с тех, кто позавчера проходил сеанс.

— Запрет молчания?

— Да. Им некоторое время не разрешают говорить...

Егор спустился вниз покурить, а когда вернулся в зал, там уже начиналась процедура снятия запрета. У стола стоял солдат с открытым лицом уверенного в себе человека — широкая грудь, развернутые плечи. Он был красив своей молодостью, здоровьем, выправкой. Говорил солдат хорошо, никто бы не подумал, что он когда-то заикался.

— Он повторно, у них это практикуется для закрепления результатов,— объяснила Егору женщина из Хабаровска, рядом с которой он теперь сидел.— Года через два-три. У него стойкое выздоровление.

За три года, пока ее сын ждал вызова, она, должно быть, изучила все это досконально и теперь с видом знатока просвещала Канунникова.

Солдат бойко вел диалог, рассказывая о себе, о дороге, которую проделал из части, размещенной где-то на Севере. Егор диву давался: неужели он когда-то был заикой?

Вслед за солдатом шла девушка с загорелым лицом и голубыми глазами. Она старалась казаться сдержанной, но Егор видел, что она таит в себе веселость, наверно, попробовала говорить и осталась довольна.

Докторша Никошенко вместо приветствия обратилась к ней со словами:

— Мы можем!

— Мы можем! — радостно повторила девушка.

— Мы все можем!

— Мы все можем! — все тем же голосом повторила девушка.

Женщина из Хабаровска склонилась к уху Егора и пояснила:

— Это у них вроде лозунга. То есть больной сам себя лечит своей уверенностью в себе.

Докторша Никошенко не скрывала своей радости. Удача! И хотя она шла на сеанс с верой в удачу и для нее вроде не должно быть неожиданностей, но каждое обнару-

жение удачи казалось ей праздником. Удачу переживали всем залом. Надежды появились у тех, кто ждал назавтра ссенса и сомневался еще, а особенно у родителей, которые, кто не знает этого, больше переживают несчастье своих детей, чем сами дети, если им еще не перевалило за двадцать и они не обзавелись своим умом, чтобы уметь разглядеть свое будущее, хотя бы самое ближайшее.

Переживали неудачи, а их было две. Юноша из Полтавы и девушка с далекого Сахалина не могли говорить, как и прежде. Девушка на глазах у всех разрыдалась.

— Она слишком волновалась,— сказала потухшим голосом женщина из Хабаровска.

Разошлись все с тяжелым чувством. Неудача с последними двумя пациентами как бы перечеркнула все, что было радостного в этот час. Но Егора это воодушевило: удачи и неудачи — это уже реальность, а не фантастика.

Он подошел к окошку записи, но ему сказали, что в очередь на лечение уже поставлено шесть тысяч человек,— это на целое десятилетие.

#### 41

— Так это вы и есть Егор Канунников?— открыл дверь, сказал доктор Казимирский.

Перед Егором в полумраке прихожей стоял высокий, худой старик с орлиным носом, тонкими запавшими губами, острым подбородком. Что-то мефистофельское было в этом необыкновенном лице старого поляка, которое, раз увидев, никогда не забудешь.

— Пойдемте на свет,— он дружелюбно взял Егора под руку.— Не удивляйтесь, я вас ждал. Вчера звонила Нина Сергеевна. Она говорила, что вам нужна помощь. Вернее, не вам, а вашей дочери. Я правильно понял?

— Да,— подтвердил Егор.— Все верно.

Он вошел в тесную комнату, заставленную старомодной и ветхой мебелью. На большом письменном столе — телефонный аппарат. В его трубке вчера слышался голос Нины. Взгляд Егора задержался на телефоне. И вдруг его отвлек какой-то писк, он оглянулся: перед балконной дверью в большой проволочной клетке прыгали попугайчики. Рядом, в клетке поменьше, стремительно и бесконечно бежала в железном колесе белка.

— Пациенты балуют...— услышал Егор позади себя голос хозяина и обернулся. На него глядели голубые глаза доктора. Они как-то смягчали суровость его лица.

— Я и птиц не любил, и белок. А вот жалко обижать пациентов, и оставил. Теперь привык. А вы не любите птиц?

— Как вам сказать...

— Да, да, конечно,— сказал доктор и подумал, как бы не забыть передать, что Нина летит завтра в Таганрог и ее самолет рано утром сделает посадку в Харькове. Спросил: — Вы давно знакомы с Ниной Сергеевной?

— Совсем недавно,— ответил Егор замкнуто, и хозяин понял, что ни о птицах, ни о Нине Сергеевне им не разговаривать. Тогда он спросил его о дочери. Егор рассказал все, что знал о ее болезни. А знал он мало, живых наблюдений у него почти не оказалось. И лишь то, что он вспоминал о встрече с дочерью в лагере, вызвало у доктора живейший интерес. Он стал расспрашивать о характере девочки, о том, как она ведет себя среди сверстниц, среди взрослых, общительна или любит уединяться. То, о чем Егор никогда бы не подумал, почему-то интересовало доктора.

Егор чувствовал себя скованно. Ему казалось, что доктор Казимирский видит его насквозь и догадывается о его отношениях с Ниной. Или, может, сознание того, что перед ним незаурядный человек — первооткрыватель, мешало Егору держать себя с ним просто, как он обычно держал себя с людьми? А может, суд Егора над собой все еще не позволял ему глядеть на людей открытыми глазами?

Доктор Казимирский оказался словоохотливым стариком. Он рассказывал о своих больных, учениках, своем кабинете, своем методе. Да, это было все его — и больные, и врачи, и метод, потому что ничего подобного еще не было в лечебной практике. Доктор показывал ему письма, связанные в пачки, которыми были уставлены полки нескольких стеллажей в его кабинете. Доктор брал их наугад и читал: «После лечения моя речь стала намного лучше. По-новому говорю почти полтора года. Очень доволен состоянием своей речи. Трунин Анатолий Александрович. Алушта». «После лечения моя речь стала чистой,— читал доктор второе письмо.— Славянский Евгений Павлович. Ростов-на-Дону».

Доктор развязал пачку, лежавшую сверху в углу, взял письмо, прочитал: «Я стала очень хорошо говорить. От всей души благодарю за лечение. Я очень довольна своей

речью. Цаберебая Лидия Алексеевна. Днепропетровская область...»

Он читал и читал, и Егор не чувствовал, что он бахвалится. Он просто доказывал этими живыми свидетельствами людского счастья, как нужны им и он, доктор Казимирский, и его метод, и докторша Никошенко, и Нина, и многие другие ученики, не сложившие крылья от холодного ветра непризнания и недоброжелательства. Каждое письмо как бы говорило, что не зря, не зря родился на свет доктор Казимирский, не зря живет под солнцем и пользуется его теплом, не зря получает народные деньги, не зря ест хлеб.

— Мы разослали четыре тысячи анкет,— говорил то-ропливо доктор,— получили три тысячи сто сорок шесть ответов. И что мы видим? Хорошо и отлично говорит сорок два процента больных, значительное улучшение имеют восемнадцать процентов, у двадцати двух процентов мы имеем рецидивы. Для восемнадцати процентов лечение прошло безрезультатно. Ну, как можно после этого писать, что наш метод ненаучен, бесплоден и всякую другую ерунду? А какой метод дает стопроцентное лечение? Даже хирургия...

— Вам не мешают непризнание, наскоки?

— Непризнание? Чье? Мне важнее всего признание моих пациентов. А наскоки мешают. Они не снижают числа желающих излечиться, но мешают. Мы почти не готовим кадров, а это плохо. Счастье, что мы ютимся под крышей железнодорожной поликлиники, она не подчинена Министерству здравоохранения, иначе нас давно бы выкурили.

— Неужели?

— Уже были попытки. Но лечебное управление МПС стоит за нас.

— Может, некоторый покров тайности мешает вам? Там, где тайность, там и стараются увидеть поправление науки.

— О!— Доктор Казимирский горестно взмахнул руками.— Какой же покров тайности? Это же давно известно людям. Психическое воздействие на человека при бодрствующем состоянии коры его головного мозга. Я соединил в одну цепь общеизвестные психотерапевтические и психопедагогические приемы. Все построено на том, что больной убеждается: он может говорить нормально. Понимаете? Мы все можем!

— Ну, а как это воздействует на мозг? Что там происходит?

— Да все просто, поймете и вы. В мозгу человека в силу болезни, травмы или каких-либо других причин возникли очаги устойчивого раздражения. Они и мешают нормальной функции нервов, мешают прохождению сигналов, импульсов. Наша задача снять эти очаги. Но это — особые виды заболевания, более глубокого и стойкого. Есть и другие, которые в основном зависят от самого больного, от его неуверенности в себе, неуверенности в том, что он может хорошо говорить.

Казимирский расхаживал по своей тесной комнатухе, останавливался перед Егором, решительно щупал его острым взглядом голубых глаз.

— Кого-то пугает одномоментность, — говорил он. — Чудаки! — он расхохотался над своими невидимыми сейчас оппонентами. — Одномоментность — это же только по времени. За короткий сеанс происходит большое количество разнородных явлений. Каких? — Доктор остановился перед столом, оперся о него руками. Было похоже, что он выступает перед большой аудиторией. — Жаль, что вы не врач... Все равно слушайте. Можно предполагать, что высвобождаются психологические механизмы внутренней речи. Снимается состояние заикания. Видите, это даже не первое. Снимается эмоция страха. Снимается скованность, напряженность и сопутствующие речи движения. Закрепляются стенические эмоции, радость сознания, что мечта осуществилась...

Хозяин устало опустился на стул, его узкий, высокий лоб покрылся каплями пота — сказывалась слабость после болезни.

— Как видите... — продолжал он ослабевшим голосом, но Егор остановил его:

— Пожалуйста, я мало что пойму из этого, а вы устаете. Чем вы можете объяснить, почему все-таки такое вам противодействие?

Доктор задумался. В клетке трещала белка. Птицы затихли.

— Инерцией мышления, иначе объяснить нечем. Если бы меня опровергли, я смог бы подняться над собой, понять. Но ведь просто-напросто запрещают. А это действие уходит из области науки. Не так ли?

— Так, — согласился Егор. — Значит, вы будете продолжать?

— А разве может быть иначе? Или признают, или опровергнут. А опровергнуть трудно. Слишком много у меня живых доказательств. Я буду врачевать больных, пока я жив, и завещаю то же своим ученикам.

— А Нина Сергеевна ваш настоящий последователь?— спросил Егор и добавил:— Я чувствовал, что да.

Хозяин задумчиво посмотрел на него, как бы все еще стараясь понять что-то. Смахнув задумчивость, оживился, проговорил с убежденностью:

— Она моя надежда. Нина Сергеевна хорошо подготовлена как врач и как педагог. А тут надо то и другое. И еще сердце, а значит, и любовь к человеку.

Егор не рассказал ему о том, что встречался с ней в Москве. Старик забыл ему передать, что Нина Сергеевна просила приехать завтра утром на аэродром. Самолет ее летел с посадкой в Харькове.

— А дочь привозите,— говорил доктор, провожая Егора и задерживая его руку в своей горячей ладони. Старался вспомнить, что хотел что-то сказать гостю, что-то важное, но вспомнить не мог.— Где вы остановились? Ах, в общежитии обкома. Да, да, знаю. Тихая улочка, малолюдность. Удобно, и весьма.

Утром Егор возвращался с почты. В кармане его лежала телеграмма Романа: «Срочно выезжай Киев ознакомления алмазной технологией и условиями поставки алмазов». Что же там случилось? Почему вдруг Роман вспомнил об алмазах? Неужели Вовк вмешался? Если так, вот молодец! У входа в общежитие Егор встретил старого худого человека в полотняном, помятом костюме Доктор Казимирский!

Сгорбившись, старик виновато глядел на Егора.

— Забыл передать... Нина Сергеевна летит в Таганрог за матерью и сыном. Самолет ее садится в Харькове. Боюсь, что уже пролетел. Простите, ради бога...

Егор бросился к телефону. Кляня старика за забывчивость, раз за разом набирал номер аэродрома, но телефон все время был занят. Наконец справочное ответило:

— Самолету дан вылет...

Егор вышел из дому. Старик стоял у дверей все в той же позе виноватого и расстроенного человека. Не стал ни о чем спрашивать, по виду Егора можно было понять без слов, что ехать на аэродром поздно.

— Мать ее живет в Таганроге,— старик назвал улицу и дом.— Я у них гостил прошлым летом.

Егор пожал плечами: зачем это ему? Не думает ли старик, что он поедет туда? Но по привычке разведчика адрес повторил и запомнил.

Он представил, как Нина ждала его, как вглядывалась в толпу, и, готовый застонать, но все же сдержавшись, взял старика под руку, и они направились к остановке троллейбуса. Доктор о чем-то догадывался, но никаких вопросов не задал, только проговорил с виноватостью:

— Я огорчил вас...

Егор подумал, как бы объяснить старику, как дорога была бы для него эта встреча на аэродроме, но косвенных объяснений не нашлось, а напрямую ему говорить не хотелось.

## 42

«Быше три братья, единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хорив и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, идеже ныне оувоз Боричев, а Щек сидяше на горѣ, идеже ныне зовется Шековица, а Хорив на третьей горе, от него же прозвася Хоревица, створише град, во имя брата своего старейшего, и нарекоша имя ему Киев. И бяше около града лес и бор велик, и бяху ловяще зверь, бяху мужи мудри и мыслини, и нарицахуся Поляне, от них же суть Поляне в Киеве и до сего дня».

Егор распрямился, поднял голову от книги, погладил ладонью страницу и поглядел на нее так, как смотрит на виолончель человек, слышавший ее чудный звук, но не умеющий на ней играть. Страница пела, издавая звуки столь же близкие, понятные, сколь непонятные и далекие. Он часто удивлялся книжной странице, кальке, ватману, принимающим и сохраняющим чужие мысли и звуки, образы и краски, замыслы и решения. Что было бы, если бы человек не научился это делать? Людская память не могла бы удержать всего, что создало человечество, и каждое новое поколение все начинало бы почти что сызнова.

Все-таки чертовски умна природа и сам человек. Бесконечная забота о том, чтобы сохранять, накапливать, умножать. И только по глупости и темноте можно не видеть этого и не использовать в своих интересах.

Он прошелся по номеру от стола, на котором стоял телефон, графин с водой, вода, должно быть, давно не



менялась и протухла, и лежала волшебная старая книга, которую Егор купил у букиниста. Он редко покупал книги, но на этот раз не удержался, купил. Страницы ее звучали голосами древних-древних предков, вызывали странные видения. Егор подходил к окну, глядел на притихшую ночную улицу Киева, на темнеющие каштаны на бульваре, и ему чудились уставшие после дневных трудов поляне, милые, добрые люди, вынужденные одинаково ловко владеть серпом и копьём.

Егор сунул руку в карман плаща и вместе с пачкой сигарет вытащил какую-то бумажку. Попробовал вспомнить, что бы это могло быть. В Харькове он не надевал плаща, в Киеве — тоже. Из Новограда он уезжал в ведро. Значит, бумажка сунута в Москве. Что бы это могло быть? И почему он не помнит? Нина? Она положила в карман свой адрес? Нет, рука была знакома, между тем почерка Нины он не знал.

И тут он вспомнил Главный почтамт на улице Кирова, Нину и письмо от Ивана, которое в ту минуту показалось ему странно инородным. Он хорошо помнил ветреный день, который внес в его жизнь то бесконечно новое, что делает юношей мужами, а стариков — юношами.

Егор положил письмо на старую книгу, под свет слабой лампы, вовсе не предназначенной для чтения или работы. И, не читая, вспомнил все, о чем писал ему Иван. Хотел было поругать себя за невнимание и забывчивость, но передумал, все равно в Москве у него уже не было времени плотно сесть в патентной библиотеке.

Что они решили? Иван пытается доказать, что нелепо без конца снижать себестоимость изделий, а следует переводить их в высший класс. А Роман-то — подумать только! — понял его? Когда Егор говорил ему об этом — не понимал, а теперь понял?

«А я уступал», — подумал Егор, и горькое чувство овладело им. Скорее вернуться в Москву! Он окопается в патентной библиотеке, и никто его оттуда не выкурит. Патенты — те же летописи, тоже хранят черты эпохи, только другую их сторону.

Егор снова принялся за летопись, но мысли его все больше отвлекались. Он все еще надеялся вызвать Таганрог и поговорить с Ниной. Вчера она не пришла на переговорный пункт. Сегодня он повторил вызов. А может, память у него стала хиреть и он не запомнил адрес? Или старик Казимирский ошибся? Какая же досада, что

не записал тогда. А на память уже надежда, оказывается, плохая...

Егор намеревался перед сном прогуляться по ночному городу, пройти по Крещатику, где каждый дом наособицу, как памятник, но тут зазвонил телефон, и он бросился к столу.

— Заказывали Таганрог? Говорите...

Грудной низкий голос Нины едва-едва угадывался за шумами и гудением, но вдруг он выпростался из чужих звуков и оказался тут, рядом...

— Егор Иванович...

— Да, Нина... Только для тебя... просто Егор.

— Егорушка... Тебе доктор Казимирский дал адрес? Теперь мне понятно, почему ты не приехал на аэродром. Ты был уже в Киеве?

— Нет, я был еще в Харькове. Он забыл мне сказать, прибежал ко мне утром, когда объявили твой вылет. Как у тебя дома?

Вместо ответа Нина спросила:

— А много у нас времени?

— Достаточно. Говори.— Он хотел спросить о Гуртовом, но что-то удержало его.

Она, должно быть, угадала его заминку, сказала:

— Да, я порвала с ним. Я забрала моих девочек, утром привезла их из лагеря и ушла к тетушке Апо. Я правильно сделала?

— Правильно,— сказал он, не раздумывая. Но ему не хотелось больше слышать о Гуртовом, и он спросил:— А как ты нашла тетушку Апо?

— Узнала адрес у той дежурной в гостинице, которая селила тебя, а однажды, потом, я одалживала у нее зонтик. Мы с ней поговорили «за жизнь».

— А как поживает тетушка Апо? И тетушка Лийси?— При упоминании этих имен чем-то далеким, а теперь еще и дорогим повеяло на Егора.

Нина вздохнула:

— Тетушка Лийси умерла. Ее похоронили дня за два до того, как я разыскала их дом на улице Лидии Койдулы.

— Да-да...— Егор замолчал, склонясь над столом, как бы отдавая дань уважения праху старой эстонской женщины, у которой хватило мужества в страшных условиях фашистской оккупации уберечь семью советского пограничника.

- Грустно, Егор?
- Грустно, Нина. Вот и вспоминаю:

Земля, земля, веселая гостиница  
Для проезжающих в далекие края...

И продолжал:

— И для больной тетушки Лийси, видимо, гостиница не была уж такой веселой. Твои девочки у тетушки Апо?

— Да.

— А долго ты будешь в Таганроге?

— Как соберемся. Я увезу маму и сына. Ты зачем приехал в Киев и когда будешь в Москве?

— Я приехал в Киев за алмазами.

— Смешной...

— Мы все можем!

Нина засмеялась:

— Выучился! Смотри-ка...

— Нет, я в самом деле за алмазами. Учусь алмазной технологии, завожу связи. А в Москве буду через два дня.

— И я постараюсь.

И Егор на этом конце провода и Нина на другом его конце, закончив разговор, еще какое-то время стояли перед аппаратами, не желая поверить, что тот и другой аппарат не заговорит уже любимым голосом. И Нина и Егор — оба одинаково жалели, что не сказали друг другу чего-то самого важного, и оба боялись, что эта недосказанность может испортить часы и дни их жизни. Выбежав из дверей почты в тишину азовской непроницаемо темной ночи, какие бывают здесь в начале сентября, Нина стиснула в ладонях пылающее лицо. Хорошо, что темно. Хорошо, что безлюдно. Как это все по-девчоночьи у нее получилось! Зачем? Но, почувствовав, как остыли щеки под ладонями, подумала: «Своих чувств стыдится тот, у кого они хилые. А я люблю его всеми силами сердца. Ох ты, горюшко мое, Нина...» — обратилась она к себе отчужденно, будто делает все ошибки, какие бывают в жизни, допускает все взбалмошные поступки, какие только можно представить, ищет свободу и счастье, находит и теряет их не она, нет, она самая разумная, самая правильная, а какая-то другая Нина, на которую эта, настоящая, смотрит немножко со стороны.

Нина стояла у окна в своем широком и длинном халате и казалась ему необыкновенно высокой. Повернувшись к нему, он подошел, стал рядом.

— Нет,— сказала она,— ты ничего не разрушил ни в моей жизни, ни во мне.

С семнадцатого этажа московской гостиницы «Украина» видна была река в молочной кисее утреннего тумана, а за ней нагромождения старых и новых, больше старых, краснокирпичных зданий, похожих на обломки скал, а за ними, как Казбек, на фоне бледного неба рисовался острошпильный дом на площади Восстания. За ним уже ничего не было видно, кроме неба, будто за той отметкой кончалась Москва.

— И я ни о чем не жалею,— продолжала она, чуть помолчав,— я ведь предчувствовать стала это, только не думала, что все случится так скоро. И ты знаешь, это почему-то меня не потрясло. Если Астафьева мне до сих пор жалко и я сочувствую и понимаю его, то Гуртового — нет. Я его вычеркнула. Если бы он меня разлюбил, я поняла бы его. Но он меня унизил.

Она взглянула на него, как бы давая ему возможность что-то сказать, но он попросил лишь:

— Говори.

— Еще тогда, когда я решила ехать в Москву, вопреки желанию Гуртового, я почувствовала, что беру на себя слишком много. Но тогда я еще очень любила его, чтобы понять это. Не считай, что я тогда любила тебя. Сердце не может любить сразу двоих, любовь — чувство неделимое.

Егор смотрел, как по реке, прикрытый легким туманом, будто неудавшейся дымовой завесой, прошел белый катер — речной трамвай с грустно пустующей палубой. Должно быть, он не плыл, а мчался, они ведь быстро ходят, эти катера, но с высоты семнадцатого этажа жизнь там, внизу, кажется замедленной.

— А если бы я не встретил тебя в этом людском море?

Он услышал за спиной, как она прошла, стуча каблучками.

— Ну, у нас иначе не могло и быть. Если не тогда, то в другой раз мы бы встретились.

Егор подумал, что в тот день на Раннамыйза все было уже предопределено. Только они еще не знали тогда, во

что это выльется: может родиться новая семья... Он не ожидал этого, даже не заметил, как оно подкралось.

И тотчас увидел перед собой Славку и Ирину. Сердце сжалось от тоски и боли, он закрыл глаза, прижал к ним ладонь. Закружилась голова, и он присел на стул. Не сразу почувствовал прикосновение ее ладони, а когда почувствовал, убрал с глаз руку и увидел перед собой Нину. Она была уже одета — красное платье с черной оторочкой по рукавам и вороту, серебряная брошка с черными силуэтами рыбаков, серые, чуть подпухшие глаза смотрели чисто и ясно. И лицо ее, детски свежее после сна и умывания, и темно-медная челка жестких волос на лбу, и белая шея, слабо тронутая северным загаром, и вся она, светящаяся нескрываемой радостью и вся открытая ему, и только ему, — все это потрясло его с новой, еще неиспытанной силой. Забылось то, что только что волновало его, будто ничего и не было в мире, кроме них двоих.

— Нина...

Она обняла его за шею, погладила по голове, как ребенка, попросила:

— Тише, Егорушка, не задержи меня. Я уйду. Меня ждут.

Он подавил в себе вновь нахлынувшее желание, спросил озабоченно:

— А тебя не хватились? Мать знает, где ты?

— Знает. Я ночевала у подруги. Мы с ней вместе учились. Она сейчас инспектор Минздрава Башкирии. Мы встретились внизу и она уступила мне свой номер.

— Да, вот она, любовь-то...

— Нет, на самом деле я могла у нее ночевать, и ночевала первую ночь, пока ты еще возился в Киеве со своими алмазами. Хоть бы прихватил один, взглянуть, какие они.

— А-а,— махнул он рукой,— так себе. Пыль. Никакого вида. И сгорают быстро, вернее, испаряются, если не выдержать температуру. Они — искусственные.

Она поглядела в его тоскующие глаза и, казалось, поняла все, что он пережил за эти короткие минуты еще не ушедшего утра. Села рядом, потерлась щекой о его плечо.

— Ты только ни о чем не думай,— сказала она, глядя его руку.— Ты думаешь, я знаю...

— Стал думать... Вначале не думал, нет. А когда узнал, что ты ушла от Гуртового, стал думать. Я ведь от-

вечаю теперь за тебя и за всех твоих.— Он говорил это, еще не представляя, как все у них будет.

— Ох,— она присвистнула,— моих столько, за всех не наплачешься. Пусть наша любовь не связывает тебя. Как жил, так и живи.

Она взяла его руку, приложила к своей щеке. Щека была прохладная, хотя и тлела румянцем.

— Ну, что ты говоришь: как жил?

— Хотя мне труднее будет, поверь, но я не буду тебя ревновать по-глупому. Глупая ревность убивает любовь.

— А умная? Есть такая? — он дотронулся рукой до ее челки, открыл лоб, и сразу лицо ее изменилось — стало серьезнее, постарело.

— Бывает и умная,— она тряхнула головой, и челка снова прикрыла ее лоб и сделала девчонкой.— Это самая-самая-самая сильная любовь. Да, вот что такое умная ревность. И — не ревнуй, я тебе, пока люблю, не изменю.

— Пока?

— Не бойся. Я буду тебя любить всегда. Во веки вечные. И если бы захотела, то родила бы тебе сына Ростислава. Но только русские бабы поняли вкус любви и стали отвыкать рожать...

Он подумал о том, что устали русачки от войн, бед, недоеданий, навозных вил, плуга, лопат. Неужто усталость передалась нашим поколениям? Если это так, то к Нине это не относится.

— Ты снова в патентную библиотеку?

— Да.

— И как ты там себя чувствуешь? Тебе это близко?

— Близко! Это все мое, мое! Не знаю, что было бы со мной, если бы не ты.

— Ну уж... При чем тут я?

— Я, узнав о твоей полынне, ясно увидел свою. Я ведь тоже пошел по ее краю, но не видел ее темной воды. Боже мой, как все во мне мельчало.— И он вспомнил чисто-польца, вспомнил, как научился по-толкачески ловчить.

— Ну, ты и сам бы справился,— сказала она, не желая признать за собой какую-то роль в его судьбе.— Да и у тебя есть Иван. А он не дурак, как я поняла по твоему же отношению к нему.

— Это верно.

— Надолго у тебя еще работы в патентной? Мама меня уже торопит с отъездом, а я откладываю.

— Как скажешь... Могу закончить в два дня, но могу и за месяц.

— Я бы хотела за месяц.— Она прикоснулась губами к его щеке.— Но лучше за два дня. Пока ты здесь, я не смогу от тебя уехать. А ведь всегда была такая решительная. Ты на меня странно влияешь. Я скоро сделаюсь сентиментальной.

Он проводил ее до двери номера, где жила ее мать с Аскольдом, и, поцеловав в щеку, как и она его, сказал:

— Будь такой, какой хочешь. И позвони в библиотеку, когда будешь свободна. Мне передадут. Ребята там что надо. Только вот беда — ленивые. На сундуках с золотом сидят, а думают, что черепки под ними.

#### 44

Вернувшись в Новоград, Егор попросил Сойкина подключить его к подготовке партийного собрания. Пришел платить взносы и прямо заявил об этом.

— Не доверяешь, что ли, нам? — ошетинился вдруг Сойкин, хмурая крутой лоб.

— Ну, что ты, право! Соскучился же!

— Вот это правильно. Ты, Егор, повел себя как настоящий коммунист. И за должностью не погнался — это мне тоже понравилось. Роман делал явную глупость. Можешь считать, что я тут руку приложил. Не могу терпеть, когда не считаются с направлением всей жизни человека. Ну, на черта тебе снабжение, если ты изобретатель? Верно ведь?

— Верно...

— И зачем министру быть кучером, а кучеру — министром?

— Верно! — еще раз подтвердил Егор.— А Неустрову — главным технологом.

Сойкин вдруг насторожился:

— Откуда знаешь?

— Что знаю?

— Напортчил он.— Сойкин замялся, но, осмелев, заговорил:— Понимаешь, ерунда получилась с Неустровым. Провалил он твой «алмазный вариант», газета, профсоюз его поддержали, не разобравшись. А тут закрытое письмо недавно получили насчет развития новой техники. Такие письма по всей стране пошли. И там, понимаешь? Примерчик приведен. Наш завод и твой «алмаз-

ный вариант». Роман сон потерял, а Неустроев три дня на работу не выходил. Меня, конечно, сразу в обком партии: как, что и почему? Пришлось признать: на по воду пошел, да и газета, мол, здорово подкузьмила. А мне: «За дурачков нас тут считаешь — газета! У самих то голова зачем?»

— Так вот почему меня срочно послали в Киев? — Егор едва сдерживал улыбку. Знал, что улыбаться в эту минуту бестактно, но удержать подергивание губ и щек был не в силах.

— Ты что? Твоих рук дело?

— Не рук, а уст. В Госплане к слову пришлось. Ну, они, должно быть, затребовали документы. Не могли же на слово поверить?

— Да! — Сойкин задумался, краска то ли стыда, то ли злости залила его лицо, но сказал он твердо, без обиды:— Судить тебя не могу и не буду. Я лично. Но Роман тебе крови попортит.

— Что ж, тогда я начну. Выступлю на собрании и расскажу все.

— Стоп! На собрании, на этом, не дам, не путай два вопроса. Понял? Письмо будем обсуждать отдельно.— Он опять задумался.— Только не лучше ли разговор этот оставить между нами? Пусть идет, как указание сверху.

Егор молчал.

— Так ты согласен или нет?

— Мне-то что...

— Договорились!

Егор вышел от Сойкина. Конечно, с его настроением можно было бы протанцевать по всему двору на виду у всего завода. Но стоит ли? Вдруг накинута смирительную рубашку или, самое легкое, отправят в вытрезвитель. Егор, конечно, не стал танцевать на виду у всего завода, а пересек двор по диагонали и поднялся в заводоуправление.

Донна Анна встретила его вопросом:

— Опять все привезли?

— Увы, опять!— весело ответил Егор, заметив, как прямо и открыто, без тени смущения смотрит на него донна Анна.

— Уж лучше бы вам раз провалиться...

— Ну, зачем мне желать худа?



— Добра! Ладно, идите к нему. Всю неделю не в себе. Не знаю, какая муха укусила.

— Вам надо бы знать, донна Анна. О письме не слышали?

Разговор с Романом вышел короткий и суховатый. Пожалуй, Роман никогда так сдержанно не встречал его. Не было благодарности, не говоря уж о трех традиционных днях отдыха, хотя на этот раз Егор «привез» и сталь, и алмазы, и получил кое-какой навык работы с ними. Роман спросил, как же так получилось, что вместо предложений на снижение себестоимости изделий Егор привез технические карты измерительных инструментов, которые ориентируют завод совершенно в другом направлении.

— Я понял,— сказал Егор,— да, это ориентация на мировые стандарты. Я имел в виду как раз это.— Он вспомнил о письме Ивана, но догадался его не выдавать.

— А мне нужны пути снижения себестоимости,— директор не сдержал раздражения и невольно повысил голос.

— Может, нам поговорить в другой раз? — Егор встал.

Роман взял себя в руки:

— Эх, какой чувствительный стал! Так что же мне делать, по-твоему?

— Если всерьез, то слушай,— Егор выждал, пока Роман оторвет глаза от бумаг, сложенных перед ним стопкой, и продолжал:— Высказать на собрании два аспекта вопроса: свой — то есть отсчет снижения себестоимости от достигнутого, и нашей лаборатории — выход на мировые стандарты, то есть создание инструментов высшего качества, как по классу точности, так и по эстетике. Это предусматривает совершенно новый подход к отсчету себестоимости.

— Нет, я выскажу свою точку зрения, свою и главка. А ты вали свою.

— Подумай, Роман. Мне не хотелось бы лезть с разногласиями на трибуну партсобраний. Нас не поймут. Если ты выскажешь обе точки зрения, услышишь, если только ты хочешь услышать, то, что думают наши коммунисты.

Роман надолго задумался. Донна Анна открыла дверь, хотела что-то сообщить, но Роман махнул рукой.

— А ты не думаешь, Егор, что на заводе должен быть один директор?

— Вот потому я тебе и предлагаю...

— Ну, ну... Подумаю.— И уже совсем по-другому, оживленное, веселее, заговорил Роман, укоряя Егора в том, что тот отказался от прекрасной должности. Снабжение — это альфа и омега современной промышленности, а он, Егор, в нем, как рыба в воде.

— Смотря что понимать под снабжением,— ответил Егор, вспоминая сразу все: и Таллин, и Москву, и Харьков, где Нина ходила с ним повсюду, хотя ее и не было рядом.— Если под этим термином понимать «выбивательство», то это не снабжение, а штопка дыр. А если говорить по большому счету, то это наука, сложная и интересная, и коммерция. Туда бы я пошел работать. Знать, где сколько и что лежит, завязывать, закреплять наиболее выгодные связи, искать рычаги заинтересованности и вырабатывать и применять меры ответственности. Это интересно: создать своеобразный видимый и невидимый в то же время рынок. Вот это да!

— Черт, ты и все твои из пагоды живут будто не на земле. Меня будут бить, если я не отоварю наряды, не дам людям заработать и получить премию. А ты — наука!

На партийном собрании директор сделал своеобразный доклад. Он не встал на одну из двух точек зрения, а убедительно изложил обе. Он с такой же заинтересованностью и доказательностью говорил о необходимости снижения себестоимости от достигнутого, точке зрения, давно привычной и ставшей, как он выразился, почти экономическим законом, с какой говорил и о некотором завышении себестоимости и в то же время о переводе в высший класс изделий завода, об их конкурентной способности на мировом рынке. Все с интересом слушали технические данные таких же инструментов, выпускаемых шведами, англичанами, японцами, американцами, немцами из ГДР. Кто-то охал, кто-то неверяще махал руками, кто-то расстроено вздыхал.

Но странно, что прения разгорались вяло, и Егор волновался, чувствуя, что ответственность за собрание лежит и на нем, хотя и негласно, но лежит. Не привыкли люди из двух точек выбирать одну, верную? Но не всю же жизнь, как слепым, держаться стенки? Думать, думать...

Егор взглянул в сторону, где сидела жена. В черном

платье, с желтой ниточкой янтаря на шее. Янтарь выбирала Нина. Тогда еще ничего не было известно, и вот как получилось...

За все время, пока они сидят на собрании, Варя не оглянулась на него. А что он мог еще от нее ждать? Дома они совсем чужие. Егор взглянул на донну Анну: та сидела с краю стола президиума и готовилась записывать прения. На лице ее озабоченность, будто она чувствовала себя виноватой в том, что прения забуксовали.

Мысли пришли в движение после речи Неустроева, и собрание оживилось. Неустроев, самоуверенный и энергичный, говорил твердо, без колебаний, и скорее инструктировал, чем размышлял. Он высказал недоумение по поводу директорского доклада: как можно, не имея точки зрения, пытаться задать тон собранию? Как можно ставить под сомнение планирование себестоимости от достигнутого уровня, если это стало категорией государственной?

«Устойчивый, консервативный стереотип,— подумал Егор словами Нины,— чтобы его переделать, не один пуд соли надо съесть...»

Разгоряченный Неустроев — ниточка усов подергивалась — сел у окна, забрякал шпингалетами, стараясь открыть створки, и открыл.

До Егора дошла струя прохладного сырого воздуха — на дворе лил дождь, по всем правилам сентября — холодный и неудержимый. Влажный шум листьев, еще оставшихся на тополях, напомнил море, и Егор на минуту забыл обо всем, что тут происходило. Главный инженер завода Мелентьев, голубоглазый, с тонким лицом мужчины лет пятидесяти, с великолепным московским выговором («Понравился бы Нине,— подумал Егор,— она любит, кто так чисто произносит слова»), посвятил свою речь интересной работе, проделанной технической лабораторией, подробные технические карты изделий помогли взглянуть на то, что делает завод, и увидеть плюсы и минусы. Мы делаем немало хороших приборов высокого класса точности, но много у нас еще такого, чему далеко до мировых стандартов.

«Сдвинулось, сдвинулось что-то в психологии людей,— радуясь, подумал Егор,— давно ли и говорить об этом никто не хотел».

Но вот взял слово начальник группы реализации, и настроение Егора несколько потускнело. Он с цифрами

в руках доказывал, что, сколько бы ни выпускал завод измерительной техники, вся она уходит, будто в прорву. Надо ли думать о мировых стандартах, не утолив своего голода? За ним слово попросила Варя.

Она заговорила не своим, высоким голосом, и на первых же словах сорвалась. Помолчав, продолжала уже увереннее. Ее слушали внимательно, так как то, о чем она говорила, касалось всех: о качестве. Она приводила цифры, и никому это не было скучно, каждый видел себя в них, как в зеркале. Много брака, большие убытки. Егор слушал довольный, склонив голову набок. Варя подтверждала его мысли о качестве. Роман оторвал взгляд от бумаг, которые он по привычке читал, Егор заметил в его глазах тоскующее выражение и вспомнил, что в прошлом не раз замечал у Романа нечто подобное. Но никогда ему не приходило в голову придавать этому какое-то значение.

Все вроде бы шло хорошо, но вдруг Варя, заканчивая речь, заявила: не до высшего им класса, выполнять бы заказы. Куда там тягаться с иностранными фирмами, которые ради конкуренции все, до последнего пота, выжимают из рабочих. А мы защищены от этого.

«Вот это действительно женская логика», — злясь, подумал Егор, от стыда стараясь ни на кого не смотреть, особенно на Ивана. А Иван глядел на него в упор. Его маленькие голубые глаза, обычно добродушные и добрые, какие бывают у детей, еще не отведавших сложностей жизни, стали жестче и холодней и как бы спрашивали его: «Что же это? Как же?»

— Дайте мне слово, товарищ Сойкин. — Иван, старательный, как школьник в классе, высоко поднял руку.

— Прошу, Иван Георгиевич, прошу.

— Здесь я услышал речи товарищей Неустроева и Канунниковой... Ну до чего дружно говорили, будто по одному конспекту. — Иван машинально прикоснулся к макушке, вихорек там спокойно лежал на своем месте. — Так вот, Варвара Петровна, — обратился он к Канунниковой, — вы и тогда, когда не работали на столь высокой должности, считались самым строгим и точным мастером своего дела. А теперь вы и по рангу своему человек в высшем понимании государственный. И что же вы нас толкаете на поделки, от которых убыток всему нашему заводу?.. А мы что — прежняя Россия, которая торговала лишь хлебом да сырыми материалами, Россия, кото-

рая была богата талантами, а не умела сделать часы? Мы — цивилизованная держава, и экспорт у нас должен быть соответствующий.

Жаль, что Иван не развил свои мысли. У всякой проблемы есть еще нравственная сторона, а Иван лишь чуть-чуть затронул ее, когда говорил о Варе, действительно она выступила из рук вон плохо.

Егор, когда Сойки́н объявил его выступление, поднялся с места, прошел к столу.

Донна Анна повернулась, чтобы разглядеть его. Она увидела, как он чуточку волнуется, руки никак не найдут места, чтобы остановиться, но в карих глазах его с кофейными темными точками уже видна была усмешка. В осанке Егора, в том, как он держит голову, было что-то новое для донны Анны — уверенность, что ли, нет, пожалуй, другое — устойчивость.

— Я хотел напомнить притчу о том, как два мужика мечтали стать царями. Прошу извинить, если кто уже слышал ее. — Он помолчал, как бы давая участникам собрания сосредоточиться, народ уже основательно поустал. — Один спрашивает другого: а что бы ты сделал, став царем? Тот почесал затылок: ел бы сало с салом. А ты? А я взял бы сотню — и тикать. Некоторые сегодняшние выступающие мне напомнили этих двух бесхитростных мужичков, — он незаметно скосил глаза в сторону Вари — поймет ли? — Да, мы свободные люди, можно сказать, цари жизни. Но зачем же так представлять нашу свободу: есть сало с салом, хватать по сотне и убегать? А работать кому? Нам! Свободный труд и предполагает наивысший результат, ибо это ведь труд не из-под палки, а от души.

— Ты, Канунников, об этом дома с женой поговори, — крикнул Неустроев, и тонкая ниточка его усов задергалась от усмешки.

— Между прочим, в твоей речи, Неустроев, те мужички тоже проглядывали...

В зале зашумели, раздался смех.

— В общем, я не намеревался произносить длинную речь, все устали. Но не могу не сказать, что качество нашего труда я рассматривал бы как категорию нравственную. А ну-ка, какой ты коммунист, если взглянуть на тебя с точки зрения качества? А как у тебя обстоит дело с честностью, с порядочностью? Ты считаешь, что коммунисту постыдно, безнравственно воровать. Верно! Но ком-

мунисту тоже постыдно, безнравственно делать плохую продукцию и тем самым растраниживать наше народное богатство, снижать отдачу труда миллионов людей. И как бы это ни было стыдно, я должен сказать, что и сам поступал безнравственно. Каждый год наша техническая лаборатория пускала в жизнь головные образцы изделий, явно отставшие от требований времени, занималась не тем, чем надо. Все, кроме, пожалуй, Ивана Летова, считали, что это так и должно быть. Точность, долговечность, внешняя выразительность изделий — вот о чем не думали. Любой ценой план — это еще не та работа, которую я, например, хотел бы приветствовать. Качество — вот чему теперь посвящу все свои усилия. Ну, разве не справедливо было бы перефразировать старую мудрость: «Покажи мне свою работу, и я скажу, кто ты»? Хочу, чтобы каждый из нас предостерег себя от вселенского всепрощения, которое грозит нам. Никто никому не имеет права прощать халтурной работы.

Егор пошел на свое место. Никто не ожидал, что он так повернет вопрос, и зал сидел притихший. Роман следил за ним, когда он шел, и не отрывал от него взгляда, когда он сел, как будто боялся, что Егор встанет и еще скажет то, что не досказал. А он явно не досказал что-то.

Прениям подвели черту, Сойкин спросил, обращаясь к залу:

— Что ж, закруглимся?

— А решения? — спросил Иван Летов.

— Решения мы не готовили, — встал и объяснил Роман. — Просто хотелось посоветоваться с коммунистами.

— Тогда прошу проголосовать... — посоветовал Егор.

Сойкин с радостью ухватился за это предложение.

— Сформулируй, Егор Иванович, — попросил он.

— А что формулировать? Кто за новое и кто за старое?

Сойкин заторопился:

— Всем понятно? — он не любил длинных собраний. — Кто за... новое? — и споткнулся, укорил Егора: — Ну, и дал формулировочку...

Примерно половина присутствующих подняли руки.

— Кто за... старое?

За старое не поднялось ни одной руки.

Закрыв собрание, Сойкин еще раз покачал головой, глядя в сторону Егора, заметил:

— Ну и Канунников, как размежевал людей...

«За что мне такое счастье? За что? Я не заслужил его. А если человек не заслужил счастья, значит, он счастлив за счет других...»

Егор медленно, ступенька за ступенькой, спускался по серой бетонной лестнице новгородской почты. Он не бежал очертя голову, как бегают счастливые люди, знающие, что это их счастье, что они законно получили его. Он не улыбался по-глупому, как улыбается всякий мало-мальски осчастливленный нормальный человек, его лицо было сосредоточенно и даже хмуро. Он не бросался на шею первому попавшемуся человеку, изнемогая от нетерпения хоть как-то выразить свое состояние, а сторонился людей, которые шли ему навстречу, это заставляло его жаться к стене. И от всего этого он казался скорее несчастным, чем счастливым.

На улице было бело от снега, и если бы светило солнце, то все сверкало бы неистощимо празднично. Но солнца не было, над городом нависало низкое хмурое небо, грузное от снежных пыжей, от которых оно так и не смогло освободиться за последние три метельных

Зима, снег уже не растает, в самый раз приспел. Раньше он, бывало, ждал ее, перемены в погоде, покоряли своей неизбежной закономерностью. Счастье не хотелось, чтобы зима устоялась. Ему казалось, что она порвет связь между ним и берегом моря на далекой Риннамийлз, между ним и глухими зарослями папоротника, на котором не просыхала роса, между ним и огненным на закате морем, которое гнало и гнало к берегу раскаленные до красноты валы. Из них пришла к нему Нина, и он хотел, чтобы все это было вечно и не уходило никуда. Его воображению непосильно было нарисовать картину замерзшего моря, засыпанного снегом, уснувшие подо льдом валы, усмиренные еще более грозным явлением все той же природы, обмерзший безлистный виноград на выставке, когда-то красно-зеленый, все запрещающий и все разрешающий одновременно. Но он знал

также, что Нина обрадовалась бы зиме, как всегда раньше радовался ей и Егор. Но для Нины ведь ничего не значили те огненные валы, из которых она вышла едва живая. Она ведь и не видела их. А если и видела раньше и позже, то воспринимала их как обыкновенное, всегдашнее.

«И будь ты проклят, что вышел тогда из кустов», — подумал он, на минуту представив ее и себя в разных концах страны, как две планеты, вечно идущие по своим орбитам и никогда не встречающиеся. Два месяца, проведенные в Новограде, два месяца без Нины, два месяца непроходящего желания видеть ее, быть с ней, два месяца воспоминаний, живущие в нем неповторимые подробности их встреч — мучительное время одинокой планеты, опустошенной любовью и в то же время богатой от любви.

Два долгих и в то же время стремительно пролетевших месяца вернули Егора самому себе и заводу, а завод вернул его лаборатории. Никто не знал, как это было нужно Егору и как он не хотел этого. Разъезжай он по-прежнему, успел бы побывать в Москве, наверняка встретился бы с Ниной. Он сам разлучил себя с ней, сам подготовил разлуку и сам закрепил ее. Он знал, когда шел на это, что обречет себя на странные и постыдные отношения с женой, но другого выхода у него не было. Он еще не думал тогда, что придет время решать свою судьбу, что его и ее, Нины, опустошенные и богатые планеты должны встретиться своими орбитами, и встретиться навсегда. Ему казалось поначалу, что любовь ни к чему его не обязывает, да и Нина не требовала ничего. Вроде бы они могли жить вот так — он здесь, а она там и лишь встречаться где-то в третьем месте.

Что из этого ничего не выйдет, Егор понял сейчас, когда прочитал короткое письмо от Нины. Написанное на поздравительной открытке, на которой не было изображено никаких атрибутов Октябрьского праздника, а всего-навсего деревянный жбан с пышной шапкой эстонского пива, оно не походило на обычные поздравления, но в то же время каждое слово в нем было праздничным для него. Нина даже никак не обращалась к нему, в нем не было слова «Егорушка», которое, раз услышанное от нее, звучало для него как открытие, но в то же время в каждом слове Егор чувствовал себя.

Нина писала:



«Кто-то на Раннамыйза рассыпал солнце. Я собирала его в ладони, оно жгло пальцы, падало на росинки, те вспыхивали огоньками и умирали. Лес ткал в воздухе серебряную паутину, чтобы поймать в нее солнце, но паутина плавилась. Не кажется ли тебе, друг мой, что солнце и счастье — родные братья?»

Она вся была с ним, и, казалось, для нее ничего не было в мире, кроме того, что связывало их, и ему вдруг стало больно, что он так мало был с ней вместе. На расстоянии тоже можно быть вместе, если ты любишь. Но это ведь лишь утешение. Он любил ее так, как никого никогда не любил, и она нужна ему, как никогда и никто не был ему нужен. Почему же их разделяло нечто похожее на туман? Или это казалось, что туман? И верно, никакого тумана и не было. Просто было расстояние и еще то, что в это время он жил в другом измерении, чем тогда, когда они познакомились и полюбили друг друга. Было прежнее его состояние творчества, когда человек испытывает необыкновенную свободу, когда ему кажется, что он ни от кого и ни от чего не зависит, что его ничто не связывает, даже любовь.

«Но ей-то почему так не кажется? — подумал, сразу снимая с себя все оправдания, — почему она, живя в состоянии творчества или в особом измерении, почему же она остается как все: любит, хочет счастья другим? А я думал, что мы одинаковы...»

Егор не заметил, как прошел остановку троллейбуса, и вспомнил о ней, когда уже был на полпути к следующей, и он заспешил: обеденное время кончилось.

«Нет, — с твердой убежденностью подумал он, — нет и нет, — ставил он крест на себе, как бы освобождаясь от того тумана расстояния, который отделял его от Нины. — Мы не похожи друг на друга. Вернее, я не похож на нее. Это она мне говорила, что я занимаюсь не своим делом и разрушаю свой характер. А разве я был уже не на пороге этого разрушения? Не на краю полынью? И разве не она меня отвела от этого порога? — И тут же с горечью отметил: — Она отвела меня от того порога, и это разлучило нас. Но разве она хотела этого? Нет, еще раз нет».

Он вспомнил, какие у нее были глаза, когда она слушала его рассказ об инструментах там, на выставке. Он не придавал особого значения выражению ее глаз, а теперь

видел их — широко распахнутые глаза восхищенного ребенка. Так ей тогда, должно быть, хотелось, чтобы он был самым собой, когда увидела, какой он на самом деле. А как осторожно, но заинтересованно спрашивала она о его работе в патентной библиотеке. Она думала о нем, любила его и в то же время вся была поглощена своими заботами — сыном, доктором Казимирским, учебой девочек, наконец, у нее ведь только что рухнула прежняя любовь и вера в любимого человека.

Он подошел к остановке и прыгнул в подошедший троллейбус. Народу в нем мало — рабочий Новоград в это время трудился в цехах. Ездят в дневные часы больше всего старики и старушки. Старушек было почему-то больше. Если судить о городе по этим дневным троллейбусам, то можно подумать, что в городе никто, кроме старушек, и не проживает. «Какой-нибудь недалекий социолог непременно сделал бы такой вывод, — подумал Егор, отвлекаясь от прежних своих мыслей. — Иной раз случайное превращают в науку. И все из-за погони за фактом, а не за его сущностью».

Егор глядел на пробегающие за окном старые ветхие и новые дома, на снег, который еще не успели затоптать и загрязнить сажей, на прохожих и думал о том, что пустое слово рано или поздно вернется к человеку карающим бумерангом, но как и что придумать, чтобы на это тратились мгновенья, а не годы.

«Счастье и солнце — родные братья... — подумал он. — Ах, Нина, Нина. Солнце-то светит для всех одинаково, и все остальное зависит от нас, от людей, и никто еще не придумал, чтобы для пустословов небо было с овчинку, а солнце — с пятак».

Когда Егор вошел в пагоду, все работники были уже на месте, и пока он надевал в тамбуре свой халат, слышал, как они о чем-то спорили. Выделялась спокойная рассудительная речь Аграфена и взволнованные протестующие возгласы Эдгара По. Волнуясь, Эдгар торопился сразить противника, и понять, что он говорил, было почти невозможно. Егор вошел в цех. Все стояли у верстака Аграфена, только Иван сидел у своего монтажного стола, спиной к спорщикам. Затылок его белел, сквозь светлые волосы по-детски просвечивала кожа. Егор прошел к своему столу, сел, вынул из кармана открытку, разглядел на столе, еще раз пробежал короткие строчки, но и без

чтения он уже помнил их. Все разошлись по своим рабочим местам, и только Эдгар все еще махал руками перед носом дядюшки Аграфена.

— О чем они? — спросил Егор у Летова.

Тот отозвался не сразу, а некоторое время вертел перед глазами деталь, а когда обернулся, Егор увидел обиженное, замкнутое лицо.

— Эдгар отказался от авторства ПАКИ.

— Отказался? Почему?

— Пусть, говорит, идет как коллективный.

— Да почему же?

— Аграфен обижен, что не сочли за соавтора и его.

— Аграфена? В соавторы? А что он сделал для ПАКИ?

— У него сохранился наряд: проверял точность диска. Без тебя я давал ему это задание. Ну вот и скандалит. А прибор посылаем в Ленинград. Неустроев повезет.

— Неустроев? Он-то какое имеет отношение?

— Ну, главный... А ты что, недоволен, что прибор пошел в жизнь? Пока, правда, только на государственные испытания, но все же.

— Что ты, доволен. Как быть недовольным? Что ж, коллективный так коллективный... — Егор задумался. — Но через Комитет по делам изобретений и открытий он не пройдет. Потребуют авторов. — Егор опять задумался, достал из стола открытку, не читая, повторял слово за словом. И вдруг ему с ясностью короткого сна представилось, как Нина собирает в ладони солнце, рассыпанное на берегу моря. Это были капли росы, в которых отражалось солнце. Нине кажется, что она собирает крошечные яркие осколки светила, но ладони ее полнятся чистой и холодной росой.

Пойти к Роману и попроситься в Ленинград?

Весь день Егор боролся с собой, то окончательно загорался решимостью идти к Роману и брался уже за телефон, чтобы предварительно договориться, то раздумывал вдруг, стыдясь своих мыслей, и рука его так и не поднимала телефонную трубку, ругал себя за нерешительность и совестливость и оправдывал себя тут же. В конце дня, когда он возненавидел себя за эту нерешительность и совестливость, он позвонил Роману и напросился в Ленинград. А там и Таллин рядом. Но Роман на этот раз отказал Егору.

— Что такое Раннамыйза?

Варя заметила, как рука мужа, несшая ко рту кусочек печенки, которую он сам жарил по своему способу — отбивал сильно и томил в сметане, — как рука Егора дрогнула.

— Раннамыйза? — переспросил он, и мысль его работала, как бывало в разведке, когда требовалось быстро принять единственно правильное решение. Откуда жена узнала это слово? И тут же память обнаружила слабое место: открытка. Он ее оставил на столе. Но зачем приходила к нему Варя?

Он ужаснулся и обрадовался мысли о том, как все идет ему навстречу. Сейчас можно сказать обо всем и без новых поисков времени, слов, удобного случая, наконец, ссоры, от которых он сам, да и Варя, будто чувствуя близость развязки, осторожно уходили. Все сказать, все как было и что есть, тогда не нужна будет ложь.

«Сказать все? А что, собственно? — возразил он тотчас себе, чувствуя, что время затягивается и сказать, что такое Раннамыйза, все-таки придется — сказать, что готов развестись с Варей и уехать к Нине? А я знаю точно, что Нина на это пойдет?»

— Раннамыйза? — еще раз переспросил он, как разведчик, застигнутый врасплох, дает вторую очередь из автомата, чтобы выиграть время для принятия решения.

Тут вбежал на кухню Славка, весь переполненный какой-то неожиданной новостью — глаза его сияли от восхищения: «Пап, Клуб кинопутешествий... Ящеры, ты знаешь, пап, ужас...» И Егор замотал головой и вновь понес ко рту кусочек печенки:

— Раннамыйза? Откуда ты это взяла?

— У тебя на столе, — Варя вдруг замкнулась, видно, пришлось менять какое-то заранее принятое решение, — открытка со странным письмом.

— А-а, — махнул он рукой и повернулся к Славке, — ящеры, говоришь? Пойдем посмотрим.

Егор торопливо поднялся, на ходу дожевывая, направился в комнату. Славка уже сидел у телевизора, не спуская глаз с экрана. Ирина готовила уроки за столом, избоченясь, тоже следила, как на экране двигались по выжженной каменистой земле неуклюжие, неловкие в

своих движениях допотопные чудища. Егор смотрел на них, как они тяжело переставляют свои конечности, и вспомнил Раннамыйза, где каменные глыбы у берега, если смотреть на них с моря, так походили на эти чудища. И вдруг на берегу увидел женщину.

Он забыл об открытке, когда вернулся на кухню, не напомнила о ней и Варя. Убирая посуду, она спросила:

— Просился в Ленинград? Не наездился еще?

Он перестал жевать, с удивлением взглянул на нее:

— Да и странно: сроду так не было, чтобы наши приборы испытывали без нас...

— Зачем тебе? Если надо — вызовут, Иван съездит. Тебе сейчас бежать нельзя.

— Странно,— Егор пожал плечами.— Ты говоришь почти дословно то, что говорил Роман. Между прочим, кроме Романа, никто не знал о моей просьбе.

Егор заметил, как шея жены, стоящей к нему спиной, покраснела, и краснота потерялась в выбившихся из-под косынки завитках подкрашенных черным волос. Черные волосы ей не шли.

— Любой тебе на заводе скажет то же и этими же словами. Не так еще заговорят, когда начнут осваивать современную продукцию и потеряют в заработке.

Но Егор уже не верил ее словам. Ему вспомнился взгляд Романа, каким он смотрел на Варю тогда, на партийном собрании. И, не давая себе отчета в том, к чему это может привести, он с опрометчивостью неудачливого разведчика спросил:

— Что у тебя было с Романом?

Он ждал, что жена обернется и самое малое даст ему по лицу, но она не обернулась, а он услышал спокойный вопрос:

— Когда?

— Когда? — он все еще не давал себе отчета в том, что происходило и грозило произойти из-за его глупого вопроса, который мог бы родиться давно, но не рождался, потому что Егор не хотел этого.— Ты знаешь когда

— Было давно, еще до тебя...

«У нас все были такие»,— вспомнил он и подумал отрешенно, будто это касалось вовсе не его: «Каждый получает свое. Один — раньше, другой — позже. Вот и я получил... Да... с Романом у нее, должно быть, не кончилось».

«Человек в беде ищет отвлекающие события и радуется, если находит их или события находят его», — подумал Егор, прочитав решение парткома о заводском смотре рационализации, руководить которым утвердили его, Канунникова. Егор обрадовался не только и не столько потому, что для него это близкое дело, но и как отвлекающее событие, которое искал он, но на этот раз оно само его нашло.

После разговора с женой прошла неделя. Пустота в душе не заполнялась ничем. И странно, он ведь знал, что прежнего чувства к жене давно нет, а теперь, после Нины, он и не хотел его, но пустота все равно не проходила. К ней, этой пустоте, должно быть, просто надо было привыкнуть, как привыкаешь к скошенному лугу, вчера еще пестрому от цветов и гудящему пчелами, привыкаешь, зная, что на нем отрастет лишь отава, а до будущего его цветения надо еще дожить.

Он мог бы воспользоваться ее откровенностью как предлогом для окончательного разрыва, но не воспользовался, зная, что это было бы нечестно. Что изменилось от ее откровенности? Да ничего. Разве мало бывает таких вот случаев в жизни? И какая разница, кто у нее был: Роман или кто-то другой. И все-таки лучше было бы, если бы это был не Роман. Как все меняется оттого, что был он. Столько лет прошли они вместе, и хотя не стали друзьями, но все же связывало их бесконечно многое. Они были разные характерами и целями жизни, но оба добились цели, в этом у них было общее. Правда, Роман директор завода, а Егор изобретатель, в своей отрасли широко известный... Егор ясно знал, что их связывало, а теперь чувствовал, что все это ушло, углубив пустоту в его душе. Через новую призму многие события его жизни виделись иначе, он не хотел этого, но что он мог поделать, если ложь прикрывает и приукрашивает, а правда все делает ясным и открытым и приносит больше боли, если она приходит поздно.

И его поездки по стране, и история с Неустроевым, и выдвижение Вари... Как не заставить себя думать об этом по-другому?

Сойкин вызвал Канунникова, чтобы сообщить ему о принятом заочно решении, которым Егора рекомендовали руководителем жюри заводского смотра рационализации. Сойкин ждал, что скажет Канунников на это решение. На партбюро Егора не пригласили, было заранее обгово-

рено, что поведет эту работу Неустроев. Но уже в ходе заседания директор изменил свое мнение и предложил утвердить Егора. А почему бы и нет? Неустроев пусть съездит в Ленинград, от греха подальше. Канунников теперь оседлый человек, а оседлость требует полной занятости. Посмеялись и утвердили Егора заочно. Егор ничего этого не знал, но от партийного поручения, конечно, не отказался. Почему он должен отказываться?

И не стоило обижаться на «забывчивость» секретарши, не известившей его. Егора тянуло рассказать Сойкину обо всем, что происходит с ним, хотелось услышать чье-то слово со стороны, ведь ни в чем человек не бывает так беспомощен и раним, как в личных своих делах, хотя он и знал, что никакой Сойкин, никакой друг не мог бы стать на его место полностью, потому что у каждого это бывает по-своему и люди могут руководствоваться в таких случаях лишь стандартами, с небольшими поправками, подходящими и неподходящими для всех, как популярные брошюры о любви и дружбе. И хотя Егор это знал, все же его тянуло с кем-то поговорить, на чьем-то отношении проверить себя, ведь спор с самим собой — это все равно что игра с самим собой в шахматы — не проиграешь и не выиграешь. И хотя ему непременно надо было поговорить с кем-то, Сойкину он ничего не сказал: было стыдно. А раз стыдно, значит, не верил в то, что тот поймет его.

Егор вернулся в пагоду. Иван сообщил, что его вызывал директор: какое-то срочное дело. Егор сел и, почувствовав, как загорелись щеки, закрыл лицо ладонями.

— Сходи ты, Иван,— сказал он, отнимая от лица руки.— Скажи, что я еще не вернулся от Сойкина. Что-то со мной плохо.— И почувствовал, что лицо постепенно холодеет: от него отливала кровь. Всякий раз, когда Егор мысленно представлял, как он встретится с Романом, он ощущал на щеках дыхание холода. Холод распространялся на все лицо, начинало ломить затылок.

— Но ведь там может быть технический вопрос? Инженерный?

— А что, ты не сможешь решить? — вдруг озлился Егор.

Иван пожал плечами, постоял раздумывая, Егор попросил его:

— Ладно, сходи еще раз к директору. Дай мне прийти в себя.

— Ну, приходи. Да,— протянул раздумчиво:— Вижу, командировки и на самом деле тебя попортили.

— Ничего ты не видишь, Иван. И учти: ты слишком прямолинейно судишь о людях. Этого у тебя никак не отнимешь.

— А я это и не отдам никому.

— Ты хочешь видеть человека в идеале, а человек-то...— Егор остановился, вспомнив, что Нина звала его не иначе как Человек и даже в письмах не называла его другим именем...— А человек-то,— и он подумал о Романе,— он разный.

— Разный, потому я и хочу его видеть в идеале. А чем же еще его измерять? Идеал — это и есть наш человеческий микрометр.

— Вот видишь, где твоя прямолинейность?

— Слушай, Егор, иди сам к Роману. Иди и доказывай, кто и что ты,— рассердился Иван, хотя сердиться он, как всегда, не умел.

— Не могу я видеть Романа, Иван, не могу, и все. Если встретимся с ним, худо будет и мне и ему.

— А ну тебя! — Летов махнул рукой и направился из мастерской. Он был недоволен. Ему надоело быть связным между директором завода и Канунниковым. Они ссорятся, а он за все отвечает.

Вернулся Иван довольный: оказалось, новые образцы приборов, сделанных на уровне мировых стандартов, требуют послать в Москву, ими заинтересовался Внешторг. Хотят направить на какую-то ярмарку за рубеж. Роман требует экземпляры головных образцов.

— А чему ты радуешься? — удивился Егор, хотя и сам понял, что ярмарка, если инструменты и на самом деле попадут на нее, может все повернуть: непременно будут заказы. А раз заказы, тут уж и в лепешку придется разбиться, а дать то, что требуется. Но Егор знал также, что новые образцы надо делать вручную. Иван успокоил его:

— Пошлем наши первые, наш максимум, те, что Роман забраковал в прошлом году. Они ему показались тогда слишком изящными, хотя прошли все, как говорят, инстанции и оказались патентночистые. Теперь ему некуда деваться, и он пошлет их.



— Иван, ты у кого хитрости учился?

— У Романа и у тебя. В твою лучшую пору, когда мы делали невероятные вещи и у нас была куча дипломов, медалей, как у наших хоккеев, и почти мировая слава.

— Неужто это было?

— Было и еще будет!

Окошечко «до востребования» — и здесь, в Новограде, оно стало неотъемлемой частицей его жизни и чем-то все еще напоминало о его бездомности, а может быть и утверждало ее, — было еще открыто. Ему подали письмо. Девушка подала его и опустила глаза. Она наверняка знала Егора. Но Егору было не до того. Письмо Нины он ждал, она писала редко и никогда почти ничего не сообщала ни о себе, ни о семье. Она как бы не решалась его вмешивать в свое, домашнее. А ему хотелось знать о ней больше, понять ее и через нее понять себя. Много в Нине, когда время уносило ее все дальше и дальше и как бы затушевывало ее живой облик, казалось ему непривычным и непонятным. Рассудок давил чувство. Чувства верили вслепую, рассудок требовал доказательств.

Нина писала из Харькова. Как она рвалась туда, и наконец там, снова работает.

«В Харькове утром все Павлово поле, напоминающее мне Мустамяз, было бело от первого снега, — читал он, торопливо пробегая по строчкам. — Мне даже жаль, что скоро прогреет солнце и растает снег, а как хочется поиграть в снежки с тобой, мой славный и далекий Человек... Я пойду по улицам города и буду думать, что Человек ходил по ним. И как славно, что Человек этот живет где-то на земле и будет жить вечно, как разум и любовь, сложившиеся вместе и создавшие самое прекрасное, о чем мы мечтаем, — совершенного Человека.

Пролетит месяц отпуска, месяц потрясающей своей трагичностью жизни и счастья исцеления людей, и снова уже родной мне Таллин засеребрится под крыльями самолета, и я снова буду там, где есть Мустамяз, улица Койдулы, и берег Раннамайза, и Старый Тоомас, и мои дети.

Я благодарна Человеку за его любовь, которая дала мне необыкновенную свободу. Хорошо себя чувствовать морем в берегах любви и верности».

Он шел и видел Харьков, его улицы и площади, скве-

ры в осеннем золоте листьев и не мог представить их в снегу. Он видел ее поликлинику с зимним садом, зал сеансов и десятка два глаз, с испугом и надеждой ждущих от нее чуда.

Письма Нины рвать нестерпимо больно, а хранить нелегко, и он запоминал их дословно и раскладывал в памяти одно рядом с другим, точно на полочках. Выходил на берег Шумши и бросал в воду. И всегда они вызывали в нем победу чувства над разумом, и в голове его рождались планы встречи с Ниной, планы окончательного устройства их жизни.

Он подошел к реке, Шумша была закована в синеватый панцирь льда, и только у берега родниковая вода съела его. Вода билась в узкой промоине живой, трепетной силой. Бросил листок в воду и постоял, пока бумага не намокла и не исчезла из виду. Поднявшись вверх по крутояру, Егор вышел на улицу и зашагал к заводу.

Иван еще корпел в мастерской, по шагам узнал Егора, но не оглянулся. Только светлый вихорок на макушке качнулся, как локатор, как бы подтверждая, что, мол, замечен и отмечен.

— Ты что, еще тут? — спросил Егор, проходя мимо и косясь на Иванов монтажный стол.

Иван осторожно отложил лупу, взглянул на Егора, надеясь, что тот сам ответит на свой праздный вопрос, не заставит говорить необязательное, но Егор уже шел к своему столу, и Летову пришлось отвечать:

— Стабильность показаний... Она ж не отработана. Всякое может быть. Не на выставку — на ярмарку. А там не только соглядатаи станут толочься, а и покупатели. А ты что?

Егор сел за свой стол.

— Письмо хочу написать.

— А я пойду все-таки. Женечка уже звонила.

— Иди, иди. — И как только за Иваном закрылась дверь, он принялся за письмо. Он не умел писать о чувствах. Он даже не пытался писать так, как писала Нина, письма его были деловыми, как и вся его жизнь, и только там, где он строил планы насчет встречи в недалеком или далеком будущем — он возьмет отпуск и поедет с Иринкой к ней, но это может быть не раньше каникул, только тут — в словах и в интонации письма — чувствовалось, как он хочет встречи, как тоскует и как беспокойно у него на душе.

С письмом в руке он вышел за проходную. Дул холодный, резкий ветер. Раскачивался и скрипел фонарь над заводскими воротами. Егор осторожно, будто расставаясь с чем-то непомерно дорогим, протолкнул письмо в прорезь почтового ящика, а когда отошел, услышал шаги и оглянулся. К нему подходил директор завода.

— Что полуночицаешь?

Голос Романа прозвучал резко, недовольно. Дураком он был бы, если бы не заметил, что Егор в последнее время уклоняется от встреч с ним.

Егор не ответил, молча пошел рядом. Все в нем пошло, подтянулось.

Рука чесалась дать Роману в морду, и он едва удержался от этого.

47

Егор получил это письмо от Нины уже после Нового года. В канун праздника на заводе шел «великий штурм Кенигсберга», и Егор весь день намеревался съездить на почту, но так и не сумел, а когда вырвался, окошко «до востребования» было уже прикрыто изнутри фанерным щитком.

Наверно, лучше, что письмо он получил именно сейчас. С Новым годом схлынула бы радость, принесенная Ниной, а сейчас она останется с ним на долгие дни, до следующего письма.

Письмо было с ним, он еще не выучил его и не утопил в какой-нибудь промоине на Шумше и, не дойдя до завода квартала два, остановился, вынул его из кармана, снова стал читать, слыша за каждым словом глубокий и низкий голос Нины.

«Посылаю Человеку вьюжную песню Сурового Моря. В зеленых иголках ели еще звучит мелодия песни, забытой на берегу, в белую ночь. Все здесь ждет, когда те двое вновь увидят седые звезды и подарят Моря тепло своих рук. «Любовь и мысль — вот радость и сила жизни». Ах, как тоскует по Человеку Суровое Море в эту Новогоднюю ночь, желая Человеку счастья».

И опять о себе и все и ничего. И опять она отдавала ему свои чувства и не включала в свою жизнь. И опять письмо ее, уместившееся на одной стороне со странным неновогодным и в то же время и новогодним рисунком —

лань среди сыпучих снегов Севера опустила голову, как будто ищет корм,— раскрывало ему всю ее, Нину, и не раскрыло ничего. И опять оно волновало его так, как ничто никогда не волновало. И опять новое, не встречавшееся ему сочетание слов: «Любовь и мысль — вот радость и сила жизни». Да, любовь и мысль, чувство и разум — разве это не счастье жизни, на самом деле? Разве это не радость? О чем она думала, когда писала эти слова, достойные стать девизом?

В конверте оказался еще один листок: копия ответа главного специалиста по психоневрологии Минздрава З. Свинцовой на письмо Нины. Егор пробежал строчку за строчкой. После всяческих оговорок сказанные, будто сквозь зубы, слова: «Нет оснований для отказа от психотерапевтических приемов, используемых доктором Казимирским...» Нина подчеркнула эти строчки. Карандаш ходил хлестко и нетерпеливо.

Какая все-таки победа — эти две короткие строчки, написанные через силу и тщательно, очень тщательно отредактированные — как бы не переборщить!

Дома его ждала телеграмма от Нины. Нина телеграфировала, что проездом скоро будет в Новограде. Едет провести несколько консультаций. Телеграмма снова была из Харькова.

— Что же, из-за Иринки она надрывается? — недоверчиво спросила Варя.

Егор подумал. Отступать было некуда и незачем. И он сказал просто, даже очень просто:

— Мы любим друг друга, Варя... Я просился в Ленинград, чтобы заехать к ней в Таллин. Я не могу без нее. И она, как видишь, тоже.

— Одумайся, у нас же дети!

— Не будем оскорблять друг друга. Зачем? Я ведь ничего не могу поделаться с собой. Как и ты...

— А что я? Что? В чем я перед тобой провинилась? Детей твоих вырастила.

— Детей я возьму себе...

— Детей? Вот этого не видел? — Она сунула ему в лицо кулак. — Ты, ты развалил семью... Говорила Роману не посылать тебя...

— Опомнись, зачем истерика? К сожалению, мне рассказали. Что у тебя было с ним на пароходе? Какая длинная у тебя с Романом ложь.

Варя покачнулась, оперлась на стол, медленно присе-

ла на табурет. Как-то так само собой получилось, что она села спиной к мужу.

— Ничего у меня с ним не было,— сказала она.— При Славке-то что могло быть? Вот языки!

— А без Славки было бы?

Она не отвечала долго, но когда заговорила, голос ее уже окреп:

— Что могло быть, за это не судят. А могло быть. Никуда не денешься. Первая у меня была любовь и первый мужчина. Думай как хочешь, я ведь тоже не каменная.

48

Роман давно не помнил такого дня...

С утра подул южный ветер, снег осел, с крыш потекло. Выпавший ночью снежок под колесами машин тотчас превратился в жидкую кашу, и пока Роман доехал до завода, машина раза два забуксовала. Уже у самой проходной шофер Юрка, не сбавив скорости, лихо, как это делал всегда, развернулся, машину занесло, и она чиркнула передней левой фарой о железные заводские ворота. Народ валил на работу, любопытные столпились вокруг директорской «Волги». Роман крикнул растерявшемуся Юрке, чтобы поскорее сматывался, экий цирк устроил, а сам хозяйственным двором прошел на завод.

В аппаратной уже стучал телетайп. Роман подумал, что рановато сегодня, поздоровался с донной Анной и скрылся в кабинете. Как всегда начал с просмотра отчета Вари о принятой ОТК продукции, возмутился высоким процентом возвращенных в цеха микрометров, индикаторов, штангенциркулей. Вызвал донну Анну. Та вошла с телетайпной лентой в руках. Роман, не подняв от сводок глаз, сухо попросил вызвать Канунникову. Донна Анна сообщила, что она задержится дома, поведет дочь к врачу, и положила перед Романом телетайпную ленту.

— Что еще там?

— От Алексеева.

Алексеев был заместителем министра и курировал Новоградский завод. Роман побаивался его.

— Погоди,— остановил он донну Анну, которая хотела выйти, и пробежал глазами телеграмму. Откинулся на

спинку стула, все еще не поднимая на секретаршу глаз, теперь уже по памяти повторил про себя телеграмму: «Указываю на неритмичную работу завода. Предупреждаю, что неритмичность лишает завод права участия во Всесоюзном соревновании. Примите срочные меры для исправления положения...» Да... тут не было ничего неожиданного. Но последняя фраза совсем обескуражила Романа. «В марте на коллегии министерства слушается наше сообщение о состоянии работ над проектом «7422». На заводе все знали, что так был закодирован «алмазный вариант».

Донна Анна, конечно, знала содержание телеграммы, могла представить, что по этому поводу думает сейчас Роман, но не догадывалась, как он отреагирует. Зря не захватила блокнот, Роман может продиктовать ответ министерству. Так бывало всегда. Но Роман на этот раз не вспомнил об ответе, а попросил вызвать Неустроева и пригласить Сойкина. И пока он ждал их, донна Анна принесла еще одну телеграмму. Она была от заместителя министра, который ведал капитальным строительством. От Романа требовалось в двухнедельный срок сообщить о возможности расширения завода, наличии поблизости свободных площадей для застройки.

Вошел Неустроев. На лице главного технолога скрытая, готовая взлететь улыбка, усики его чуть-чуть подергивались.

— Здравствуй, Роман Григорьевич. Как настроение?

Директор молча кивнул на телеграммы. Неустроев присел в «свое кресло», углубился в чтение.

— Да... — Неустроев отложил телеграммы. — Что ты думаешь, Роман Григорьевич?

— Я? А ты? Главный технолог, думающая голова?

— Вы у нас думающая...

— Тьфу, заладил! — взъелся директор. — Раньше пластинки были, их можно было лишь сменить, но не легко найти другую. Теперь магнитофонная лента, возьми сотри, сделай новую запись.

— Привык верить тебе...

— Я жду твое мнение!

Неустроев долго колебался, потом проговорил довольно решительно:

— Надо, Роман Григорьевич, пустить хотя бы один участок. Один! И министерство больше не пикнет.

— Да... Я-то считал тебя все-таки поумнее... Да разве не видишь, чем тут пахнет? Новые цеха! И для чего? Для «алмазного варианта». А ты думаешь иначе?

Для Сойкина телеграммы не были новостью. Вчера его вызвали в горком. Первому секретарю звонил министр, спрашивал о наличии площадки для новых цехов, фактически для нового завода. Он будет оборудован по последнему слову техники. Алмазы не только позволят увеличить выпуск продукции, но намного повысят точность обработки поверхностей, а стало быть, и классность инструментов. Только дураку это непонятно.

— А вот ему непонятно,— кивнул директор в сторону Неустроева.

— Ну, это на твоей совести. Но на бюро спросим с тебя, Неустроев, и с тебя, Роман Григорьевич.

Директор мрачно усмехнулся:

— Себя не забудь.

— Не беспокойся, себя не забуду. Мне еще придется кровью похаркать из-за того, что не заметил, как ты измелъчал.

— Ты давно подтачиваешь мой авторитет...

Сойкин хотел ответить с ходу, но стушевался.

— Да, пожалуй, ты прав. Когда я поддерживал твои незрелые решения, я подтачивал твой авторитет. Ты прав. Так что будем готовиться к бюро. На этот раз пусть будут у тебя, Роман Григорьевич, конкретные решения. Ты доложишь. А содокладчиком пусть будет... Канунников.

— Что же, тебе виднее...

Они расстались, недовольные друг другом.

Роману хотелось остаться одному, обдумать, чем это ему грозит, но сосредоточиться он не мог. Из-за проклятой дороги и неловкости шофера с утра были взвинчены нервы. А тут еще донна Анна. Не могла подождать, доложила о Канунниковой.

Варя прошла к «своему креслу», но не села, а остановилась, опустив руки.

Он хотел выговорить ей за то, что уж очень усердно бракует, не остаться бы рабочим без штанов, знал, что сталь некачественная, но пусть эту беду разделят с ним и другие, но язык не повернулся — вид у Вари был такой удрученный. Предчувствуя неприятность, спросил:

— Что?

— Я присяду?..

— Конечно, чего спрашиваешь. Что у врача?

Он видел, как у нее затряслись губы, как слезы потекли по щекам.

— Ну вот! Что с дочерью?

Она удержала всхлипывание, ладонью вытерла глаза, щеки.

— Плохо с ней? — Роман подошел, сел рядом. Что-то шемящее, давнее и близкое сдавило сердце.

— Чем я могу помочь, говори же наконец!

— Роман,— начала она, и голос ее сорвался.— Врач... это женщина из Таллина. Они любят друг друга...

— Кто, кого?

— Да они с Егором. Он рассказал мне. Она красивая и молодая... Если бы раньше, я бы знала, что с ней сделать. И с Егором... А теперь... Может, судьба? А? Роман!.. Разбудил ты во мне все прошлое... Он хочет, чтобы я оставила ему детей... Я бы оставила, если бы... А так нет, одна не останусь.

Он понял, о чем она. Сам подумывал об этом, но что-то все сдерживало его от решительного шага. Что? Он задумался. «Еще что-то осталось от любви к жене? Или просто ее жаль? А может, боюсь общественного мнения?» Он поймал ее взгляд, в нем была преданность и... унижение.

Зазвонил телефон, он встал, подошел, взял трубку. Говорил долго, не торопился. Варя сгорала от стыда: зачем, зачем выдала то, о чем сама-то боялась думать? Почувствовала себя бессильной против любви Егора и Нины? Уступает во многом сопернице? Чепуха! Это она-то уступает рыжей наглой бабе? Она проследила, как Роман закончил разговор, положил трубку и долго не оборачивался к ней. «Наверно, все вместе. И к тому же я еще трус, должно быть,— подумал он.— А как же Варя?» Ему хотелось оглянуться, но он не оглянулся. Потом опять поднял трубку, попросил Егора. «Так, значит, нет его...» — и долго держал трубку в руке.

— Хотел бы я с ним поговорить по-мужски, с глазу на глаз. Оставим для другого случая.— Он положил трубку.

Варя встала. Опустошающая тело и душу слабость охватила ее.

— Как же я поверила в твою искренность? Как же...



Она побежала к двери, он кричал, чтобы она осталась, но Варя будто и не слышала его.

Донна Анна тихо прикрыла дверь кабинета.

— Ох уж эта любовь. Бедный Егорушка... Почему это умным людям не везет с женами?

Ее тотчас вызвал Роман и просил пригласить Ивана Летова.

Из окна гостиницы «Россия» Новоград был виден как на ладони. Улицы, бегущие с холма на холм. Красные кирпичные дома старого купеческого города и серые высотки современной застройки внутри кварталов. И белый снег по крышам.

— А на Павловом поле, наверно, зеленеет травка. Помнишь Павлово поле?

Нина отошла от окна.

— Помню,— сказал Егор.

— Как я скучала по Таллину.

— И я часто мысленно прохожу теми улочками, которыми мы проходили.

— Колыбель нашей любви...

— И нашего счастья...

— Иллюзорно наше счастье, родной мой.

— Иллюзорно? — Егор подошел к ней, обнял. — Теперь, когда мы оба решились? Когда ты выстояла и нашла то, что тебе нужно для твоего дела, и когда я открылся, нам уже не о чем раздумывать.

— Да, но у тебя дети. Разве она отдаст их тебе? Я поняла, что не отдаст. Мы говорили с ней, как женщина с женщиной. И говорили довольно спокойно. Я осмотрела Ирину, буду ее лечить, когда ты привезешь ее в Таллин. Видела и твоего Славку. Разве ты можешь без них? Я ведь знаю тебя...

Они оба вздрогнули от неожиданного телефонного звонка. Нина взяла трубку.

— Тебя,— она подала ее Егору. — Странно, кто бы мог знать, что ты у меня?

Егор взял трубку, услышав голос донны Анны, не менее удивился, стал слушать, повторяя неопределенно: «Да, да...»

— Такое событие на заводе! Нина, такой сегодня для меня день! Телеграмма из министерства об «алмазном варианте» и о развитии завода. Вот и у нас на-

чинается научно-техническая революция, скоро заговорит и наш бастион.

Нина обняла его.

— Ну что ж, мой друг, с победой тебя! А я опять у разбитого корыта. Опять счастлива и несчастна. Счастлива, что достигла того, к чему стремилась, несчастна, что остаюсь одна.

— Нина, я буду с тобой!

— У тебя дела и дети...

— Дела есть везде.

— Но я знаю, ты не оставишь детей. Да, родной мой! Не стремись ко мне. Внуши себе, что я плохая, не стою твоей любви. Да, да... Найди во мне что-нибудь неприятное, и ты разлюбишь. Во мне ведь столько неприятного.

— Ты прекрасна! — Он стал целовать ее.

— Я верю тебе. Я много раз слышала это от тебя, хотя и запрещала тебе говорить.

— Никто не сможет запретить мне чувствовать, даже ты. Я ощущаю мир именно так, и никто из миллиардов людей не сможет в точности повторить мои ощущения. И чувства.

— Я их повторю. Я буду любить тебя как самое чистое и честное из того, с чем мне пришлось соприкасаться в жизни.

— Нина!

— Тебе пора на завод. Тебя ждет там твоя революция, которую ты честно отстоял. А меня ждет такси. Сейчас войдет коридорная и скажет об этом... И все кончится.

— Нет, это кончиться не может. Иначе к чему жить?

Нина вызвала Ирину на лечение в начале следующего года. С ней хотела ехать мать, но на заводе шел очередной штурм, и начальник ОТК не мог покинуть свое место хотя бы на день. Скрепя сердце отпустила Егора.

— Ты смотри у меня! Только из-за Иринки...

Егор пожал плечами.

У него было хорошее настроение. Все дни он думал о Таллине, и о Нине, и о дочери, с которой может произойти чудо. Он-то видел, как это бывает. Роман отпустил

Егора без слов. Донна Анна, обладающая каким-то невероятным нюхом, который ей помогал безошибочно ориентироваться в событиях, на этот раз была рада Егоровой поездке.

У Ирины было тоже хорошее настроение. Она то играла со Славкой, то напевала что-то и лишь временами забивалась куда-нибудь в потайное место и плакала.

Вечером Егор послал Нине телеграмму, сообщил о выезде.

Он еще не знал, да и знать не мог, что произойдет в то самое утро, когда он помашет рукой провожающим, оставшимся на Новоградском перроне — Славке, Варе, Ивану Летову и Эдгару, и что ждет его в Москве короткая и секущая по глазам, как вспышка молнии, телеграмма:

«Нина при смерти. Приезжайте. Мама».

#### 49

— Побрейтесь. Рубашка свежая есть с собой?

— Есть.

— Может, ванну примете?

— Ванну?

Егор никак бы не подумал, что сейчас можно принимать ванну, можно бриться, заботиться, чистая ли и глажена ли на нем рубашка. Но это говорила мать Нины, он не мог представить, чтобы она меньше его переживала случившееся. И он, готовый было взорваться, укорить ее, промолчал, провел ладонью по небритому, в колючей поросли лицу, потрогал воротник ковбойки и вспомнил, что в чемодане, как всегда, есть чистые рубашки, и обрадовался этому. В самом деле, ему показалось очень важным, что у него есть свежие рубашки и что ковбойка — это только для дороги. Ирину он оставил у тетушки Апо. Там он узнал адрес Нины. Тетушка Апо ничего не знала о беде и сильно заволновалась. Поминутно поднося к глазам платок, она вспоминала: «Жила Нина у меня недолго, с неделю, а подружился мы, скажи, что век сестрами прожили. Редкий человек...»

Егор заспешил на Мустамяэ. Он стеснялся, что идет туда неизвестно кем, не мужем и не просто другом, правда, подпись под телеграммой говорила о многом и разрешала многое. Да и беда — разве она не стирает непонимание или возможность непонимания?

Его встретила женщина лет шестидесяти пяти, и Егор сразу узнал в ней мать Нины.

— Вы мне послали телеграмму?— спросил он, поздоровавшись.

— Егор Иванович?— Мария Дормидонтовна представилась ему.— Да, я послала. Но не нашла другого адреса, кроме «до востребования».

— Я получил телеграмму в Москве. Но это все верно?

— Вы думаете, я могла бы этим шутить? Я вызвала Астафьева и Гуртового.

Егор почувствовал, как обнесло голову, он покачнулся и схватился за косяк. Если она вызвала их, значит...

— Дайте мне, пожалуйста, воды,— с трудом проговорил он.— В какой она больнице?

Мария Дормидонтовна взглянула на Егора, увидев его посеревшее лицо, крупные капли пота на лбу, заторопилась:

— Да что вы, Егор Иванович, садитесь,— придвинула ему стул, проворно скрылась на кухне и тотчас вынесла стакан воды. Егор выпил, не отрываясь, чувствуя, как с каждым глотком к нему приходит холодная трезвость, ощущение беды.

— Молодой вы, Егор Иванович, а сердце-то уже наджабили...

— Нет, нет, сердце ничего... Так в какой она больнице? Я тотчас должен пойти.

— Не пускают к ней, Егор Иванович, не пускают. И я боюсь, если вдруг пустят.

— Боятесь?

— Как же, как же, Егор Иванович. Пустят, когда уж без надежды. Или поправится. А она... Боюсь я.

Мария Дормидонтовна уткнулась лицом в ладони, отвернулась, и Егор увидел, как спина ее задрожала. Он, встав было со стула, подкошенно опустился на него, ужасаясь словом, выразившим со страшной простотой все противоречие бытия: он хочет увидеть человека, дороже которого нет на свете, но он увидит его только тогда, когда уже не будет никакой надежды.

Нет, он должен увидеть ее, когда еще есть надежда, иначе зачем ему видеть, если он ничем уже не сможет ей помочь.

— В какой она больнице? — снова спросил он, пора-

жаясь своей настойчивости и трезвости и в то же время отмечая вдруг возникшую неприязнь к Марии Дормидонтовне. Он не знал, верит она в жизнь Нины или не верит. Ему казалось, что не верит. «Когда уже без надежды»... — повторил он про себя ее слова, и сейчас они не показались ему приговором Нине, просто выражали смирение перед предстоящим.

— Она в Центральной больнице. Пойдемте вместе. Допуск с трех часов.

И опять это кольнуло Егора — как же она может так, если это касается Нины? Какой может быть регламент, если это касается ее?

— Я пойду сейчас, — сказал он и поднялся. Кружение прошло, но во всем теле чувствовалась усталость, словно он перенес тяжелую болезнь.

— Идите, — согласилась и даже чуть обрадовалась Мария Дормидонтовна. Она поняла его, угадала вдруг вспыхнувшую неприязнь к ней. Она и неприязни этой обрадовалась — значит, любовь живая, с корнями, а не как цветы в вазе, не минутная, а с будущим. И ей не хотелось добавлять, что в больнице строгости, раньше времени ни на секунду двери не откроют, здесь порядок любят. Внутреннее чувство подсказало ей, что, пока не пришел в себя, не надо ему перечить. А придет в себя — трезвее ее станет. И она сказала:

— Я сейчас.

— Эх, если бы она уехала в Харьков, ничего этого не случилось бы...

— В Харьков? С обменом квартиры не получается. Предлагают, да все не то.

Егор взглянул на часы: они показывали половину второго, до урочного часа не так уж и много. Но он не остановил Марию Дормидонтовну, пусть собирается, лучше они подождут там, чем сидеть ему здесь в квартире.

Из соседней комнаты, где переодевалась Мария Дормидонтовна, донесся ее голос:

— Газету вам не дала... Или вы уже все знаете? Пошарьте на столе, там все описано. На последнем месте. Происшествия. А могли бы и на первом пропечатать. Происшествие происшествию рознь. А они все под одну гребенку...

И опять это неприятно задело Егора: о чем думает, где поместить...

А из-за двери слышалось:

— Вора поймали, медведь на пасеку забрел, людей от смерти спасли — все происшествия...

Егор нашел газету, вот и та заметка, пробежал глазами, затем еще раз и представил, как это было в то утро, когда он и Ирина махали руками провожающим, стоя в дверях удаляющегося вагона.

Стекло сверкает на утреннем солнце лед. Кругом, насколько хватает глаз, бело. Только Пальясаар, как щетка, опрокинутая в снег вверх зеленой щетиной сосен, темнеет угрюмо и загадочно. Шумно, оживленно у берега. Раздаются команды. Звонко гудят под ветром белые треугольники парусов. Лица ярко одетых людей — преобладают красные, голубые, синие цвета — горят от мороза и возбуждения. И вдруг затихли голоса, раздалась команда, и, развертываясь веером, двинулись белые треугольники парусов, заскрежетали по льду стальные полозья буеров. Буера до странности походили на однокрылых птиц, устремивших свой подлет в глубь ледяного моря.

Крайний слева — это парус Нины. Она держит руль, темные очки изменили ее лицо. На ней голубая шапочка и голубой шарф, а свитер белый. Она любит голубое и белое. Егор это заметил сразу, там, на Раннамыйза. Звенит туго натянутый ветром парус. Мороз холодит щеки, буер подпрыгивает на неровностях, словно хочет взлететь, но, однокрылый, не может оторваться ото льда.

Никто не видел, как это случилось. Никто не знал, откуда взялся этот буер с двумя девчушками на борту. Он летел с моря, все время уходя влево. А там громоздилась глыбистыми ледяными берегами ледокольная стежка. Те двое не видели ее, они летели прямо на солнце, и свет слепил их. Нина увидела это и поняла, что ожидало их впереди. Треугольник ее паруса отделился от строя и пошел, все удаляясь и удаляясь, как птица, сбившаяся с пути.

Ах, как скрежетал на поворотах лед под сталью... Как напряженно гудел парус над головой...

Она должна была обогнать тех девчушек, и она обогнала их, упредила, упредила в последнее мгновение, когда сталь назвенела от торосы и треск тонкого льда, за ночь подернувшего разводье, и плеск воды, и крик оповестили о беде.

Над полыньей тяжело затрепетал парус, как белый флаг, сигнал о сдаче...

Егор зажмурил глаза — до того ясной была перед ним картина.

«Только не сдача, только не сдача! — подумал он в отчаянии. — Она не могла и не может сдаться. Прежде чем умереть, человек сдается. Нина — нет, она не может, не должна...»

Вышла Мария Дормидонтовна. Егор ожидал, что она будет в черном, но, увидев ее в красной, крупной ручной вязки кофте, которая так молодила ее, обрадовался. И только сейчас он увидел, как тяжело ей, как скрывает она это и как понимает все. И он застыдился, что еще недавно на нее сердился.

Она взглянула на газету и ни о чем не спросила, стала одеваться. Одевалась она не торопясь, будто хотела отдалить то, что ждало ее. Егор стоял в передней, ждал, уже одетый, в пальто с котиковым воротником и надвинутой на глаза, как он всегда носил, черной каракулевой шапке, сегодня лишь чуть больше надвинув ее.

— Где дети?

— Дети? — как бы спохватившись, переспросила мать. — Девочки в школе. Знаете, у нее Вера и Марена. Да еще Аскольд. Аскольда она отправила в зимний лагерь. Там учат фигурному катанию, а у мальчика оказалось желание, говорят, даже талант. Она любит его.

— А девочек?

— Ну, что вы спрашиваете? Разве может она не любить?

Егора пустили сразу же, и, провожая его в палату, Мария Дормидонтовна, не в силах стоять на ногах, сидела на стуле, держалась обеими руками за Егоров пиджак, как будто не хотела, боялась его отпустить, говорила прерывистым голосом:

— Я потом, потом пойду. Вы побудьте с ней. Она ждала. Больше всего вас. Ждала...

Медицинская сестра, вся в белом, как ей и полагается быть, с темными длинными волосами и безбровым свежим лицом, шла чуть впереди него. Они поднялись на второй этаж. В коридоре было бело от света ясного зимнего дня. Егору казалось, что он идет сквозь бесконечное холодное пространство, остро и колюче сияющее белизной.

Мертвый холодный блеск. В нем, чуть впереди Егора, двигалось тоже что-то белое, неживое. «Но почему оно

двигается, если неживое?» — подумал он и с трудом догадался, что это же сестра.

Странная логика: его беспрепятственно пустили к Нине, значит, надежд уже нет. Разве она не нуждалась в людях, когда еще были надежды? Тогда она оставалась одна...

«О чем я думаю? Как я могу об этом думать?»

Сестра подошла к двери. Он уже понял, что это та дверь. Невидимая черта уже отделяет Нину от мира. Но он тут же протестующе остановил себя: «Нет, нет. Этого не может быть,— и обругал себя.— Ах ты, жалкий риторик...»

Сестра открыла дверь. Егор перешагнул порог. Никакой черты он не ощутил, не увидел, не понял.

Кровать Нины стояла у окна. По обеим сторонам ее сидели две девочки. Если бы у обеих были белые волосы, Егор подумал бы, что у него двоится в глазах. Но у одной девочки, что сидела слева, были темные волосы, у другой — светлые. Значит, это обе живые девчушки, у него вовсе не двоится в глазах.

«А, это ее дочери или те, из-за которых...» — успел подумать он и тут увидел лицо Нины. Большие серые глаза, застигнутые врасплох, так и остались распахнутыми ему навстречу. В них за короткое мгновение отразились все переживания живого, живущего человека: и удивление, и неверие, и вера, и страх, и радость. Они жили!

Нина молча ждала, когда он подойдет к кровати, а когда он подошел, чуть приподняла от подушки голову. Простыня, прикрывающая до половины ее лицо, сползла, и Егор увидел ее темные искусанные губы, темный подбородок, обметанный лихорадкой. И все это в зеленке, обычной, какой мажут болячки у ребят-шек.

— Как они тебя измазали,— сказал он, возмущаясь, за короткие секунды, может быть, пережив почти то же, что пережила и она.

Он увидел, как она засмеялась, прикрывая рот рукой и охая от боли в губах. В руках ее была кукла, и она ее пестрым сарафанчиком прикрыла свой подбородок. Но вдруг лицо Нины сделалось серьезным, поискала глазами девочек, они теперь стояли рядом у нее в ногах, и глаза ее потеплели:

— Ну, девочки, спасибо вам за куклу. Я без вас буду играть. До свидания!



Когда они вышли, Нина, вздохнув, сказала:

— Новые мои дочери.— И к Егору:— Сядь.— Нина взяла его руку в свою. Рука у нее была сухая и горячая.

— Я вернулась сегодня ночью,— сказала она так спокойно и буднично, будто сообщила, что приехала с Раннамйза в город.— Я побывала там, знаешь, откуда не возвращаются. Молчи, я ведь понимаю это лучше тебя. Но я вернулась. Нептун все же отпустил меня... Он ревнует. Море должно быть подвластно ему, а я не подвластна. Вот и бесится старик...

— Нина, Морюшко мое!

— Молчи! Я знала, что ты приедешь, только мне хотелось, чтобы не опоздал. Теперь мне нечего бояться.

— Нина!

— Ты долго у меня пробудешь?

— Сколько тебе надо. Жаль, что еще не могу быть все время.

— Спасибо. Не думай об этом...

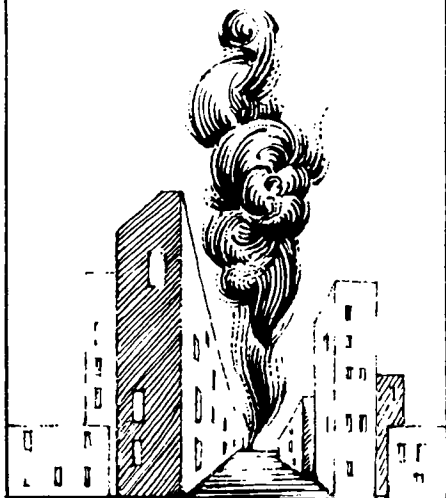
Разговор утомил ее. Серые, единственные для него в мире глаза устало прикрылись. Он встал и, пятась и не отрывая взгляда от лица ее, вышел из палаты.

В широком коридоре с большими оконными проемами по-прежнему бушевал белый свет ясного зимнего дня.



• П О Л Н О Л У Н И Е •

р а с с к а з ы





## ПОЛНОЛУНИЕ

### I

Рудометов шел по пустынному ночному городу, залитому лунным светом. Короткая густая тень бежала то впереди него, то сбоку, то вдруг пропадала, когда луну загораживали дома.

Рабочая куртка делала и без того низкую и широкую фигуру Рудометова еще более приземистой и плечистой. Скуластое лицо, освещенное луной, казалось бледным и было напряженно и сурово. Оказавшись в тени, оно становилось еще суровей, щеки проваливались, глаза, глубоко запрятанные под нависшим лбом, прятались, казалось, еще глубже и поблескивали, скрытно и остро.

Тяжелые ботинки стучали по асфальту, и стук этот гулко отдавался в ущельях пустых улиц.

За городом навстречу ударил резкий холодный ветер. Он сдувал с голой закованной земли пыль и бросал в лицо. Пыль скрипела на зубах, колола глаза.

В поле, где, чуть видные в лунном тумане, светились огни стройки, его ждал Середин. Но он ничем не мог помочь Середину. Ровным счетом ничем.

Тогда за каким чертом он тащится через весь город, а потом потащится через пустыри? Чтобы самому увидеть беспомощность, бестолковость своего друга и результат этого — аварию?

И надо же было случиться этому именно сегодня!

Судьба странно связала их — его, Середина и Наташу.

Лицо Рудометова, когда он подумал о Наташе, вдруг посветлело, будто с него слетела тень. Исчезла напряженность мускулов, и оно оживилось. Мягко и открыто блес-

нули глаза. Но это только на миг. Тотчас оно стало прежним — суровым, скрытным и напряженным.

В институте их троица была неразлучна. То ли поддавшись игре, когда скрываются чувства, а на поверхности остаются только условности, то ли в самом деле поверив, что у них всю жизнь все будет складываться неизменно вот так, чуть по-детски, Рудометов и Середин любили Наташу оба, сознаваясь друг другу в этом.

«Впрочем,— вспомнил Рудометов, сворачивая с дороги в сторону, чтобы напрямик направиться к стройке,— впрочем, об этом всегда охотно говорил только Середин... Да, да, только Середин...»

А Рудометов об этом молчал. Он умел скрывать свои чувства. К тому же он был горд и не мог позволить, чтобы люди говорили о нем, как об отвергнутом. Он ведь знал, что Наташа любит не его, а Середину. Это и правильно. Знал, что она будет душой, если предпочтет его Середину. Середин — интересный парень, красивый, удачливый, веселый. С таким легко прожить жизнь. Легко, весело и просто.

Временами Рудометову страстно хотелось быть на месте Середин, чтобы Наташа любила его, Рудометова, чтобы на него глядела с беспечной веселостью и детской преданностью, а не так отчужденно, тяжело и осуждающе, как она глядела на него, чтобы Наташа не говорила больше это глупое: «Я, мальчики, люблю вас обоих...» Он ведь знал, что так не бывает, и он не дурак, чтобы верить в это. Середин ведь тоже не верил. Он точно знал, что она любит его, а говорит так только для того, чтобы не обидеть этого молчаливого чудака Рудометова.

Рудометов, конечно, хотел быть самим собой, хотел, чтобы Наташа любила его такого, какой он есть, а не такого, как Середин. Но Рудометов был трезвый, без фантазий, парень и знал, что такого, какой он есть, Наташа не полюбит. Такого не за что любить.

Скоро он убедился, что был тысячу раз прав: Наташа и Середин получили направление на одну стройку. Случайность тут исключалась.

Ах, какой веселый и счастливый был Середин! С нескрываемым превосходством он как-то однажды взглянул на Рудометова. Всего один раз, но Рудометов запомнил это на всю жизнь.

Наташин взгляд он тоже запомнил. Она взглянула на него однажды с ненавистью. Всего один раз

взглянула, но Рудометов уже никогда не забудет.

А в остальном было все обычно: попрощались, разъехались...

Вскоре Рудометов узнал, что Середин назначен начальником управления, а его жена Наташа устроилась в плановом отделе, хотя Середину и не хотелось, чтобы она работала.

Рудометов же от большой должности отказался, ушел прорабом.

Вскоре он вроде бы забыл Наташу, и его любовь к ней временами казалась ему обидной.

Через три года, когда Рудометов уже работал начальником крупного монтажного управления на Урале, его навестил Середин. Он был все тем же неунывающим парнем, которому легко и просто жить, но Рудометову показалось, что Середин только хочет казаться таким.

— Возьмешь к себе? — спросил он неожиданно Рудометова, когда они бродили по огромной стройке и Середин про себя восхищался тем, как все тут налажено. Он-то понимал, что это такое. И пожаловался: — Не сложилось там у меня как-то.

Рудометов ни о чем не стал его расспрашивать, после молчания сказал:

— Пойдешь прорабом? Больше пока ничего нет.

По правде сказать, ему не хотелось, чтобы они трое снова были вместе. Как бы угадав его мысли, Середин сказал:

— Она пока не приедет... Не сложилось и с ней. Не любит она меня...

Рудометов и тут ни о чем не стал расспрашивать. Это его не касалось. Теперь уже не касалось. Вроде бы не задевало и Середин. Больше он не возвращался к разговору о Наташе, только спросил, невесело и вынужденно улыбаясь:

— Не долго продержишь в прорабах?

...Середин приехал вместе с Наташей. И тут Рудометов с ужасом понял, что старое не прошло, что Наташа для него все та же Наташа, что любовь, его любовь не рассыпалась прахом, а стала более постоянной и глубокой. Теперь он твердо знал, что не может без Наташи.

Но ведь она оставалась женой его друга...

Никто, конечно, не знал, что этот мрачноватый, молчаливый человек, которого нельзя ничем вывести из равновесия, переживает трагедию любви и ревности.

Наташа иногда заходила к Рудометову по делам. Рудометов бывал у них дома: Середин ташил его посидеть, посудачить. Наташа ни разу не заговаривала о прошлом, будто его вовсе и не было. И Рудометов был, как всегда, непроницаем и не знал, что она ненавидела его за эту каменную непроницаемость.

Вчера вечером, возвращаясь с работы, он встретил ее у подъезда управления.

— Иван! — воскликнула она обрадованно, как, бывало, говорила в те далекие и казавшиеся теперь неправдоподобными времена. — Идея! Пропадает билет. Сто лет не ходила в кино, и вот вырвалась, а не с кем. Составь компанию!

— Где же Середин? Какого дьявола он запустил культурно-массовую работу у себя в семье?

Сказал и увидел, как она сникла сразу, как просили пощады и помощи ее большие серые глаза.

«Не сложилось там у меня как-то», — вспомнил Рудометов слова Середина. Но с тех пор, как они приехали к нему на Урал, у них вроде все наладилось... Нет, не наладилось, видно.

— Ну что у вас там? — спросил он, как спрашивал своих коллег по работе о делах на объектах.

Она безнадежно махнула рукой:

— Так...

Долго шли молча. Он шагал, громко стуча своими тяжелыми ботинками по мостовой, сунув руки в карманы куртки, и боялся на нее взглянуть. Казалось, он еще никогда не чувствовал себя так мучительно беспомощным. Они шли, не замечая, что уходят в противоположную от кинотеатра сторону, туда, где в самом центре города темнел облетевший парк.

Когда вошли в парк, она заговорила:

— Скучно теперь здесь. Прислушайся, как копится тишина. Расползается, заполняет все. Слышишь?

Он молчал, с тревогой глядя на нее.

— Знаешь, тишина рождается в шелесте листопада. Пока лист на дереве — это движение, шум, жизнь. Как только он оторвался от ветки своей, так и началась вот эта тишина.

Он взял ее руку. Рука была холодная, жесткая.

— Что же ты без варежек?

— Кто знал, что такой северяк подует... Видишь, бронзовые мальчики на фонтане? Видишь, им тоже холодно. В тулупчики рядятся. В серебряные ледяные тулупчики. И ножки в ледяных чулочках. Бесстрашные ребята! — И добавила тоном Рудометова, разговаривающего с прорабами:— Какого дьявола не отключили воду? Не убрали на склад мальчиков?

Рудометов скованно улыбнулся. Он видел, что с Наташей происходило что-то странное. Никогда она не была такой. Расстроенная, она старается скрыть это. Значит, и она поняла, что не сложилось?

— Наташа...

— Да, Иван... Видишь, какое небо? Его будто вылили. Белое-белое... вымороженное... Вот такой бесцветной бывает у человека жизнь, если ее выстудят, выморзят.

— Наташа...

— Если бы умные люди умели не только думать, но и говорить, мир был бы более счастливым... К сожалению, умные чаще всего бывают молчунами, а глупые краснобаями. Первые остаются довольны собой, вторые — влюблены в себя, а окружающие люди проигрывают...

— Наташа, ты о чем? И что с тобой?

— Ах, Иван... Впрочем, ты не сердись, что я тебя называю так? Ну ладно, извини. Я начинаю плохо думать о людях. Знаешь, я ведь ушла от Середина.

— Ушла? Как ушла? — Поняв, что глупо задавать такие вопросы, Рудометов спросил:— Почему? Что это значит?

— Духовно я от него ушла давно. А может быть, и не приходила к нему вовсе. Это ведь правда, что я любила вас обоих. Глупо? А потом мне показалось, что я люблю только его. Нет, тебя я тоже любила, но не так, как Середина. Без него я не могла тогда прожить ни одного дня, а без тебя могла. Потому что умные всегда молчат, и людям поначалу кажется, что без них можно обойтись.

Они прошли парк и вышли к реке. Река мрачно и угрюмо чернела под обрывом.

— Он тебе не рассказывал, как его сняли? Нет? Завалялся корпус. Большой был цех. Отступили от проекта. Ну, люди пострадали, трое погибли.

Она помолчала, зябко поежилась, подняла воротник демисезонного пальто.



— С ним я уже не жила в то время. А потом вернулась. Совесть мучила, что оставила его одного. И вот затянулось это. А тут твое приглашение...

— Почему же ты его оставила сейчас?

— Бывает всему конец, Иван...

Она рассказала, что Середин упрашивал ее использовать все влияние на Рудометова — Иван ведь был в свое время без ума от нее — и добиться, чтобы он наконец вызволил Середина из прорабов и назначил хотя бы своим заместителем. Рудометову ничего не стоило это сделать. Но она отказалась.

Рудометов, слушая ее, пожалел, что не выдвинул его на другую работу. Но, может, правильно сделал, что не выдвинул? Не умеющий работать прорабом не может быть министром...

И проговорил совсем непонятно:

— Да... вот так... — Спросил: — Ты совсем замерзла? Пошли.

Она горько улыбнулась:

— Мне и пойти-то некуда. Завтра поможешь с общением? Извини, что прошу об этом...

### 3

Ночью Рудометова поднял с постели телефонный звонок. Осторожно, чтобы не разбудить Наташу — она спала на диване, — он вышел в коридор.

В телефонной трубке слышалось чье-то тяжелое дыхание. Прикрыв рот и трубку ладонью, сказал хрипло и недовольно:

— Слушаю...

— Я тебя разбудил, Иван... — не то спрашивая, не то просто подтверждая, что разбудил, проговорил голос в трубке, и Рудометов узнал Середина.

— Ну, что у тебя? — Голос Рудометова прозвучал мягче, в нем послышалась виноватость. Конечно, Середин разыскивал жену.

Но Середин сказал о другом.

— Погляди в окно. Прояснилось, просто беда.

Рудометов не сразу понял, о чем тот говорит, и подошел к окну.

Над городом сияла луна, необыкновенно большая, круглая, белая. Крыши домов холодно светились. Город,

залитый зеленоватым призрачным туманом, казался вымершим.

— Ну и что? — спросил Рудометов, вернувшись к телефону, все еще не совсем понимая, в чем дело и почему Середин не спрашивает о жене.

— Температура минус двадцать, а то и больше... — тихо проговорил Середин. — Северяк подул еще с вечера. Час от часу все холоднее.

— Ну и что? — все еще не понимал Рудометов. — Ты же докладывал, что система к зиме подготовлена.

Середин помолчал, сказал с трудом:

— Поспешил в тот раз доложить. Полкилометра трассы не закрыто. И водокачка первого подъема... Кто знал, что мороз нагрянет.

Рудометов вспомнил, как участок Середина спешил закончить трассу к Октябрьским праздникам и занял первое место в соревновании. А теперь вот полетели к чертям трубы. А что стало с водокачкой?

— Выхожу к тебе, — сказал Рудометов, хотя и представить не мог, зачем ему надо это делать.

Он вернулся в комнату, тихо взял костюм, нащупал на столе спички, пачку сигарет. Уже одетый постоял у дверей в коридоре, шагнул было к выходу, но раздумал, вернулся в комнату. Наташа спала, подложив под щеку ладонь, вся собралась в комочек, будто и во сне ей было холодно и одиноко. И ему на минуту показалось, что Наташа не первую эту ночь, а всегда спала на этом диване, вот так, свернувшись калачиком. Он вспомнил: вчера она легла, не раздеваясь, и долго не могла согреться. Он сварил ей кофе, и она пила его, что-то бессвязно рассказывая о далеких и милых институтских днях.

Потом она уснула, а он еще долго сидел над бумагами, устроившись на кухне. Изредка он вставал, открывал дверь в комнату и глядел, как она спала. На его мрачноватом лице затепливалась улыбка. Она гасла только тогда, когда он, уйдя на кухню, вновь углублялся в бумаги.

4

«Вот так ходят по жизни беда и радость, счастье и несчастье, удача и неудача. Из них сплетаются у человека дни, недели, годы, вся жизнь. И кто знает, что тебя ждет завтра», — думал Рудометов, шагая через поле и ясно

представляя, как подавлен сейчас Середин и какие неприятности ждут его впереди.

На трассе водопровода там и тут горели костры. Рудометов еще издали увидел светящуюся цепочку, которая от оврага бежала в гору, к стройке.

«Догадались костры разжечь, но это мертвому припарка»,— подумал Рудометов, вглядываясь в лунный туман над стройкой.

...Середин сидел на глинистом бугре, лицо его было закопчено, измазано сажей. Костры кое-где еще горели. Рудометов сразу уловил журчание воды по канаве и понял все. Он присел рядом с Серединым. Молча полез в карман за сигаретами, подал Середину. Тот, не глядя, взял. Молча закурили. Говорить было не о чем. Все, что произошло, оба отлично понимали. Понимали, чем это грозит стройке. Стройке и Середину.

Молча выкурили по сигарете.

— Не везет. Не знаю, почему мне не везет? — проговорил глухо Середин. Он, наверно, имел в виду не только вот это, но и Наташу. О Наташе он так ничего и не спросил. Не заговорил о ней и Рудометов.

Долго молчали.

— «Везет» и «не везет» — это мы делаем сами,— наконец заговорил Рудометов. Он еще хотел сказать, что Середину сильно мешает самовлюбленность и самоуверенность, но сдержался. И без того слишком много бед легло на Середину за одни эти сутки.

Из разорванных труб со свистом вырывалась вода и, успокоенная, говорливо, по-весеннему журчала в канаве, белый пар клубился над ней.

— Займемся делом,— сказал Рудометов, вставая.— Посмотрим водокачку. Надеюсь, ничего с ней не случилось.

...К утру, когда Рудометов вернулся домой, чуть потеплело и повалил снег.

Наташа еще спала, и он, стоя у окна, то и дело оглядываясь на нее и ждал, когда она проснется. Он хотел, чтобы она увидела, как заботливо рядит зима город в кокетливый белый мех, и в то же время ему жутко было подумать, что она узнает о Середине.

Вдруг за его спиной раздалось:

— Ты давно встал?

Он обернулся обрадованный: ему почудилось, что вот так у него было всегда, всю жизнь.

— Только что.

— Почему так светло? Смотри-ка, на стене видны пырышки. Штукатурили плохо гашеной известью.

Взглянула на него с тревогой:

— Ты чем-то взволнован? Я огорчила тебя, что осталась здесь? Понимаю, неловкость. Но вчера мне это не пришло в голову.

— Обойдется,— сказал он.

Наташа внимательно поглядела на него.

— От тебя пахнет гарью. И пылью. Ты уже был на объектах?

— Да,— сказал он.

— О, какос у нас старательное начальство. Вот не знала!

Он молчал. Наташа насторожилась:

— Что-то случилось?

— Да,— сказал он.

— На твоих объектах?

— Да.

— Авария?

— Ночью было минус двадцать пять.

Наташа села на диване, серьезная, озабоченная.

— И что?

— Порвало трубы. Повреждена водокачка.

Пока Наташа приводила себя в порядок, он стоял у окна и глядел, как на улице падал снег. Сухие снежинки, обгоняя друг друга, стремительно неслись к земле.

— Иван, это у Середина?

— У него,— ответил он, все еще продолжая глядеть в окно.— А какая ночь была сегодня! Полнолуние. Вся насквозь в зеленоватом прозрачном тумане. И вот такая штука. До сих пор не укладывается в сознании. Зажмурю глаза, и кажется, что все это приснилось.

Наташа сидела на диване, задумчивая и усталая.

— Что с ним будет теперь?

Он молча пожал плечами. Ему было бесконечно жаль Середина, но что он мог поделать? Ни ради нее, ни ради их дружбы, он ничего не мог поделать. Как инженер, как руководитель, как коммунист, наконец, Середин потерял в его глазах доверие, и он ничего уже не мог сделать для него, даже если бы очень хотел.

Они пили кофе за маленьким столом на кухне и молчали. Наташа думала о Середине, о том, как он опрометчив из-за своей глупой самоуверенности, о том, как нужда-

ется в помощи хорошего и настоящего друга, особенно сейчас. Она проклинала вчерашний день, когда ушла от него, сделав его еще более слабым перед всеми сложностями жизни. Предала его, думая только о себе.

Наташа с ненавистью взглянула на Рудометова. В эту минуту она ненавидела его за то, что он никогда не понимал, что творилось с ней, или понимал, но не хотел или не смел показать, что понимает. Рудометов встретился с ее жестким взглядом, и чашка кофе так и не поднялась к губам. Это был тот же взгляд, который когда-то он уже видел и не мог забыть до сих пор.

— Он должен сам уйти. Неужто ему и это надо подсказывать? — сказал Рудометов, вставая. Не взглянув на Наташу, стал одеваться. Ему от всего этого было неприятно, тяжело.

И ушел. Она слышала, как за дверью он остановился, пошуршал сигаретной коробкой, чиркнул спичку, и только тогда его шаги раздались на лестнице и замерли внизу. Она подошла к окну и увидела: он вышел из подъезда, остановился, посмотрел в сторону реки.

Наташа глядела ему вслед и думала, как он не может понять, что она любит его, а не Середина. Просто невозможно было сейчас стоять и глядеть, как он уходит. Она теперь знала, что любила его, и только его. Он ее не понял тогда, давно, и толкнул к Середину. И теперь он опять толкает ее к нему. Что ей оставалось? Снова возвращаться к Середину?

Она не хотела этого. Но разве не подло бросать человека в беде? Любого! А Середин — ее муж...

Наташа собиралась уходить, когда раздался телефонный звонок. Она бросилась к столу, схватила трубку. Рудометов! Он не мог не позвонить, не мог! Но не голос Рудометова услышала она в трубке, а шелестящее дыхание взволнованного человека. Конечно, это Середин. Дурная привычка почти касаться губами трубки и дышать в нее! Раньше это нравилось ей. Сейчас вызвало глухое раздражение.

— Иван? — раздался голос Середина.

— Рудометов на работе, — сказала она.

Молчание в трубке длилось долго. Потом Середин спросил:

— Ты у него? — В голосе его была враждебность.

— Да, как видишь. Мне негде было переночевать.

Она жалела Середина и в то же время ненавидела за

го, что он своей беспомощностью снова вынуждал ее возвращаться к нему. Глупое положение! Все глупо, мерзко, пошло. Встал бы он на ноги, и она рассталась бы с ним без колебаний. Но бить лежачего?..

— Не волнуйся,— вдруг сказал он.— Не переживай. Я прощу тебе это. Ты ведь пошла к нему ради меня? А у меня беда, опять беда...— Он говорил торопливо, захлебываясь.— Авария... Он не делился с тобой?

Вначале она не поняла, о чем он говорит, потом вдруг сразу до нее дошел смысл всего сказанного им. Кровь жаром обдала лицо. Рука, державшая трубку, задрожала. Бледными губами она с трудом выговорила:

— Ты... ты подонок, Середин. Какой же ты подонок...

Она упала на стол. Тело ее была крупная, неудержимая дрожь.

## ТИМОФЕЙ И ТОНЯ

### 1

Под старость у деда Григория поразительно развилось обоняние. Не успевала сноха внести в дом молоко, как он, чуть поведя ноздрями, говорил:

— Анна, молоко-то скисло.

— Да что вы, батя, продащица божилась, что утреннее. Когда ему тронуться?

— Чую, чую... Не вздумай в печь ставить — свернется.

Анна все-таки ставила молоко к загнетке. А потом, когда оно свертывалось, ругала старика:

— Накаркал-таки, ворон...

Дед Григорий изводил сноху придирками. Когда она возвращалась с рынка, он тотчас аттестовал ее покупки:

— Ты что же так, родимая, козлятины вместо барашка закупила? Кто у тебя будет хлебать такие духовитые щи? Ты мне лучше их не подноси, дай увольнение...

— Ходил бы сам, коли такой умный! — сердилась сноха.

Но дед уже пускался за глаза отчитывать тех, кто обманул несчастную вдову...

Мужа Анны, электротехника, убило током, когда он ремонтировал подстанцию. Семья жила без хозяина. Старик Григорий дряхл, какой от него толк, внук его Тимо-

фей лишь два года назад забросил школьный дневник, поставив точку на восьмом классе. Ему, пожалуй, больше всего и досаждал дед. Разногласия начались из-за сигарет. Еще в школе Тимофей нет-нет да и выкуривал сигарету за компанию с друзьями. Не то чтобы его тянуло — просто хотелось казаться взрослым. И едва Тимофей успевал переступить порог дома, как дед Григорий прицеплялся:

— Курил? Гляди у меня!

— Не курил я,— пробовал соврать Тимофей. Но деда не проведешь.

— Пахнет, как от паленой собаки... Не оманешь!

Тимофей поступил на работу в поселковую пекарню, возил со склада муку, ворочал тяжелые кули — силенка у парня не по годам, развозил печеный хлеб по магазинам и ларькам. Понятно, работа не ахти какая умственная, не о такой мечтал Тимофей, когда уроки в школе расплаляли его фантазию и он во сне и наяву бредил морем и невиданными странами, да и стыдно было в век реактивных самолетов, которые каждодневно пролетали над их поселком Ветрягино, ездить на сером мерине Сатурне. Другой работы, однако, не нашлось.

— Лошадь под твоим началом. Считаю, что руководитель,— смеялся старик. К тому же он любил запах муки и хлеба и с удовольствием встречал Тимофея после работы. Разговоры о табаке как-то сами собой поутихли.

Но однажды дед взъерепенился:

— Какими бабьими притирками несет от тебя, Тимофей?

Тимофей в тот день заменял запившего пекаря Августина, мастера по слойкам и булочкам с ванилью. За два года старик многому научил парня. И хотя весь день в закутке Августина было чадно и душно и у Тимофея от угара кружилась голова, это было все-таки лучше, чем ездить по поселку на Сатурне.

— Притирками? Да что вы, на самом деле, дедушка! — возмутился Тимофей. У него прорезался басок, и речь звучала по-мужски грубовато.

— Цыц! На деда голос подымаешь?

— Да не поднимаю я ничего! — возмутился Тимофей и выбежал на улицу. Было до слез обидно, что вместо приветов дед встретил его этими глупыми придирками. Мать выбежала вслед, позвала, успокаивая:

— Не сердись на него, Тимоша... Старый что малый. А у нас он хуже всякого малого.

Тимофею правилось заменять старого Августина. Еще бы! Вместе с глухой теткой Степанидой заводить тесто, разделявать его, ставить в печь. Он с немужской цепкостью запоминал рецепты, большие, неловкие на вид руки его с женской тщательностью укладывали слойки и булки на большие противни, густо лоснящиеся от масла, а потом, подрумяненные, приятно пахнущие жженым сахаром и топлеными сливками, бережно снимал и укладывал на широкие доски. После работы Тимофей любил теперь забегать в сельповскую булочную, где на сосновом прилавке грудкой лежали золотистые слойки. Он стоял и смотрел, как продавщица, высокая и медлительная тетя Клаша, отсчитывала слойки, потом забирала их по три в руку и бросала в сумки, кошелки, авоськи. Остывшие слойки почти теряли свой особенный аромат, но все равно в магазине стоял приятный запах хорошо пропеченного сдобного теста. И ничего не было бы плохого, если бы Тимофей подошел и сказал, что это он сегодня утром выпек слойки, что каждая из них побывала у него в руках. Но он не подходил и не говорил этого, он просто стоял и смотрел, и не испытанное еще чувство гордости за сделанное им вызывало на худом, с крепкими скулами лице парня застенчивую улыбку.

Домой возвращаться не хотелось. Как только Тимофей вспоминал деда Григория, так настроение портилось, и он готов был идти куда угодно, лишь бы не домой. Все чаще Тимофей задерживался в сельповской булочной, хотя он уже привык к тому, что люди уносили с собой его булки и слойки.

Выручало еще и кино. Он не пропускал ни одной картины и вечерами толкался в кинотеатре, недавно построенном на главной площади поселка по столичному проекту — с большими, без рамных переплетов, окнами, с дверями из толстеного стекла. Двери эти бесшумно открывались и закрывались, и Тимофею было всегда приятно входить в них. Кинотеатр стоял напротив булочной, жалкой и ветхой его соседки, и Тимофею из ее окна легко было наблюдать, как по понедельникам меняли афиши, а по субботам валом валили в кино посельчане, и стеклянные двери беспрестанно взмахивали своими прозрачными стрекозиными крыльями. В другие дни, даже в воскресенье, у кинотеатра больше толпилась лишь молодежь.



Сеанс скоро должен был начаться, и Тимофей вышел из булочной и направился через неширокую вытоптанную площадь.

У кассового окошка стояла девушка в легком кримпленовом пальто. Она заслоняла окошко и не собиралась уходить, а звонок все дребезжал и дребезжал, сзывая многочисленных зрителей. Тимофей рассердился:

— Вот сошлись две бабы... Считай, что базар!

Он где-то слышал, что две женщины — это уже базар, но ему хотелось быть взрослым, и он сказал — «бабы». «Кримплен» обернулась, и Тимофей увидел знакомое, чуть растерянное лицо и голубые глаза, которые он помнил всегда злыми и недоступными: Тоня, аккуратенькая, красивая Тоня, его одноклассница. Откуда она взялась? Он знал, что она уезжала в город сдавать в институт.

— Тима? Когда ты успел стать грубияном?

А Тимофей смотрел на нее, забыв и о кино, и о своей злости, и обо всем другом на свете. Злые, а может, и мстительные языки прозвали Тоню «божьей коровкой». Наверно, за то, что она была так аккуратно сложена, что ни убавить ни прибавить. В Тоню влюблялись все мальчишки класса, в том числе и он. Она же была влюблена в учителя физики и тем, кто заглядывался на нее, показывала язык, а записки рвала не читая. Тимофей, правда, не писал ей записок, но язык она ему показывала не раз, — значит, и он заглядывался.

— Ну ладно, не сердись, — сказал Тимофей примирительно. Он ведь считал себя взрослым, и что ему до прежних переживаний! — А то пошли в кино. Ну?

Тимофей взял ее под локоть и сам удивился своей смелости и естественности своих слов и поступков. И опять же его подхлестывало то, что он считал себя взрослым. Великое состояние души!

— Нет, — сказала она нетвердо, — неохота...

— Ладно, пусть к кассе... Два билета... — И к Тоне: — Пошли же, опоздаем.

Просто вот так, не думая, прилично это или нет, он схватил ее за руку, и они побежали через фойе к уже закрытым дверям в зал. Вбежали в темноту, спотыкаясь о сиденья, пристроились с краю.

— Ничего? — спросил он.

— Ничего,— сказала она.

— Может, пересядем? Свободных мест до чертиков...

— Сиди.

Тимофей затих. Почему-то не хватало воздуха, трудно стало дышать. Он то набирал его полную грудь, то с шумом выдыхал. Хотел заставить себя дышать ровно, зная, что Тоня все поймет и будет смеяться, но ничего поделать с собой не мог. В нем что-то расстроилось, когда он увидел Тоню.

Журналы Тимофей всегда любил смотреть: они рассказывали о разных странах и о тех местах, где ему так не терпелось побывать.

Показывали лов рыбы в Атлантике. Сейнеры, рефрижераторы, плавбазы. Тима узнавал их по силуэтам. Но особенно он любил силуэты военных кораблей. Они нравились ему какой-то сторожкой устремленностью вперед.

— Ну, ты не пробовал в мореходку? — спросила Тоня. В школе все знали о морских увлечениях Тимофея Прохорова.

— Куда теперь,— прошептал он.— Я работаю.

— Вот здорово! А я не представляю, как год буду коротать.

— Не сдала иль что?

— Не сдала. Стыдно было возвращаться. Три дня ревели.

— На чем засыпалась?

— На русском. Глупо, конечно.

Кто-то шикнул на них сзади, и они замолчали. Тимофей озлобился на шикуну; ему о многом хотелось спросить Тоню, злость мешала сосредоточиться, и он с трудом понимал то, что происходило на экране. Какие-то люди все время таскались с книгами, приходили домой, вспарывали корешки, что-то оттуда доставали. Ему было жалко книги, и он возненавидел этих людей, хотя еще не знал, что возненавидеть их можно куда сильнее — ведь они шпионы. Он пока их ненавидел как людей, портящих книги. Но и потом, когда узнал, что это шпионы, он почему-то не смог сильнее их возненавидеть — они были жалки и беспомощны. Зато он возненавидел вдовушку, которая влюбилась в шпиона и не смогла даже как следует с ним расправиться, узнав, кто он такой. Она готова была даже выпустить его. Хорошо, что чекисты оказались тут как тут.

Да, разведчиком Тимофеем тоже одно время хотел быть, советским, конечно, как Рихард Зорге. Но потом ему больше понравились атомщики, и он хотел стать атомщиком. Даже бороду мечтал отпустить. Это все, конечно, детство, а вот желание стать моряком было серьезным. Он прочитал все, что было в поселковой библиотеке о море, все обложки тетрадей изрисовал кораблями. Он донашивал ветхую тельняшку своего дяди, в шуме ветра ему чудился плеск морских волн, в осеннем косом дожде — запах и вкус соленых брызг и морских водорослей.

Но что поделаешь? После смерти отца погасло море и дождь потерял соленый вкус и йодистый морской запах.

— Ты где работаешь? — спросила Тоня, когда они вышли на улицу.

— Я? — Он как-то даже растерялся. — В пекарне...

Она вроде не удивилась, лишь как-то странно поглядела на него.

— А что делаешь? — спросила она.

Что он делает? Развозит хлеб на старом Сатурне. Таскает дрова к печам. А когда запивает пекарь Августин, печет булки и слойки.

Вот чем закончилась его мечта о морях и океанах, о штормах и штилях, о бризах и тайфунах. Но ведь он в этом не виноват.

— Разное, — ответил он, — когда что придется... Даже директором иногда бываю... Разное...

— Я не хочу, даже не представляю, что могу чем-то еще заниматься, кроме медицины. В мыслях я уже давно врач.

— «В мыслях!» — ненароком передразнил он ее. Ему показалось, что он намного старше ее и больше знает о жизни, хотя Тоня училась больше его на два года. Но все равно. И он сказал: — Эх, если бы люди делали то, что им хочется, ну, к чему они готовились... Все-все было бы для них иначе...

— Верно, — сказала она. — Я раньше этого не понимала. А теперь понимаю. Когда я вдруг подумала, что вообще не попаду в медицинский, то почувствовала, как все старое, что у меня было, вынимают из меня, а вставляют что-то другое, совсем не то, не мое. Представляешь?

— Привыкнешь, — утешил он. — А что делать? Кормиться ведь надо. Вот у меня...

Он думал рассказать ей и о болезненной матери, и чу-

даковатом деде Григории, но это походило бы на жалобу. Жаловаться Тимофей не хотел, и он ничего не сказал.

— Нет,— сказала она.— Другого мне не надо. Как-нибудь перебыюсь год, побегаю санитаркой и буду сидеть на русском. Ну почему я не могу писать без ошибок? Все-все знаю, а как стану писать, забываю. И зачем в медицинском писать сочинение?..

Зачем? Этого Тимофей тоже не знал.

Ему хотелось побродить по поселку, это немного оттянуло бы время его возвращения домой. Да и вечер был на редкость хорош: ветренный и влажный. По деревянным тротуарам, будто блики света по воде, скользили, гонимые ветром, опавшие березовые листья. Но Тоня отказалась.

— Стыдно,— бросила она.— Все знают, что я ездила в Пермь поступать в медицинский. И увидят. Нет, буду сидеть дома.

И пошла по звонкому дощатому тротуару, осторожно ступая, чтобы он не так сильно звенел.

«У каждого свои печали,— подумал Тимофей.— У меня — одно, у нее — другое...»

### 3

Пекарь Августин перед запоем бывал зол. Тимофей видел, как он не находил себе места, цеплялся по всякому пустяку, раздражался по всякой мелочи, гнал парня от печи: «Не маячь, и так тошно». В глазах его стояла невыносимая грусть.

Но вот Августин отлучался ненадолго и возвращался уже блаженно-умиротворенный, без невыносимой грусти в глазах и без денег, отпущенных старухой на обед. Вскоре тут же, за печкой, он ухитрялся, не замеченный никем, опорожнить еще одну четвертинку. Тимофей узнавал об этом по пустой посуде, спрятанной за чугунной батареей, да по окончательно осовелым, выпученным глазам Августина. Не надо было гадать, что назавтра Августин не выйдет на работу и ему, Тимофею, снова подфартит встать к печи.

Тимофей, понятно, не хотел зла старому Августину, не бегал для него за водкой — заведующая пекарней угрозила тотчас уволить, если заметит, но Тимофей и без этого предупреждения все равно не побежал бы, просто это ему было противно. И все-таки Тимофей, не признаваясь себе, ждал, когда в глазах у Августина появится не-

выносимая грусть со всеми заранее известными последствиями и когда можно будет самому встать к печи. Августин, наверно, догадывался об этом и потому перед самым началом «цикла» особенно ненавидел Тимофея и старался ему досадить.

Возвращался Августин через неделю, самое большое через десять дней, когда заканчивался его «цикл», — потухший и смятый какой-то. Обычно приходил он неожиданно, когда Тимофей его вовсе не ждал. Охота ли расставаться с печью, снова садиться на стыдную колымагу мощностью в одну лошадиную силу? А может быть, там давно уже не было и этой одной лошадиной силы — Сатурн выдыхался на глазах.

Когда Тимофей встретил Тоню в кинотеатре, у Августина была как раз середина «цикла».

С каким-то новым, странным чувством пришел Тимофей утром в малюсенький цех с двумя окнами, одной дверью и окошечком с лотком, которое вело наружу, — тут отпускатась «готовая продукция». Слова эти никак не подходили к булочкам и слойкам, и Тимофей не любил их произносить. От них веяло казенщиной. И еще была печь — много кубометров жаркого кирпича.

Никогда еще Тимофей не входил сюда с таким чувством, с каким вошел сегодня. Ему, кажется, впервые почувдилось, что он весь здесь, в этой маленькой пекаренке, что от белого горячего куба печи, стоящего на самой середине «цеха», от этих вот противней, от кулей с мукой, устало привалившихся к стенке, от пряно пахнущего сдобного теста зависит вся его жизнь, его судьба, если она бывает у человека.

И Тимофею подумалось, открыто и эгоистично, о том, что хорошо было бы, если бы старый Августин подольше не выходил на работу. Конечно, худо было думать так, но что он мог поделать, если ему и в самом деле хотелось быть тут хозяином, если ему хотелось радоваться, когда он видел в магазине, как тетя Клаша отсчитывает его булки, как их несут по улицам поселка, как потом подают к чаю, а ребяташки бегают с ними по улице и откусывают сразу по доброй половинке...

Тесто было готово. Тимофей широким ножом ловко отрезал клинышек, положил в рот. Он любил ощущать во рту сырую тягучую массу, которая поначалу прилипала к деснам, к нёбу, зубам, но вскоре как бы постепенно рассасывалась. Во рту еще долго таял сладковатый привкус,

в нос еще долго ударял запах масла, яичного желтка, специй.

Надев белый фартук и белую шапочку, которые придавали ему строгий докторский вид, Тимофей начал разделять тесто, вытягивать из него длинные податливые «вожжи», обсыпать их сахарной пудрой, скручивать, а потом отрезать. Куски теста пока еще мало походили на слойки, но он точно знал, что эти нескладные, бледные от муки и сахарной пудры комочки и есть настоящие слойки, которые он и сам любил, как лакомка. Он клал их на противни строгими рядами, а когда их накапливалось от края до края, обрызгивал маслом и ставил к печи. В печи к тому времени было уже жарко, раскаленное нутро требовало работы. И когда готовы были три противня, Тимофей, надев старые, залоснившиеся Августиныны рукавицы, открывал заслонку, сажал в печь один за другим тяжелые железные квадраты, записывал время.

Где-то в городах, он знал это точно, есть пекарни-булочные, в которых механизмы заводят тесто, разделяют его, сажают в печь и автоматически выталкивают обратно, когда булочки или слойки зарумянятся. Обо всем этом ему рассказывал старый Августин, который спал и во сне видел такие вот чудо-пекарни; ему непонятно было лишь одно, каким образом автоматы узнают о появлении румяной корочки. Это старику было недоступно.

«Тоня тоже ест мои булочки», — вдруг подумал Тимофей с каким-то неведомым еще озарением, и тотчас представил, как она приходит в булочную и тетя Клаша большими руками отсчитывает ей золотистые слойки и помогает сложить их в сумку. Тоня возьмет одну, понюхает и удивится ее необыкновенному аромату. Она понимает, что это за аромат и что на свете нет больше такого приятного и тонкого аромата, чем этот. И только дед Григорий воротит нос и ворчит, когда почувствует запах поджаристых булочек. Однако уплетает их и тогда не замечает ничего.

«Тоня ест мои булочки...»

Печь жарко пылала. Знойно белели раскаленные стенки ее нутра. Горячий воздух охватывал противни, но они стойко стояли, чернея и не поддаваясь. Тимофей физически ощутил, как горячо его слойкам и как они меняются сейчас каждую минуту, каждую секунду. Вот в эти секунды и минуты рождается та самая приятная

слойка, которую так любят в их поселке. Все любят. И Тоня любит. Он знает, что Тоня их любит. Ему даже вспомнилось, как она покупала их в школьном буфете. Правда, тогда были слойки старого Августина, но теперь это его слойки.

Опять стало грустно оттого, что у Августина скоро кончится его «цикл» и Тимофею снова придется запрягать Сатурна в колымагу...

Он не представлял, как теперь поедет по поселку. Он не сможет теперь поехать. Просто ему никак нельзя теперь ездить. Пусть старый Августин идет на пенсию. Тимофей научится сам выпекать всякие штуки, он всему научится. Неужели свет клином сошелся на Августине? Неужели старик незаменим? Смог же он, Тимофей, работать, когда у старика были свои «циклы». Сам. Один. Разве только иногда ему помогала глухая тетка Степанида.

Гудела печь. Тесная пекаренка наполнялась удушливыми запахами пряного горячего теста, масла, жженого сахара, ванили. Вчера получили ваниль, и Тимофей поколдовал и с ванилью. Запахи эти Тимофею нравились, они были вкусными, и их хотелось все время вдыхать. Как могли они не нравиться деду Григорию или еще кому-то? Уму непостижимо.

Правда, к концу дня Тимофей угорел и перестал различать запахи каждый в отдельности. Все они слились в один тяжелый, как крик отчаяния, запах старой пекарни, где о вентиляции никто не подумал и где думают только о том, чтобы побольше замесить, поставить в печь и вынуть из печи. Кружилась голова. Рубаха прилипла к спине Тимофея. Руки налились тяжестью. Но и кружение головы, и пот, и тяжесть в руках не угнетали парня. Он то и дело выбегал в пристройку, где стояло ведро с водой, зачерпывал полную кружку, выпивал крупными глотками и снова бежал к печи, караулил, чтобы вовремя вынуть противни.

К вечеру, к концу работы, он все больше думал о Тоне. Он не мог шагу ступить, чтобы не подумать о ней. Должен скоро увидеть ее...

В классе она сидела впереди него, и он все время глядел ей в затылок. Ее темно-русые волосы были уложены на прямой ряд и собирались в две косы. Он еще утром знал, какое у нее было настроение. Если она злилась, заплетая косы, значит, они были строгие, плотные. Если она

была добрая и не спешила, косы были в самый раз: с крупными витками, мягкие, и их хотелось потрогать. Если она спешила и не успела как следует их заплести, косы, точно взъерошенные ветром, пушились. И еще у нее была ямочка на худенькой шее. Когда утром солнце врывалось в окна класса сбоку, ямочка была заметна сильнее — в ней лежала тень. А после обеда солнце светило в спину, блики его скользили по черной доске и мешали различать написанное на ней, тогда ямочка на шее Тони затушевывалась, и что-то взрослое и кокетливое проступало в девочке.

И волосы у нее в разное время были разного цвета. То они были темные-темные, то светлые, как овес после заморозков, то в них просвечивала нежная-нежная медь. Никто и никогда, наверно, не видел этого, видел только он, Тимофей.

А как она вставала отвечать... Худенькая спина ее гибко распрямлялась, руки принимались одергивать платье, одна коса почему-то обязательно попадала на плечо, и легким встряхиванием головы она сбрасывала ее на спину.

Он начал замечать это в восьмом классе. До этого Тоня тоже сидела впереди него и делала, наверно, все так же, но только он почему-то не замечал и не помнил.

Временами ему казалось, что он знает всю ее жизнь, даже до того, как она пришла в их четвертый класс, удивительно тихая и прилежная.

И как только он заметил ее особенные волосы и ямочку на шее, он стал бояться с ней заговаривать, ему делалось неловко и даже страшно, когда он оставался с Тоней один.

Он завидовал Ромке Петухову, который писал Тоне записки и посылал их на виду у всего класса. На переменах они прогуливались по коридору, и это было в порядке вещей. Они вместе шли домой. Они, кажется, навек ссорились, днями не разговаривали друг с другом, но потом, глядишь, снова стояли и чему-то смеялись у окна, выходящего на главную улицу поселка. К тому времени Тоня уже разлюбила своего физика.

Ромку Петухова забрали ныне в армию. Интересно, пишет ли ему Тоня?

И когда Тимофей подумал о Ромке и о письмах, ему вдруг стало грустно, он словно жалел чего-то. Наверно,



он ревновал Тоню к Ромке и, наверно, считал себя несчастным из несчастных, который никогда не напишет ей ни одного письма.

Но ведь все же было просто тогда, в кинотеатре, так, как бывало, наверно, у Ромки. Он тогда ни о чем не думал, а просто обрадовался ей. Если бы он не видел, как она уходила по деревянному тротуару, боясь громко стучать своими каблучками, и если бы Тимофею не вспомнилось все старое, как он в первый раз ее заметил, то, может быть, он смело пошел бы и рассказал ей о том, что он весь день сегодня думал о ней.

Тимофей подошел к домику, где она жила со своей мамой, главным врачом поселковой больницы, и отцом, агрономом, каждое утро уезжающим на работу в совхоз. Дом был деревянный, новый, под шиферной крышей. Тимофей помнил, как его строили. В двух окошках за красивыми занавесками горел свет. Значит, отец еще не вернулся из совхоза. Когда он возвращался, загорались и два других окна. Тимофей достаточно знал распорядок жизни в этом доме, хотя ни разу и не переступал его порога. Сейчас вот была какая-то минута, когда он чуть было не открыл калитку, и открыл бы уже, если бы не остановил руку на какой-то миг. Но он задержался на этот миг, и рука уже не смогла отбросить крючок, запиравший калитку изнутри. И всегда этот миг мешал ему. Неужели у всех людей есть такой миг? Как же они его преодолевают?

Голова все еще немного побаливала от угара, когда он вернулся домой. Дед Григорий, празднично сидевший на диване, — он умел вот так сидеть, думая неизвестно о чем и ничего не делая, — сразу встрепенулся, зашмыгал носом.

— Духи? Ты что — девчонка, мажешься? — вспыхнул он. — Дышать нечем...

— Это не духи, — стараясь быть спокойным, ответил Тимофей. — Я пек сегодня булочки с ванилью. Вкуснота!

Дед недовольно забегал по комнате. Тимофей снял с вешалки его старый плащ, подал ему.

— Сходи, дедушка, подыши свежим воздухом...

— А, ты изгиляться над стариком!.. Ты изгиляться! Анна!

Но матери дома не было, и Тимофей чувствовал себя твердо:

— Дед, если ты еще скажешь что-нибудь насчет этого... Если скажешь...

Тимофей не договорил, что он сделает, если дед еще раз скажет. Просто он не знал, что тогда сделает

4

Утро началось с приятного. Заведующая пекарней сказала:

— Знаешь, Прохоров, булочек с ванилью заказали в два раза больше, чем вчера. Что будем делать?

— Сработаем,— ответил спокойно Тимофей, едва сдерживая острое чувство радости.

— Как же ты один-то?

— Сработаю,— снова сказал он.— Тетка Степанида поможет.

— Может, еще дать кого?

— Сработаю,— еще раз сказал Тимофей.— Пожалуй, на разделку теста еще поставьте кого-нибудь.

Заведующая постояла некоторое время, с недоверием поглядывая на парня, и, уходя к себе в кабинетик, сказала:

— Если что, заходи...— И подумала: «Как бы нам Августина на пенсию спровадить? Вот мастер вырос...»

Тимофей стал осматривать квашни. Во всех тесто было в самую пору, кроме одной, которую он заводил первой. Однако это не расстроило его: знал, что тесто дойдет, пока он разделяет другие квашни.

Тимофей пригоршнями брал тесто, бросал его на стол. Тесто не липло к рукам, как бывало раньше, не трескалось, когда он, разделив его на одинаковые кусочки, при давал ему вид булки. И удивительно, оно почти не опадало, и булочки шли на противнях в печь такие пузатенькие и красивые, точно уже побывали в самом пекле. Какими же они выйдут из печи?

И вот его маленький «цех» заполнялся удивительными запахами. Он как бы раздвинулся, и Тимофей уже не замечал ни прокопченных стен и потолка, ни железных прутьев на окнах — к чему они, так никто уже и не знал, — ни щелястой печи, которую надо бы давно ремонтировать. Ему виделось, что у него залитый светом необыкновенных ламп просторный цех, что стены и потолок сияют снежной белизной, что булочки с ванилью по конвейеру

идут и идут в мирно гудящую теплом камеру, скрываются в ней и скоро появляются с другой стороны уже готовые — подрумяненные, пышущие горячими ароматами. И тут их берут на свое попечение автоматы — дельные ребята: они опрыскивают булочки то золотистым яичным желтком, то маслом, а то и просто водой — когда как надо.

Да, может быть, когда-то будет в их поселке такая пекарня, построили же кинотеатр по столичному проекту. Но пока Тимофей продолжал руками брать тесто, разделять его, укладывать на противни, ставить на железные стеллажи в печь. Он не чувствовал ни усталости, ни боли в голове от густого чада. По лицу из-под белой докторской шапочки, порядком уже захватанной маслянистыми пальцами, текли струйки пота. И струйки эти, и холодящая спину прилипшая к ней мокрая рубашка были приятны ему. Один за другим опорожнялись противни, на деревянных решетчатых подносах росли груды золотистых булочек, сладко пахнущих ванилью. За стеной то и дело поскрипывали колеса колымаги, сердито всхрапывал Сатурн, которому, видать, надоело кружить по поселку. Ему, так и знай, хотелось подольше постоять под стеной пекарни, прикрывающей его от зябкого ветра, который, когда идешь от пекарни, почему-то обязательно дует в глаза и выбивает слезу. А за стеной пекарни тепло и безветренно, только вот крепкий запах хлеба напоминает о корме, и Сатурн старыми, стертými зубами начинает грызть кислотовато пахнущие твердые удила, и от размякших губ его начинают тянуться прозрачные нити вязкой слюны и дотягиваются до самой земли.

В этот день было много ездов. Тетка Марья, подменявшая Тимофея, сгоняла Сатурна даже на те улицы, которые он уже порядком подзабыл, так давно туда не сворачивал. И всякий раз, возвращаясь к пекарне, он надеялся постоять тут под стеной и ждал, что ему вот-вот вынесут в корзине помятые, искалеченные буханки, но нет, тетка Марья снова гнала его в какие-то неведомые закоулки, не раз заставляла мерить дорогу от пекарни до булочной. И лишь в его законное обеденное время ему вынесли корзину хлебных кусков, но он уже так сердился на Марью, что сразу мордой опрокинул корзину, и, лишь чуть успокоившись, стал подбирать с земли куски, все еще сердито прилепывая отвислыми толстыми губами.

На этот раз Тимофей уверенно открыл звякнувшую петлями калитку, как будто всю жизнь только и делал, что открывал ее, и зашагал по скрипучей шлаковой дорожке к дому. Красные, еще не опавшие листья дикого винограда свисали с крутой крыши крыльца, точно праздничные флаги. Желтые от свежей охры ступеньки были чистыми, на них не виднелось ни единого следа, будто дом стоял нежилой и это дожди и время вымыли крыльцо.

Не найдя кнопку звонка, он постучал в дверь. Она тотчас же открылась — ждали его, что ли?

— Тимофей? — В голосе Тони — удивление и радость. Да, радость, в этом он не мог ошибиться. — Как здорово, что это ты! Умираю со скуки... Проходи...

Маленькая, аккуратная и красивая, она будто специально родилась для этого небольшого и аккуратного дома и была в нем такой своей, незаменимой, что Тимофей даже подумал, что дом делали только для нее.

Они прошли узким коридорчиком, вошли в прихожую, в меру просторную. Тут стоял белый холодильник «Саратов», будто сделанный только для Тони. Они открыли не узкую и не широкую, а такую, что в самый раз, дверь и очутились в комнате, такой, которая все, что нужно, вмещала, не оставляя лишнего пустого места и не создавая тесноты.

В комнате было одно окно. Тимофей сразу понял, что выходило оно вовсе не на дорогу, как он думал, и что раньше он зря торчал под теми двумя окнами и мечтал увидеть Тоню — те окна были в комнате Тонинной мамы. Ему стало немножко смешно. Тут еще стоял столик с одной тумбочкой, кушетка с ореховой спинкой, низенький платяной шкаф. Все было похоже на Тоню, и Тоня была похожа на все, что тут было.

Заметив, как он все разглядывает, Тоня спросила:

— Нравится у меня? Ты не бывал?

— Не бывал, — сказал он и подумал, что, оказывается, здесь можно бывать. — И мне очень нравится. Все какое-то твое. Наверно, не хочется с этим расставаться?

— Не хочется?.. — Ее маленькое красивое личико помрачнело. — Если бы сказали: подожги дом, тогда примем в институт, подожгла бы, не ахнула.

— Тоже скажешь...

— Подождла бы! И не ахнула, — повторила она, наверно, уже не раз повторяемое.

«И подожгла бы», — подумал он. И спросил:

— Что ты теперь делаешь?

— Ничего... От злости зубрю русский. Пишу контрольные... Видишь, сколько бумаги испортила. — Она подняла и опустила над столом пачку листов. Листки рассыпались по столу, но ни один не слетел на пол. Наверно, она уже не раз показывала это кому-нибудь. — Раз задумала, не изменю своему любимому делу. Только одержимость приведет к цели.

— Где вычитала? — спросил он. Удивительно, как свободно он чувствовал себя тут: ходил по комнатушке, рассматривал все и чувствовал даже превосходство над Тоней, хотя у него ничего этого не было: ни своей комнаты, которая родилась бы вместе с ним, ни его упорства в достижении своей когда-то единственной мечты о море.

— А что, своего ума, что ли, нет? Я много думала о жизни, когда это со мной случилось. И сейчас все время думаю... Ну почему, почему, скажи мне, так получается? Я вот до смерти хочу стать врачом, и не потому, что у меня мама врач, а потому, что это мне нравится. Без этого я не могу жить. И я не попала в институт и буду год терзаться, а может, и вообще не попаду никогда, потому что я уже боюсь каждой буквы, каждого слова, когда пишу.

— Ну что ты, и ничего нет трудного...

— Ладно, погоди... Я не попаду, хотя верю — из меня получится бы врач. Настоящий! Я ведь с мамой иногда поддежуривала. Никто и не подумал, что я не медик: болезни знаю, лекарства. И мама говорит — умею с больными обходиться. А попадет в мой институт тот, кому все равно куда попадать, но он не боится русского языка, и только в этом его преимущество. И будет врачом, всю жизнь будет, хотя никогда не мечтал быть им и мог бы преспокойно обойтись без кабинета, который как храм, без белого халата, без красного креста, символа милосердия и любви к человеку.

— А что делать? Вот у меня...

— Что делать? Не смиряться! А ты смирился.

— А как мне быть? Тебе хорошо, ты можешь ждать хоть десять лет, а я не могу. Сама знаешь... — Он подумал, что, так же как и она, считает себя обойденным.

— А я разве не понимаю тебя? Еще как понимаю! Но почему у нас так получается? Почему не знают, не понимают и не хотят знать и понимать, что я очень хочу, чего

ты очень хочешь? Ну почему? Разве нельзя сделать так, чтобы понимали?

Он пожал плечами. Он этого не знал. Почему он все-таки не попытался этого узнать? Смирился со своей участью? А если ему нравится то, что он делает? Разве не может быть так? Разве плохо, что он печет булки и они по душе пришлись всему поселку?

— А если человеку нравится другое? Не то, о чем он мечтал...— сказал он, стараясь найти для себя правильный ответ.

— Другое? — возмутилась Тоня. — Значит, он предал свою мечту. Значит, он тряпка, потому что не выдержал.

— Легко судишь...

— Легко? А ты...

Тоня нахохлилась, как курочка на ветру, на лице ее были решимость и безусловная ясность мысли. Но она не успела сказать все, что хотела. Открылась дверь, и голос матери спросил:

— Ты не одна?

— Не одна, — ответила дочь, сердясь, что ей не дали досказать. — Это Тимофей Прохоров. Помнишь, я тебе говорила? Учились вместе.

— Тоже не поступил?

— Нет, он не подавал. Он после восьмого ушел из школы.

Тимофей отметил, что между матерью и дочерью много общего: и в лице, и в глазах, и в покатых плечах, и даже в интонациях голоса. Только мать была покрупнее и все в ней было резче.

— И что же вы делаете? — спросила Тонина мать, обращаясь к нему.

Тимофей видел, что она утомлена, что ей ничего не интересно и что спросила она просто так, чтобы не показаться невежливой.

— Он работает в пекарне, — сказала вместо него Тоня, сказала так, будто хотела уколоть его.

— Кажется, у молодого человека есть свой язык? «Ого, — подумал он. — Тоню держат в руках...»

— И что же вы делаете? — спросила мать. На этот раз в голосе ее прозвучал не поддельный, а настоящий интерес.

— Разное, — смущаясь, ответил Тимофей и подумал о старом Августине, и о Сатурне, и о колымаге. — Дед

Григорий говорит, что я руководящий товарищ, раз есть у меня в подчинении лошадь и телега,— ответил Тимофей. Он не соврал: ему противно было лгать, но как он скажет правду?

Мать и дочь засмеялись. Тоня одобрительно кивнула ему, подбадривая еще на какую-нибудь шутку. Но ему было не до шуток.

— Пойдемте пить чай,— сказала мать, и к дочери:— Наш «сам себе агроном» еще не явился?

Дочь приподняла покатые плечи, мол, видишь, чего спрашивать.

Накрывая на стол, Тонина мать говорила:

— А вот мы сейчас попробуем булочки с ванилью. В последнее время кое-что стало появляться. Приятно.— И она поставила на стол плетеную из словых корней хлебницу, на которой золотистой горкой возвышались булочки.

Тимофей выпек их сегодня утром. Он не мог не вспомнить, когда именно доставал их из печи. Он немного их передержал, и булочки сильнее обычного пахли пригоревшей корочкой.

— Под вашим руководством? — улыбаясь, спросила Тонина мать.

Он не ответил. Он все глядел на свои булочки.

Вместо ответа сказал:

— Это что... с ванилью. Было бы все под руками... И дорожные булочки можно выпекать. И венгерские ватрушки с творогом.

— Глядите-ка! — подняла брови мать.

А Тоня посмотрела на него смеющимися глазами: ждала новой шутки. Она никак не могла понять, что Тимофей не сказал ни одного шутливого слова. Все было сказано всерьез. А он, конечно, не мог себе и представить, что все, что он говорит, казалось ей смешной, глупой неправдой. Откуда Тимофею знать все это? И зачем это знать? Просто смешно думать о каких-то ватрушках с творогом.

За столом в маленькой комнатке, где кроме стола был лишь буфет с посудой да телевизор в углу, было чисто, светло и уютно и также ничего лишнего. Тимофея начала донимать предательская робость. Ему неловко было сесть за стол; и Тонина мать принялась его упрашивать, и только тогда он сел.

Мать принесла и поставила на стол огромный семей-

ный термос, похожий на самовар, с той лишь разницей, что у него не было краника и к тому же он был расписан до последнего квадратного сантиметра. Чай был горяч, но пах намокшей пробкой. Тимофей, отпивая, наблюдал, как Тонина мать аппетитно ела булочки, но сам не мог их взять в рот.

Он не знал, почему не мог их взять в рот — то ли потому, что днем наелся их досыта, то ли потому, что здесь, на людях, да еще при Тоне, булочки эти были для него больше, чем только булочки. И Тоня тоже не ела. Мать обратила на это внимание.

— Я днем штук десять уплела. С молоком,— сказала она, намазывая сыром «Дружба» кусок городской булки.— Теперь и запах неприятен.

— Ты всегда так...— вздохнула мать.

Они пили чай, и мать рассказывала о происшествиях в больнице. Парень сбежал из палаты — к кому-то приревновал жену. Пришлось посылать машину и обратно водворять его в больницу. Была трудная операция, и мать и дочь заговорили о ней, употребляя непонятные Тимофею латинские слова, и обе на минуту притихли, загрустили вроде.

Тимофей слушал рассказы нетерпеливо, ему хотелось скорее закончить чаепитие и остаться с Тоней вдвоем, но мать все рассказывала и рассказывала, пока насупившаяся и рассердившаяся Тоня не остановила ее:

— Мам, ты вроде дразнишь меня...

Мать остановилась, посмотрела на нее, как бы ничего не понимая, сказала:

— Что ты, глупая? — И к Тимофею: — У вас была своя мечта, Тимофей, ну кем вы хотели стать?

Тоня тотчас оживилась, ответила за него:

— А как же, мама... Тимофей хотел стать моряком. У него даже пароль был: «Пароход, вода, море...» Вроде девиза жизни... Был ведь?

— Ну, все мальчишки хотели стать моряками,— сказала мать,— кто читал Жюль Верна. Но это проходит, когда наступает взрослость. Жизнь заманчивее приключений. А кто начитался «Записок» Вересаева,— она взглянула на дочь,— тот и взрослым его не забудет...— И опять к Тимофею: — А вам нравится в пекарне?

— А разве ты не видишь, мама?— снова ответила за него Тоня.— Не видишь, что он глаз не сводит с булочек, выпеченных под его руководством?



— Мне нравится в пекарне,— сказал Тимофей,— но о море я тоже думаю. Море — это мечта, а пекарня — это жизнь. Вы правильно сказали.— Он глядел на Тонину мать, будто это была учительница и он отвечал ей урок.

— Разумно! — сказала Тонина мать.— Разумно.

Тоня встала из-за стола и выбежала из столовой. Тимофей молча посидел минуту-другую, чувствуя себя виноватым перед девушкой, смущенно поблагодарил хозяйку и поднялся из-за стола. Он застал Тоню у окошка в ее комнате. Темный силуэт размыто рисовался на светящемся еще окне.

— Ты обиделась на меня?

— Что ты!

— Пойдем погуляем... Будет тебе одной-то!

Тимофей стоял и ждал, она сидела не шевелясь, маленькая, одинокая. Ему так хотелось, чтобы она пошла с ним побродить, чтобы он побыл с ней хотя бы совсем-совсем немного, и он, может быть, сказал бы ей то, что собирался сказать все то время, пока знал и любил ее, но так и не сказал из-за своей робости и из-за Ромки Петухова.

Темный силуэт шевельнулся. Тоня повернулась к нему, и он увидел, как в темноте блеснули ее глаза.

— Тимофей, я не могу предать свою мечту. Не могу! — В голосе слышались отчаяние и слезы.

— Ладно,— сказал он,— не предавай. Ты не можешь предать. Никогда.

Он, конечно, думал не так, а сказал это, чтобы поддержать, успокоить ее. Он был уже чуть опытнее ее. Он уже знал о жизни то, чего она еще не знала. В то время, пока она заканчивала школу, а потом ездила сдавать, он уже работал. Он уже знал, что в жизни не так все просто, как она думает, не все так просто, как хотелось бы. Он уже знал, что жизнь бывает несправедлива, но что она может быть и ласкова, и добра, и приносить удачу и радость. Вот, например, сегодня. Какой счастливый день!..

И он услышал ее решительное:

— Никогда! Никогда не предавать мечту!

Она встала и начала шарить в темноте. Включила свет и беспомощно зажмурилась.

— Пошли, я тебя провожу,— сказала она, и он почувствовал, как качнулся от неожиданного головокружения.

Они шли по звонким в ночи деревянным тротуарам, по мягкой шелестящей листве, опавшей с берез прямо на дорогу. Мимо школы, больницы и отделения милиции. Они о чем-то говорили, но разговор был столь незначителен в сравнении с внутренней приподнятостью, которая владела Тимофеем, что он, пожалуй, не вспомнил бы ни единого слова.

Если бы они гуляли всю ночь, он не заметил бы времени. Если бы они ушли из поселка и направились бы по любой из четырех дорог, уходящих в разные четыре стороны, он не заметил бы и этого. И когда Тоня сказала, что пора домой и что они лучше завтра подольше побродят — она оденется потеплее, — он не понял ее, и только потом, вернувшись домой, он заново воспринял ее слова: «Лучше завтра подольше...» Значит, завтра они снова будут вместе, и он скажет ей все, что хотел сказать годы.

## 5

Старый Августин уже хлопотал у печи. Красные отсветы огня плясали на его худом лице. Выпученные и мокрые глаза сверкали. Тощий, необыкновенно поворотливый, после затяжного «цикла» он испытывал неудержимую жажду деятельности.

Тимофей стоял и смотрел, как носится Августин по пекарне, как в нездоровом нервном порыве дрожат его руки, как мелко и суетливо двигаются лопатки под серой рубахой, как топорщатся жидкие волосенки на узком его черепе, и чувство обреченности, непоправимости овладевало им все сильнее, сильнее. Августин отнимал у него то, что очень нужно было ему именно сейчас, именно сегодня и никогда не нужно было так, как сейчас, как сегодня.

Умеющий все делать сам, и, может быть, не хуже, чем старый Августин, Тимофей должен был сейчас спросить, за что ему взяться, но язык, сухой и горький, будто присох к небу и не двигался. Между тем Августин как бы не замечал его, носился по пекарне, бессильный утолить жажду деятельности.

Тимофей в эту минуту ненавидел старика, хотя трезво понимал, что это нечестно, непорядочно. Старый Августин был его наставником, дал ему профессию, научил чувствовать и понимать тесто, придавать ему нужный вкус

и запах, превращать в чудесную булку, в хлеб, дорожке которого нет ничего на свете.

— Смажь противни, не видишь, что не управляюсь?

Выпученные мокрые глаза старика ненавидяще уставились на него.

Старый Августин не понимал, что Тимофей уже не тот, каким пришел к нему в подручные, что стал на два года старше, что самостоятельная работа, пусть вот такая короткая, открыла ему себя, сделала другим. Не понимал старик и того, что к парню в семнадцать лет может прийти любовь, а с ней и гордость, и сознание своей полноценности. Ничто так не поднимает человека, как любовь. Но Августин ничего этого не понимал. Он, наверно, уже не помнил, каким сам был в семнадцать лет. И были ли они у него, те далекие семнадцать?

И когда первая партия булочек была готова, Августин спросил:

— Ты что, забыл свои обязанности? Иди запрягай Сатурна...

Тимофей любил животных. В свое время он любил и Сатурна. Ему казалось, что Сатурн понимает все, как человек, с ним можно беседовать, как с другом. Сатурн был для парня самым красивым меринком на свете. Но сейчас он не мог смотреть на него. Тимофей будто только теперь увидел, как стар, нескладен и медлителен Сатурн, как у него слезятся тусклые глаза, по-стариковски висит неопрятная губа, с которой бесстыдно тянется ниточка слюны.

— Ну ты, шевелись! — Тимофей сердито дернул за повод медлительного конягу. — Провалился бы ты!..

Сатурн покорно поплелся за ним, ничего не понимая, как и старый Августин.

Этой ночью мороз заковал землю. Редкие белые мухи с утра кружились в воздухе. Телега неистово гремела по стылým комьям земли.

Тимофею казалось, что все смотрят на него, все показывают пальцем: «Вот он, вот он, вот...»

Неистово гремят колеса. Фанерный ящик, набитый булочками, глухо гудит. Такой гром, будто паровоз, сошедший с рельсов, прет по поселку. На ненаезженных еще, матово белеющих улицах оставались две четкие тоненькие ниточки колесного следа.

Приторно пахло ванилью. Будто весь морозный воздух, которому полагалось быть чистым и отдавать запахом снега, был насквозь пропитан сладеньким душиком сохнувшего незнакомого растения. Как это людям нравится такой запах? Прав дед Григорий...

Сатурн медленно переставлял ноги, низко опустив большую нескладную голову. Некованные копыта неуверенно искали себе опору, оскальзывались. Раздувшиеся коленные суставы дрожали от напряжения.

Тимофей не думал, что это может случиться. По молодости лет он еще не научился предугадывать события и искать из них выхода. Он просто закрывал на них глаза.

Закрыв глаза он и на возможность встречи с Тоней на улице. Подсознательно боялся этой встречи, в то же время не зная, как выйти из положения, которое могло сложиться при этом, и просто закрыл глаза.

И когда перед поворотом на главную улицу поселка увидел ее, поначалу даже обрадовался. Она шла уже не в модном кримпленовом пальто, а в старой школьной шубке с узеньким воротником из черного каракуля. На ногах черные сапожки — мечта и зависть всех поселковых девчонок. Да разве только девчонок!

Белые варежки и белая шапочка...

Когда Тимофей отвернулся, чтобы закрыть глаза, белые варежки все еще мелькали перед ним в такт ее шагов. Белые варежки и белая шапочка. Он их никогда у нее не видел. А с этой минуты будет помнить всю жизнь.

Если бы она оглянулась, то непременно увидела бы его. Но она ходила не оглядываясь — боялась столкнуться с чьим-то осуждающим взглядом. И если бы она не боялась этого, она сейчас увидела бы Тимофея в роли «руководителя» Сатурна.

Тоня вошла в магазин. Хлопок двери под пружиной был звучен, как выстрел. Он и вернул Тимофея к действительности. Натянул вожжи. Сатурн охотно остановился, и Тимофей с безотчетной поспешностью отступил за фанерный ящик.

В магазине Тоня пробудет от силы десять минут. Что ей там делать больше? Купит хлеб и булки — и пошла. Разве еще конфет...

Если он тронет Сатурна, то через десять минут окажется как раз у магазина... Вот будет картина!

Всегда, все время с того самого дня, когда он выделил Тоню среди других в классе, Тимофей хотел встречи с ней. Он был рад, если они случайно сталкивались на улице. Пусть даже ничего не скажет и она пробежит молча, а может, и скажет что, и она тоже не промолчит, все равно ему делалось по-глупому легко и светло, и он еще долго после этого радовался чему-то. Отчего так получалось, ему никогда бы не удалось объяснить. Просто вот так легко и светло... А сейчас он не хотел встречи с ней, боялся ее, и если бы они встретились, все, что было у него к ней и что могло быть у нее к нему в будущем, все это — бывшее, настоящее и будущее — рухнуло бы и никогда бы не воскресло заново.

Тимофей увидел, как Тоня вышла из магазина, и черные сапожки ее звонко застучали по тротуару.

Он стоял, скрытый фанерным ящиком и мослатым крупом Сатурна, раздавленный и униженный нелепым своим положением в жизни: своей давнишней и преображающей его любовью к Тоне и своей работой, работой ездового, которой он вынужден стыдиться. Почему так нелепо устроен мир, где все должно быть гармонично, осмысленно и справедливо?

Перед ним на сером дощатом заборе висел какой-то плакат. На большом листе то ли фанеры, то ли железа нарисованы зеленые шапкастые сосны. Много раз Тимофей проходил и проезжал мимо этого плаката, и никогда у него не возникало желания остановиться и прочитать, что там написано.

А тут деться было некуда, хочешь не хочешь — читай.

«Берегите леса от пожара! — прочитал он. — Лес — наше народное богатство. Лес — наш зеленый друг...»

«А какие бывают еще друзья? Розовые, фиолетовые, аквамариновые?» — нелепо подумал он и снова начал читать. Он читал с начала и до конца и потом опять с начала и ждал, ждал, ждал, когда затихнут шаги Тони. Его тянуло взглянуть ей вслед, но он все-таки, не отрываясь, продолжал читать: «Берегите леса от пожара...»

«Что же случилось? — подумал Тимофей, отрывая взгляд от пестро размалеванного листа. — Да ничего, ровным счетом ничего. Все по жизни, все путем. Не горели бы леса, зачем людям вешать такие плакаты. Не болели бы люди, зачем им врач Тоня? А без пскаря они проживут? Фигу! Еще как наплачутся без пекаря... — Тимофей распрямился и посмотрел вслед маленькой фигурке в конце

улицы.— А гармоничность, а осмысленность жизни?— думы его на миг споткнулись.— Верно, все верно. Ну, а если на врача учат, значит, и на пекаря?.. Не поверю, чтобы на пекаря не учили...»

Это открытие подбодрило его, и он гордо зашагал рядом с фанерным шарабаном, на виду у толпившихся возле булочной женщин. Среди них он тотчас выделил худенькое, бледное лицо своей матери. И вдруг все снова стало на свои места: больная мать, слабый умом дед Григорий... Не оторвешься от земли, не взмахнешь руками.

Но раз блеснувшее перед ним открытие — учат же на пекаря! — уже сделало Тимофея другим. И, круто развернувшись у магазина, он взросло крикнул:

— А ну, налетайте, гражданочки, хватайте хлебушко! Тепленький да мягонький...

## ГОЛУБОЙ ЖАКЕТ

### 1

Это был долгий-долгий день московского таксиста... Кто бы знал, чего стоит прожить такой день!

Я выехал на линию ранним утром. Настроение было не ахти какое светлое. Ругал себя за слабый характер: поддался уговорам начальника колонны Ховрина, и вот теперь плакало мое воскресенье, Серебряный бор, куда мы собирались с ребятами, река Москва, сосенки точеные да девушки крученые. Сашка Чуфаров, которого мне пришлось заменить, так и знай, схитрил. Никакое у него не воспаление верхних дыхательных путей. Просто подмигнул молодой докторше в поликлинике.

Утром город малолюден. Улицы — сквозные, пустынные. Как-то даже не верится, что через несколько часов, чуть ближе к полудню, здесь будет настоящий вулкан Везувий. Тогда держись, шофер второго класса Юрка Вихарев, то есть я. Тебя будут рвать на части. Гони, гони, милый мой! Если ты не будешь выжимать последние силы из своей старушки «Волги», пассажиры станут ворчать на тебя, у них начнет портиться пищеварение. А испорченное пищеварение — плохой спутник отдыха. Лучше

плюнь на все уличные знаки препинания, и тогда, доставив своих пассажиров к месту на полминуты раньше, ты заслужишь снисходительную благодарность и даже на пиво.

Ладно, не бурчи, дружище. Сел за руль — и не бурчи...

Я стоял по соседству с памятником моему тезке Долгорукому и следил за редкими в этот час пешеходами. Но никто не обращал на меня внимания.

Вдруг двери с обоих боков распахнулись, двое парней ловко юркнули в машину.

— Пардон, синьор! Ящик свободен?

— У меня машина. Ящик можете поискать в другом месте.

— О, это как раз нам и нравится. Аванти!

Я порядочно таскался с ними. Они вышли у сберкассы на Грузинской, и я их ждал. Потом они вышли у ювелирного магазина и долго не возвращались. Я уж подумал — сбежали, но они вдруг появились, веселые, оживленные.

— Понимаем, синьор, ваше волнение. Хотите получить вперед? Живем по кодексу строителей коммунизма.

— А ладно, валайте.

— Грацио, морская душа,— сказал один из них.— Спасибо.

Как он узнал, что я бывшая «морская душа»? Неужели эти парни, в самом деле, бывалые люди и знают повадки морских волков? Неужто до сих пор у меня не выветрилось мое кровное, морское? А то, что я считал себя бывалым моряком, в нашем парке ни для кого не было секретом. Я служил на Балтике. Демобилизовавшись, ходил в разные страны на танкере. Эх, больно теперь вспоминать об этом!..

Мне чем-то не нравились эти парни, но было все-таки приятно, что они узрели во мне моряка, и между нами в короткие минуты сложились простые, доверчивые отношения, и я начал травить, как бродил по морям-океанам, сколько раз был в Неаполе, Генуе, Ливорно и других городах той страны, к языку которой парни имели какое-то пристрастие.

— А мы ведь тоже бывалые,— сказал словоохотливый парень.

Другой же все больше молчал.

Они все-таки надули меня. Вышли у магазина стекла. Я знал этот закуток, где продавцы-ловкачи, казалось, просто пальцами, без алмаза резали стекло. Мне

всегда нравилась их искусная работа. И я зашел полюбоваться, как они расправляются с громадными певучими листами.

Мои пассажиров там не было.

Парень, резавший стекло, кивнул на внутреннюю дверь, бросил:

— Ушли выбирать зеркала.

А там двор... Ищи-свищи...

Ай да парни... такого морского волка надули!

На душе... хоть закрой глаза и вой, как дикая собака динго.

Вот ведь нашли отмычку — морскую душу... Увидели на мне тельняшку... А я и рот раскрыл. Украла, да не просто, а еще и плюнули в морду. Не гляди на мир через розовые очки!

Было жалко денег. Жалко было еще чего-то другого, что они украли у меня. Может, это что-то было дороже всяких денег.

Я не скоро успокоился. Противнее всего было представить, как они смеялись надо мной. Пили где-нибудь коньяк, закусывали шоколадом — и смеялись. Смеялись, как ловко провели меня. Почему-то мне казалось, что они обязательно жрали шоколад. И это было особенно неприятно и обидно.

Как же я не разгадал, что они стервецы? Это же можно было слепому увидеть. Как они распахнули дверцы машины сразу с обеих сторон! Обычный пассажир так не делает. Обычный пассажир немало повозится с дверцей, прежде чем сядет в машину.

Ах ты, старый, ржавый якорь! И никакой ты вовсе не морской волк. Ты обыкновенный старый якорь. Ржавый, и к тому же в ракушках.

Нет, надо покончить с такси. Что есть прекраснее, шире, чище моря? Что есть крепче, надежнее, бескорыстнее морской дружбы? Сколько раз я решал окончательно и бесповоротно вернуться в свою стихию, но — о, мой слабый характер! — снова оставался на берегу.

...Я колесил по городу. Пассажиры — уйма. На вокзалах — очереди. У гостиниц и ресторанов — отбоя нет. В моей машине прочно прижились тонкие запахи яблок. Их везла с юга загорелая курортная братия, везли молодые, розовощекие парни с черными усиками, хозяева фруктовых рядов на московских рынках. По вечерам, я знал, курортная братия покупала с рук у театральных



подъездов билеты, а молодые хозяева фруктовых рядов валом валили в «Арагви» и поздно разъезжались с притихшими, полусонными девчонками.

Не по душе мне было все это. Не по моей морской душе.

И еще мне разбередила сердце одна негритянка. Она приехала в Москву на Международный конгресс женщин из далекой африканской страны, которая называется Нигерией. Воды теплого океана штормили у ее берегов. Как сильно пахли там водоросли и какие красивые медузы плавали в зеленой воде!

Шли корабли мимо берегов, на которых зеленели пальмы.

Листья у пальм будто вырезаны из железа. Такие листья, что их хочется потрогать рукой.

Все это виделось мне с ускользающей ясностью, как в детском сне. Я ведь бывал в Африке, и встреча с ней здесь, в Москве, была для меня приятна.

Негритянку звали Кристина. У нее были выпуклые ласковые глаза, толстые добрые губы. Она знала несколько русских слов, и, когда мы шли курсом гостиница «Юность» — Кремль, она, прижавшись лбом к боковому стеклу, говорила:

— Москва... здороф, очшень здороф... Красиф Москва.

И еще я возил двух учительниц. Они тоже были участницами конгресса. Одна из них, тонюсенькая и белюсенькая, из Риги. Я готов был возить ее бесконечно, ведь она была моей родной сестрой, у нас была одна мать — милая грустная Балтика. Мы вспоминали белые ночи, тоскующий свет над серой водой, над синими лесами, над коричневыми валунами, над темными блюдечками озер. Другая была с востока, с узкими черными глазами, с черным жгутом косы, перекинутой через плечо на грудь. Она была с Байкала, буряткой. И тихо, певуче говорила о своем чудо-море, о закатах над тайгой, о цветах жарках, милых глазах Сибири.

Где мы только не побывали с ними! У каких только магазинов не ждал я их и не радовался вместе с ними их маленьким радостям — покупкам! Наверно, они уже не так усердно думали о разоружении, о мире. Мир для них был в этих покупках, которым они тихо радовались, и в том неутомимом узнавании жизни, которому они отдавались с ясной непосредственностью.

Мне было хорошо с ними. Кусочек моря все время был со мной.

И когда я высадил их и они остались на Ленинских горах, мне вдруг стало грустно, будто я потерял что-то очень дорогое, без которого не прожить.

...От Сокола до Серебряного бора сели три рослые девушки. Шесть обнаженных молодых плеч, налитых, округлых. Два плеча в частых веснушках были рядом со мной. Но мне не было до них никакого дела. Девушки о чем-то разговаривали, но я не слышал ни слова.

Я думал о себе. Я думал о том, что завтра подам рапорт, сдам машину, получу расчет и подамся в Одессу. Прости-прощай, столица Москва!

Одна из девушек заметила:

— Дядечка, вы случайно аршин не проглотили?

— Ныне метрическая система мер.

Девушки прыснули. Задрожали веснушки рядом со мной. Но это меня ничуть не развеселило.

Людей на дороге точно сельдей в добром косяке — не пробьешься. На меня никакого внимания. Оглянутся и шагают дальше, не сворачивая. Дескать, мы, пешеходы, тут полноправные хозяева, а ничуть не вы, шоферы. Стал давать сигналы — милиционер пригрозил своим полосатым жезлом. Куда податься? Советую девчонкам сойти. Говорят:

— Ничего, строгий дядечка, ничего, нам не к спеху.

Вот и лес. Наконец-то! Тут народу меньше. Люди переваливаются через канаву и растекаются по лесу. Всюду под деревьями белеют спины, животы, плечи. Еловой шишке некуда упасть.

Я дал газ и взял курс на реку. Как же! Эти девчонки должны обязательно купаться. Упитанные девчонки должны купаться во что бы то ни стало!..

Полуголые люди, как у себя дома, ходили по шоссе, лениво уступали мне дорогу. Ребятишки сидели прямо на асфальте. Асфальт, наверно, теплый. Услышав мой сигнал, ребятишки, не оглядываясь, бежали к канаве. Оттуда летели в меня горсти песка, бумажные стаканчики из-под мороженого.

Черт возьми, не словчи Сашка Чуфаров, и я грел бы свою спину на ласковом солнышке! Ай да Сашка, обрек своего дружка на невыносимые муки души.

Но ничего, нет худа без добра... Сегодня я столько

передумал, что уж хватит, терпение полилось через борт.

Никому не приведи бог родиться с таким характером, как у меня. Вечно будет страдать и мучиться от своей нерешительности. Бедные, бедные бесхарактерные люди! Как я жалею вас! Сколько вам приходится переживать из-за каждого пустяка! Я-то уж по себе знаю, что это такое.

Тешу себя надеждой: освобожусь от груза — выкупаюсь.

Эх ты, жизнь моя, тоска-печаль!..

Высадил голые плечи. Гляжу: туфельки долой, шагают по песочку голые ножки... Хоть оглянулись бы, помахали бы ручкой таксисту. Ведь сколько минут вместе, плечо в плечо просидели! Неужели никакого чувства не вызывает таксист, сделавший вам приятное? Неужто вы думаете, что таксисту только деньги нужны?

Развернулся. Прямо передо мной парень с поднятой рукой.

— Подвезите!

Я минуту молчу: вот тебе и выкупался!..

— Поездка дальняя, выгодная. Подброшу рублик.

Вот ведь черт: опять деньги! А если мне не хочется тебя везти? Если ты мне не нравишься? Если мне не по душе вот такие зеленые губошлепы, которые не жалеют отцовских или маминых денег?

Судьба шоферская горькая... Не тебе выбирать, кого везти, кого не везти.

Подошла девушка, плоскогрудая, поджарая, ростом — верста коломенская.

— Берет?

Как будто я могу не взять! Они же на досуге за просто накатают на меня цидулю, укажут номер моей старушки «Волги». Потом не отговоришься от начальника колонны Ховрина.

Сели. Едва успел сняться с якоря, обнялись, целуются. Для них меня нет. Я — деталь машины. У меня нет ничего человеческого.

Я не мог вытерпеть того, что они совершенно игнорировали меня. Вывез их на окружную дорогу и у деревни Теплый Стан высадил. Сказал, что тормоза не работают, и высадил. Парень понял все, полез с деньгами, но я впервые в этот день проявил свой характер и оставил их посреди дороги.

Я заехал на базу, написал рапорт и подал его Ховрину.

— Что такое, Вихарев? — Ховрин поднялся над столом, засыпанным серым пеплом сигарет.

— Прошу списать меня с базы...

— Списать? Ты мне брось дурить, Вихарев! Хочешь, чтобы база завалилась? Лето! Не понимаешь, что ли? Ты уйдешь, другой уйдет... Гоголя, что ли, с пьедестала снимать да за руль?

— Работать на такси... для меня сущие муки.

— Тебе? Женщины вкалывают, а ты — моряк. Эх, Вихарев!

— Не физические — моральные.

— Философствуешь все. — Ховрина злило мое равнодушное спокойствие.

— Что я поделаю с собой? Не хочется возить разную дрянь.

— Какую еще дрянь? Ты возишь наших, советских людей. Ну бывают иностранцы. Так они наши гости.

— Дряни много, товарищ Ховрин. Утром двое надули меня. А двоих я сам высадил: вели себя, как дома, а не в общественном месте.

— Ты забываешь, Вихарев, что делаешь план.

— Ну как вы не поймете, что я не могу каждому без всякого чувства отдавать свой труд ради плана? Заработок? Не из каждой рук с радостью берешь деньги. Да и моряк я. Не люблю я тут в тесноте.

— Подумай, что ты делаешь? Променять Москву на море?

Я пожал плечами: для меня тут не было ничего непонятного. И сказал:

— Две недели, как я понимаю, надо отработать? — И вышел. Впереди еще было полсмены.

Ай да Сашка Чуфаров, вкрутил меня в такую историю!

## 2

Я шел порожняком по Симферопольскому шоссе, к Москве.

Был уже предвечерний час. Красный диск солнца еще не скрылся за лесами, но притушенный свет, рассеянный по небу, исходил, кажется, уже не от солнца, а жил сам по себе. В природе нежная, ласковая тишина,

и хотелось выключить мотор и бесшумно скользить по черной реке асфальта.

Жаль, что нельзя поставить на «Волгу» парус. Парус был бы в самый раз. Парус был бы серебристо-розовый, наполненный ветром. Я любил ходить в море под парусом. Ходить под парусом было моей страстью. Ничего нет на свете красивее полета парусника по волнам.

Милая далекая Балтика! Сколько суровых ночей провел я на охране тебя! Сколько счастливых часов летал я на паруснике по твоим волнам! Мне мила твоя пепельная пустыньность и сдержанная строгость.

У ВИЛАРА я пришвартовался к глинистой обочине, спустился к ручью, умылся холодной водой. Все-таки это чудесно, что есть на земле вода.

И снова будто парус понес мою старенькую «Волгу».

С бугра уже виднелась груда горящих углей, высыпанных на горизонт. Это и была Москва.

Мягко журчал мотор. И казалось, жила волна за бортом, зеленоватая морская волна. И в груди щемило, словно я надолго уходил в слепую даль ночного моря и не скоро вернусь к родному берегу.

Я еще не увидел, а почувствовал опасность. Страшно вскрикнули тормоза, и машину бросило в сторону, и она, качнувшись вперед, встала поперек шоссе как вкопанная.

Был кто перед машиной или мне показалось?

Я оглянулся не сразу. В таких случаях не всегда есть силы посмотреть назад.

Стуча каблуками по асфальту, к машине подбежала женщина. Остановилась, тяжело дыша, не в силах сказать ни слова.

Злость закипела во мне. Сколько вот из-за таких дур страдает наших парней! Я взглянул ей в лицо. Лицо было бледное, а большие глаза светились радостным черным огнем.

Я минуту сидел за рулем, как бы заново привыкая к машине, потом включил мотор и дал скорость. Я еще не мог произнести ни слова.

Она сидела позади меня, тихо, вся подавшись вперед. Лица не было видно, в темноте лишь жутковато поблескивали глаза. Я слышал ее дыхание.

— У вас есть семья? Муж? Дети? — наконец заговорил я.

— Нет у меня никого!

— Ну отец, мать?

— Нет у меня никого!..

В голосе ее было отчаяние, но я не заметил его тогда. Во мне еще все кипело. Только потом, вдолге после этого вечера, я пойму ее состояние. А сейчас у меня было одно-единственное желание отчитать ее по нашим полным шоферским правилам, вытянуть, что называется, у нее душу. По-морскому я пока еще не думал ее отчитывать.

— У меня тоже никого нет. Но тем не менее... Беде не надо много времени. Беде хватит мгновения. И вот вы из честного человека делаете убийцу.

— Что вы выдумываете?

— И ничего я не выдумываю. Я фиксирую факты. Вы выскакиваете из-за поворота, когда у меня полный вперед. Шоссе-то пустынное. А тут вы со своим желанием попасть под колеса. Как это назвать?

— Ну вы преувеличиваете...

— Нет, я спрашиваю: как это называется? После целого дня, который я провел в кратере вулкана, и такой финиш... Вы даете себе отчет?

Она растерянно молчала. Чего и требовалось мне добиться! Важно, чтобы она поняла. Лучше, если она не будет при мне раскаиваться и просить прощения. Конечно, она получила бы его у меня с ходу и тотчас забыла бы о нем. Лучше, чтобы она ушла, не раскаявшись. Пусть ее наедине с собой помучает совесть. Мне бы удержаться от дальнейших разговоров, и все было бы прекрасно, но я уже вошел в роль казнителя:

— И вот толчок. Я гляжу на шоссе... Лежит человек... Первое желание — умчаться вперед, не поверить: ничего не было, не могло ничего быть! И когда поверил: это случилось, — помочь ему. Скорее в машину. Милиция. Короткий разговор в суде. И небо, размеренное на крошечные квадратики...

— Это могло быть?

— До шуток мне, что ли?

Вдруг она вся подалась вперед, и я почувствовал на шее ее руки и услышал голос потрясенного человека:

— Милый, милый мальчик, не сердитесь на меня.

Я взбалмошная. Я скверная. Да, да... Я это знаю. Но не говорите ничего больше о том, что случилось. Не надо! Ради бога...

Она, опомнившись, устыдилась своего порыва, убрала свои руки и забилась в угол машины.

— Добро,— сказал я великодушно.

— Спасибо вам, мальчик... Я так хочу в Москву! Мне так надо в Москву! Мне здесь было страшно. Никто не хотел меня посадить. Это просто невозможно. Я прокляла всех вас, кто за рулем. Мне надо в Москву, а они не останавливаются. Не хотят! Не видят!

— Условились: не вспоминать старое,— проговорил я как можно равнодушнее, хотя слова ее, тон, каким она их произносила, встревожили меня, но я все еще не мог отказаться от позы обиженного человека. Позже я пойму, что вел себя как дремучий дурак. Как часто мы бываем умны задним числом!.. И я продолжал с равнодушием прожженного московского таксиста:— А я стремлюсь из Москвы. Хотя бы на час, хотя бы на полчаса. Я не люблю Москву. Мне в ней тесно. Вот море...

— Что ж, море любит любящих его. Город — тоже. Счастливо вам плавать... Мне на улицу Чехова. Как ближе всего?

— Прикинем...

В Москве она сделалась молчаливой. Что-то беспрестанно комкала в руках. В позе ее — она вся подалась вперед — было нетерпение.

Повсюду я ухитрялся проскочить быстрее всех.

И теперь, когда я совершенно оправился от потрясения, я лучше стал понимать и по-другому видеть эту женщину. Тут уж не морское, а шоферское зрение натолкнуло меня на мысль о трагичности ее судьбы, о ее одиночестве, какой-то хрупкости ее характера, незащищенности перед жизнью. Мне хотелось больше узнать о ней. Но то ли наше шоферское правило не лезть с расспросами, то ли появившаяся вдруг робость не дали мне и рта раскрыть. Да и на улице Чехова мы оказались так скоро, что я не успел и оглянуться.

Она сунула мне деньги и, не дождавшись, пока машина станет у тротуара, выпрыгнула.

— Спасибо,— бросила она.— Вы меня здорово выручили.

— Считайте, что вы родились второй раз,— сказал я, подавленный чем-то непонятным и непрошеным.

Она как-то вздрогнула вся и опрометью бросилась под арку.

Я отъехал на стоянку и только тут, в свете уличного фонаря, увидел в машине оставленную ею вещь. Это был голубой, с белой оторочкой по воротнику, жакет. Я взял его. На сиденье выпали какие-то бумажки. Трамвайные, троллейбусные билеты. Скомканный тетрадный листок. Расправляю: письмо.

«Елена! Я уезжаю. Много думал о наших отношениях. Сердце с тобой. Я люблю тебя и всегда буду любить. Но я не могу представить моих малышей без меня. Она не отдаст их нам. О, проклятый рассудок!..

Я знаю, что это жестоко, но я ничего не могу поделать с собой.

Мы можем встретиться в Захарьинских Двориках. Там назначен сбор нашей экспедиции.

Время лечит. Ты молода, впереди вся жизнь. Забудь меня и живи...»

Я сложил письмо и сунул в карман жакета...

Каждый день, начавшись, должен кончиться. Кончился и мой долгий день московского таксиста. Но он не все унес с собой. Как видите, встречи с людьми оставили в душе свои отметины. Остался у меня на руках голубой жакет, а в сердце какое-то смутное чувство вины перед незнакомой, случайно встреченной женщиной Еленой.

Наутро с жакетом в руках я стоял на лестничной площадке в первом подъезде того самого дома на улице Чехова, возле которого вчера вышла Елена. Дом мрачный с аляповатыми полуколоннами.

...На неопрятных дверях три почтовых ящика. На каждом из них наклеено «Вечерка». Три звонка. И звонки одинаковые — с белыми пуговками.

— Елена здесь не живет?

Старая женщина подслеповато глядит на меня.

— Елена? — переспрашивает она. — Нет, у нас не проживает.

— И по этим двум звонкам тоже?

— Нет.

...Собачий лай за дверь. Красная зубастая пасть прямо в лицо. Из глубины прихожей резкий молодой голос:

— Иртыш, на место! Вам Елену? Уехала месяц назад. Сдает экзамены в Ленинградскую консерваторию. Елена, да не та.



...Дверь свежепокрашенная. Всего один ящик и один звонок.

— Елена? Что за шутки, что за дурацкие шутки? — с раздражением прокричал седой взъерошенный человек. — Вы что, не знаете: мой порог вот уже десять лет не переступала ни одна женщина? Не знаете? Так... — Старик с кулаками шел на меня. — Кто вас подослал? Опять эти Воронины? Вы, вы...

На верхнем этаже, кажется в девяносто третьей квартире, встретили с печальной приветливостью.

— Вы ее товарищ? — Женщина с растрепанными волосами взяла меня под руку и провела в боковую комнату, где царил полумрак. — Как мы ее любили! Простили все. И отец готов был разрешить ей жить здесь, у нас. Нет, не захотела. Погубила себя.

У меня оборвалось сердце.

— Сегодня ровно месяц, как ее похоронили. Память о ней... — Женщина всхлипнула.

Не моя Елена...

Меня принимали за кого-то другого. Я хотел поскорее уйти, но не знал как. Просто встать и уйти — оскорбишь человека в горе. Признаться, что я не тот, за кого она принимает меня?

А женщина все говорила и говорила, как она любила Лену и вовсе не возражала, чтобы она вышла замуж. А Лена не послушалась, не поняла.

Моя собеседница, по всему было видно, чувствовала себя виноватой и хотела в чем-то оправдаться. Когда она ушла поставить чай, я исчез.

В том доме с аляповатыми полуколоннами я не нашел моей Елены. Да, да, моей... Я так много думал о ней в тот день, что казалось, давно знал ее. Я понимал ее состояние, с каким она бросилась к моей машине, как к единственной соломинке в буре, захватившей ее душу в то время. Мне ясно рисовалась ее встреча с тем рассудительным человеком, который позволил ей увлечься им, полюбить, а потом отошел, прикрываясь щитом добропорядочности. Конечно, я не могу представить себя на месте человека, бросающего своих детей. И мне трудно понять такое. Но этот, написавший письмо, не вызывал у меня ни одобрения, ни доверия. Он ведь с самого начала обманывал Елену. Просто он не любил ее той любовью, которая беспощадна ко всему на свете. И мне было обидно, что это так.

Я стоял у дома, на том месте, где вчера вышла Елена, и сердце мое тоскующе сжималось. Наверно, оттого, что я уже знал, что никогда не увижу ее.

Сдав на базу голубой жакет, я каждый день ждал, не придет ли Елена. Но она не напоминала о себе. Что с ней случилось? Как она живет теперь?

Я гонял по Москве. Москва все больше входила в мою душу, потому что в ней жила Елена. Я всюду искал эту женщину. Я искал ее среди людей у станций метро. Я хотел узнать ее в женщине, перебегающей улицу. Однажды мне показалось, что в толпе у ГУМа промелькнула она. Я оставил машину, пассажиров и побежал ее искать. Но это была не Елена. И еще сто раз мне казалось, что я видел ее, и еще сто раз ошибался.

И хотя я знал, что я ищу ладью в океане, но все равно не мог заставить себя не думать о Елене, не вспоминать нашу необычную встречу на шоссе, со стыдом не оценивать своего тупого поведения в то время. Я чем-то был связан с ней и должен был увидеть ее во что бы то ни стало. Может быть, я любил ее? Не думаю. Впрочем, я об этом еще не знал.

## СОДЕРЖАНИЕ

Полынья. Роман

3

### РАССКАЗЫ

Полнолуние . . .	289
Тимофей и Тоня	299
Голубой жакет	323



Андрей Дмитриевич Блинов

### ПОЛНОЛУНИЕ

Редактор В. Ю. Попова  
Художественный редактор Г. В. Шоткина  
Технические редакторы Р. Д. Каликштейн, Е. В. Кузьмина  
Корректор Н. В. Бокша

ИБ № 3438

Сдано в набор 24.07.84. Подп. в печать 25.01.85. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,75. Уч.-изд. л. 18,63. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1300. Цена 1 р. 20 к. Изд. ннд. ЛХ-447

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли Москва, пр. Сапунова, д. 13/15

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Целлофот»